

Антология Сатиры и Юмора России XX века



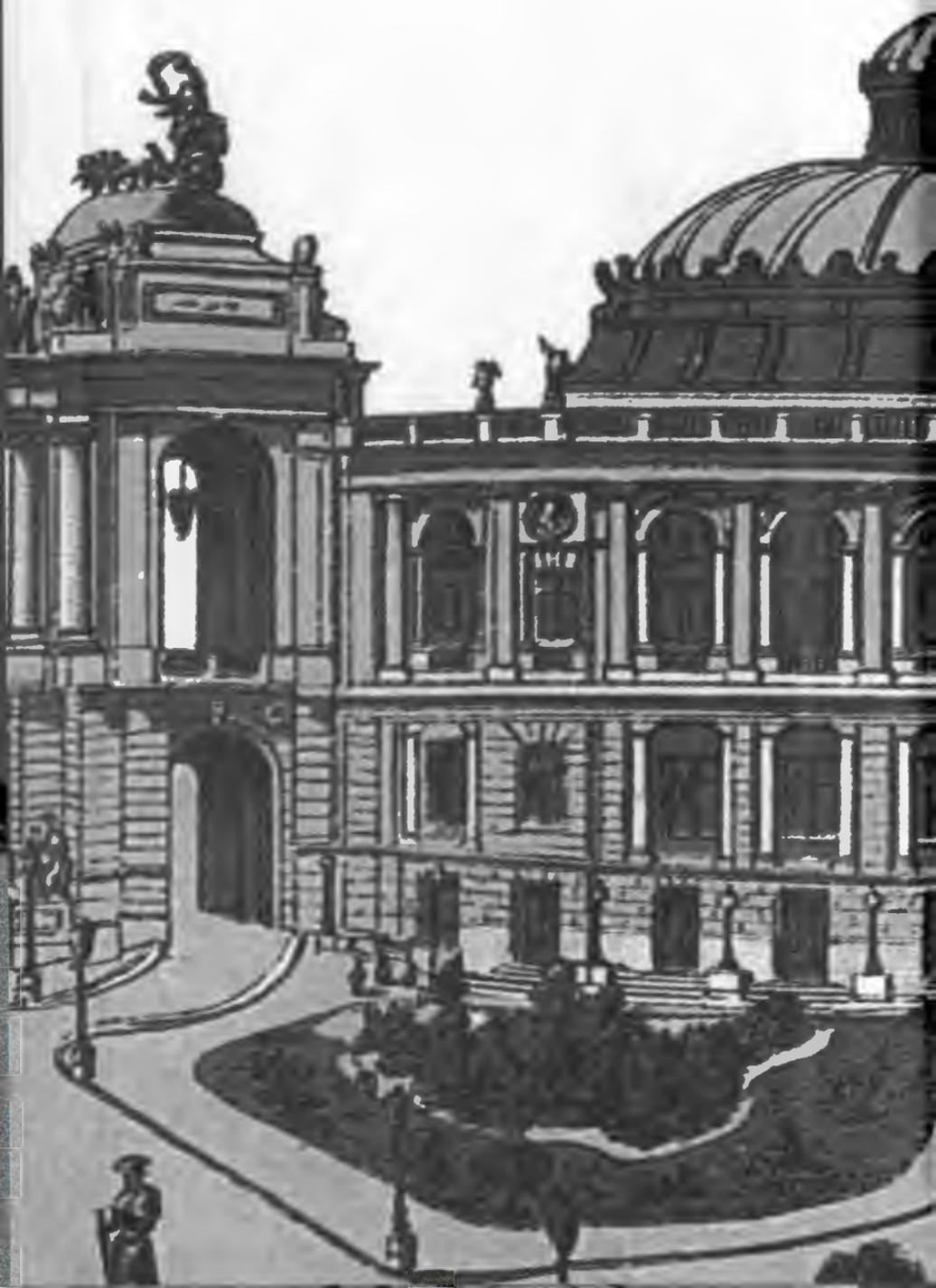
Антология Сатиры и Юмора России

Антология Сатиры и Юмора России XX века

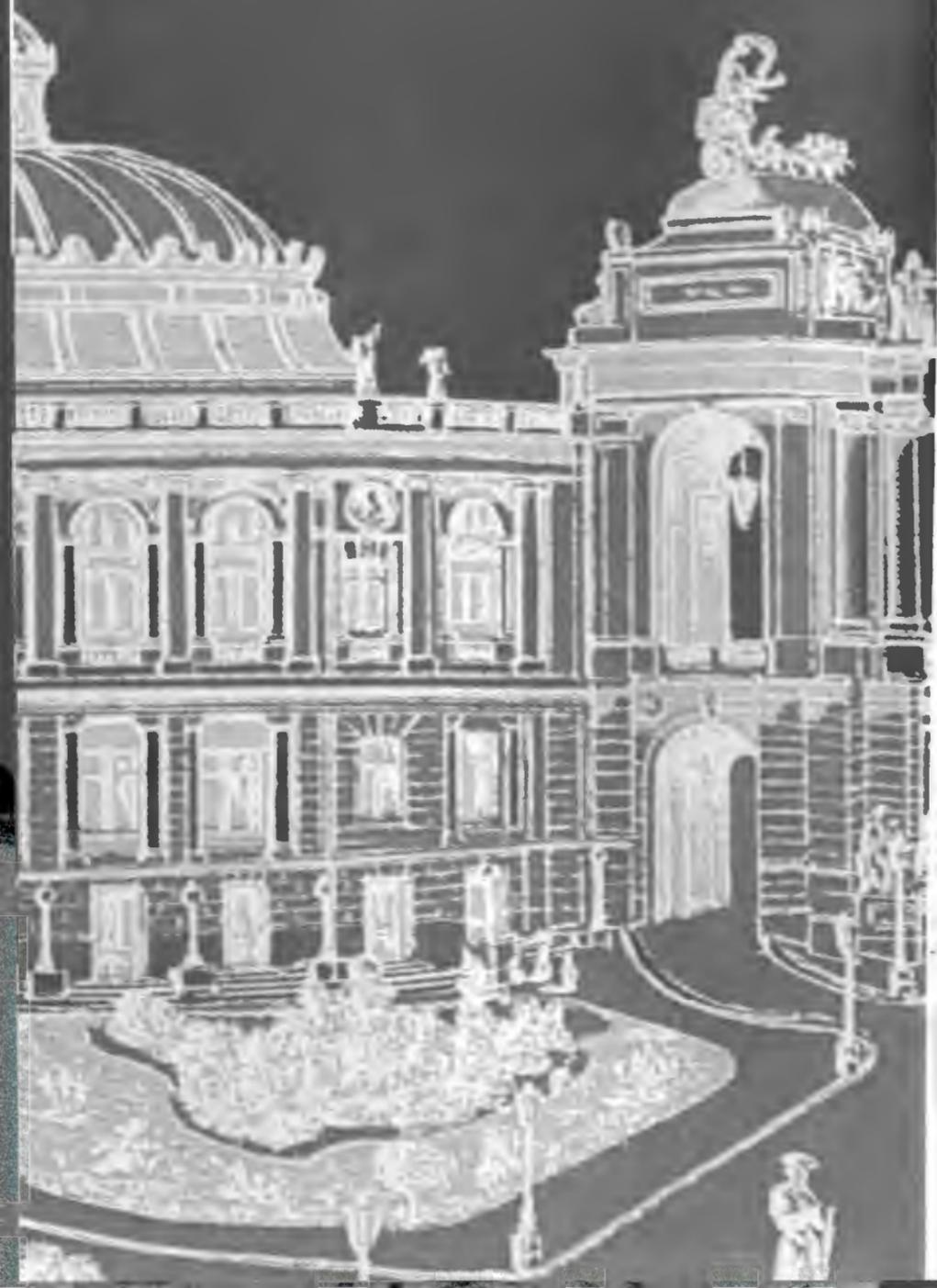
Влас Дорошевич

Антология Сатиры и Юмора России XX века











Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Влас Дорошевич

МОСКВА «ЭКСМО» 2006

УДК 82-36
ББК 84(2Рос-Рус)6-7
Д 69

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Влас Дорошевич

Серия основана в 2000 году



С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта *Юрий Кушак*

Дизайн обложки *Ахмед Мусин*

Главный составитель тома,
автор предисловия, комментариев *Ст. Никоненко*

Составитель *Ю. Кушак*

На обложке дружеский шарж художника-сатириконца *Ре-Ми*, 1914 г.

Дорошевич В.

Д 69 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 48 /
Влас Дорошевич. — М.: Эксмо, 2006. — 512 с.: ил.

УДК 82-36
ББК 84(2 Рос-Рус)6-7

ISBN 5-699-16765-X (т. 48)
ISBN 5-04-003950-6

© Ю. Н. Кушак, составление, 2006
© ООО «Издательство «Эксмо»,
оформление, 2006

Содержание

Ст. Никоненко. Король фельетона 8

ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР

Репортер 23

Двадцатый век 30

ОТЦЫ И ДЕТИ

Русский язык 43

Посетитель 60

Через месяц 68

Отцы и дети 82

Интеллигенция 94

Первая гимназия 105

АНЕКДОТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Анекдотическое время 119

Визитер 125

Сужие жены 134

Война будущего, или Штука конторы Кука 138

Лечение земляникой, клубникой,
садовой красной смородиной 145

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

- Трудные времена* 155
Истинно русский Емельян 166
Депутат III думы 176
Обыватель 182

ВОКРУГ ИСКУССТВА

- Шаляпин в «Мефистофеле»* 201
Неясные времена 215
За день 222
Трагедия наизнанку 229
Воспоминания об А.П. Чехове 239
Гамлет 242
Писательница 249
Поэтесса 255
Декадент 263
Демон 274

ПОВЕСТИ

- Нашествие иноплеменников* 281
Джентльмены, или Новое поколение купечества 352

ЛЕГЕНДЫ, СКАЗКИ, ПРЕДАНИЯ

- О происхождении клеветников* 403
Легенда о происхождении одесситки 415
Совість 425

Добрый богдыхан 433

О пользе наук 439

Вдова из Эфеса 444

Мудрец 449

Суд над сановником 457

Человек и его подобие 467

Человеческая память 475

Зеленая птица 482

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ

Александр Амфитеатров. Дорошевич 495

Надежда Тэффи. Он оглянулся на меня 506

Библиографическая справка 509

Король фельетона

Так уж случилось — кто знает, совпадение это или некая закономерность, — но титул королей в российской словесности начала двадцатого столетия получили три недоучившихся школьника: королем смеха был признан Аркадий Аверченко (по некоторым сведениям, окончил два класса гимназии), королем поэтов был избран Игорь Северянин (не закончивший реального училища), королем фельетона провозгласили Власа Михайловича Дорошевича (неоднократно исключавшегося из гимназии и так ее и не окончившего. Правда, справедливости ради, надо отметить, что аттестат он все же получил, сдав нужные экзамены экстерном). Мораль тут незамысловата: для того чтобы стать королем, вовсе нет нужды заканчивать какое-либо учебное заведение. Для этого нужно обладать иными свойствами: талантом, трудолюбием, целеустремленностью, сильной волей и, наконец, — удачливостью. Когда личные свойства пересекаются в линии судьбы с удачей, рождается король. Все очень просто. Однако случается такое очень редко. Потому и королей так мало.

Начало жизни Власа Дорошевича отнюдь не сулило ему славного будущего.

Он родился в Москве 5 января 1865 года.

Его мать, Александра Ивановна Соколова, происходила из богатого дворянского рода, окончила Смольный институт, стала журналисткой и писательницей; отец занимался мелкой литературной работой, составлял какие-то словари, вел богемный образ жизни, семье не уделял почти никакого внимания и рано умер. Александра Ивановна, опасаясь ареста по какому-то политическому делу, уехала в Белоруссию с полугодовалым ребенком и здесь, предупрежденная друзьями, покинула гостиничный номер за несколько минут до прибытия полицейских, которые и обнаружили закутанного в одеяльце малыша и записку на французском языке: «Ребенок еще не крещен. Прошу дать ему имя Влас, в честь Блеза Паскаля». Понятой, сопровождавший полицейских, коллежский секретарь Михаил Иванович Дорошевич, сумел перевести записку и взял малыша к себе, а поскольку они с женой давно мечтали о ребенке, его скоро крестили, назвав Власием, и отчество он получил от приемного родителя. Спустя некоторое время вошел он в русскую журналистику и литературу под именем Власа Михайловича Дорошевича.

И прославил фамилию приемного отца, став одним из самых популярных в России журналистов. Его знали, пожалуй, в любом уголке страны, поскольку он сделал газету «Русское слово», где работал, самой популярной газетой начала XX века. Умеренно-либеральная, она не упускала ни одной мало-мальски значимой проблемы, волновавшей не только интеллигентские круги, но даже и те миллионы крестьян, которые прочесть-то ничего, кроме вывесок, не могли.

Но путь к креслу главного редактора большой

газеты был не легок и не прост. И неспроста многие фельетоны и рассказы Дорошевича посвящены темам: родители и дети, ученики и учителя, школа и маленький гражданин. Именно в тех обстоятельствах, какие сопровождают первые шаги ребенка, Дорошевич видел объяснение дальнейшей судьбы взрослеющего члена общества. Обладая острым зрением (не в буквальном смысле, а метафорически: в жизни он был близорук и носил очки или пенсне), Влас Дорошевич замечал и недостатки и уродства школьного образования, и лицемерие общественной морали, и беспринципные нравы прессы, и язвы повседневной жизни, и засилье чиновничества, бюрократии. И хорошо видел свою обязанность: служение обществу. Какому обществу? Крестьянам, рабочим, купцам, промышленникам, высшему дворянству?

Да всему. Ибо, изобличая пороки, осуждая негодные законы, произвол властей, он служил всему обществу. Во всяком случае, он в это верил.

Не создав еще ничего впечатляющего, девятнадцатилетним юношей он со страниц газеты «Волна», где какое-то время печатался, возвестил: «Заявлять о своих убеждениях я не буду, потому что у меня их нет. Я объявляю себя стоящим вне всяких партий, не принадлежащим ни к одной литературной корпорации и потому с большой свободой, основываясь только на здравом смысле, присутствием всякому русскому человеку, буду судить о событиях общественной жизни, с калейдоскопической быстротой проходящих перед нами». Этого принципа он придерживался всю жизнь, как бы ни менялась политическая обстановка, какие бы партии ни выдвигались на первый план в борьбе

за влияние на ход политических процессов в стране, какие бы мировые катаклизмы ни сотрясали Россию. Что ж, можно усмотреть в этом и некоторую ограниченность (кто в наши дни не предавал идеалов юности и кто не заявлял, что только тупица не меняет своих взглядов!). Однако верность избранному пути, верность избранным принципам всегда вызывает уважение, даже если избранный путь нам кажется устаревшим, а принципы обветшавшими. Ведь мы тоже можем ошибаться.

* * *

Газета, газетный фельетон, заметка, статья, памфлет — с этим острым, сверкающим весельем оружием ворвался в российский социум Влас Дорошевич с самых первых своих дней самостоятельной жизни в печати. А каким представлялся мир газеты, он поведал так: «Утром вы садитесь за чай. И к вам входит ваш добрый знакомый. Он интересный, он интересный человек.

Он должен быть приличен, воспитан, приятно, если он к тому же еще и остроумен.

Он рассказывает вам, что нового на свете.

Рассказывает интересно, рассказывает увлекательно.

Он ни на минуту не даст вам скучать.

Вы с интересом слушаете о самых сухих, но важных предметах.

Высказывает вам свои взгляды на вещи.

Вовсе нет надобности, чтоб вы с ним во всем соглашались.

Но то, что он говорит, должно быть основательно, продуманно, веско.

Вы иногда не соглашаетесь, но выслушиваете

его со вниманием, интересом как умного и приятного противника.

Он заставляет вас несколько раз улыбнуться меткому слову и уходит, оставляя впечатление с удовольствием проведенного полчаса.

Вот что такое газета...

Такой мыслил газету Влас Дорошевич и такой газете хотел служить и служил. Это было его призвание, находка, открытие для себя, прозрение. Как Колумб искал Индию и нашел (хотя она оказалась и Америкой), так Дорошевич искал свое Дело в жизни и нашел. Оно оказалось Газетой. Несомненно, талантливый, владеющий словом, остроумный, начитанный, любознательный, метафорически мыслящий, возможно, Дорошевич мог бы пойти по стезе профессионального писателя. Но не пошел. Газета стала его любовью.

Но еще до Газеты он, подобно многим начинающим писателям (вспомним Марка Твена, Джека Лондона, в более поздние времена Зоценко, Газданова), прошел суровую школу жизни: землекоп, грузчик, актер, корректор, репетитор — вот далеко не полный перечень занятий юности. Иногда он голодал, был лишен крыши над головой... Нужда заставила пойти однажды на подлог: он принес в лавку молодого издателя Ивана Сытина рукопись под броским заглавием «Страшная ночь, или Ужасный колдун». Сытин пожалел продрогшего на морозе в задрюпанном сюртучке подростка («Выгнали из гимназии, несколько дней не ел...») и выложил ему за рукопись пятнадцать рублей. Рукопись при ближайшем рассмотрении оказалась кратким изложением повестей Гоголя. И тем не менее ее напечатали. Для простонародья и такая

поделка годилась. Сочинения Гоголя-Дорошевича — «Кузнец Вакула, или Договор с дьяволом» и «Тарас Бульба». Повесть из казачьей жизни запорожцев» были выпущены в Москве в 1884 г. Впрочем, подобных трюков Дорошевич больше не совершал. Сама жизнь толкнула его тогда на поиск какого-то выхода из, казалось, безысходной ситуации.

Дело в том, что вернувшаяся из-за границы мать пустилась во все тяжкие, чтобы отсудить Власия у Дорошевичей, и добилась своего. Но бесконечные судебные процессы измотали ребенка. И в конце концов, оказавшись в доме матери, Влас не обрел покоя, радостей жизни в родной семье, и не мог простить он матери своего полузаконного детства, всех тех мытарств, которые испытал в ранние свои годы, когда с трудом мог понять, кто же его родители, кто его мать, чей он сын... Долго в доме матери он не задерживался и, как многие подростки в его возрасте бегут от тягот семейной жизни в Америку, бросился в свободное плавание газетно-издательского мира.

Семнадцатилетним юношей он становится сотрудником «Московского листка». Газету только что основал талантливый репортер и издатель Николай Пастухов. Редактор он был требовательный, хваткий и чутко улавливающий интересы времени и запросы читателей. Так что в короткие сроки газета стала одной из самых массовых и читаемых, причем в различных кругах общества, а Пастухов стал миллионером.

Правда, некоторого налета вульгарности Пастухову избежать не удалось. Так что, например, А.П. Чехов признавался в письме к брату в мае

1883 года: «Лучше без штанов на визит пойти, чем у него работать»¹. Однако Дорошевич на своем опыте показал, что можно и работая в, быть может, не всегда респектабельных изданиях и проявить, и найти себя, и не изменять своим принципам, быть честным с самим собой, отстаивать свою точку зрения на происходящие в обществе процессы. Дорошевич вовсе не был аполитичным, каким его порой стремились изобразить некоторые литературоведы советского периода. Просто он не прокламировал свои демократические идеалы, а на практике — в фельетонах, репортерских заметках, коротких рассказах «с натуры», театральных обозрениях, публицистических статьях, публиковавшихся в рубриках «Злобы дня» и «За день» (газета «Новости дня», 1889—1890), в памфлетах, «восточных» сказках всегда выступал с позиций гуманистических, нравственных и эстетических принципов, присущих передовой русской интеллигенции.

Дружеские отношения, которые у него завязываются с А.П. Чеховым, А.В. Амфитеатовым, В.А. Гиляровским, Вл.И. Немировичем-Данченко, — свидетельство тяготения Дорошевича к демократически настроенным литераторам. Хлесткие, остроумные фельетоны, виртуозное умение вести живой диалог с читателем, весело и ненавязчиво высмеивая недостатки существующей правовой, экономической, социальной системы, а не только отдельных ее представителей, например жандармов или деятелей просвещения, при-

¹ Чехов А.П. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1974. Письма. Т. 1. С. 30.

влекают все большую читательскую симпатию. Дорошевич — желанный автор многих изданий. После журналов «Будильник» и «Развлечение» он сотрудничает в газете «Новости дня» (1889—1890), потом снова в «Московском листке»; а с 1893 по 1999 год (с перерывом) Дорошевич — постоянный сотрудник «Одесского листка», крупнейшего издания юга России. В качестве корреспондента этой газеты он посещает множество стран Европы и Америки, а в 1897 году совершает поездку на Сахалин. В конце 1890-х — начале 1900-х годов Дорошевич побывал в Японии, Китае, Индии, на Ближнем Востоке.

Поездки не только позволили ему лучше узнать мир, но и написать несколько замечательных книг. В 1903 году вышла книга «Сахалин», отдельные очерки из которой первоначально печатались в «Одесском листке», газетах «Россия» и «Русское слово». После книги Чехова новая книга о сахалинской каторге привлекла к себе внимание не только российских читателей, но и общественности во многих странах мира. Ее высоко оценил Лев Толстой. А цензура оценила по-своему, запретив публичным библиотекам и читателям приобретать книгу Дорошевича.

Поездки по странам Востока дали толчок к разработке Дорошевичем нового для себя жанра — восточной легенды, восточной сказки. Он увидел кроющиеся в этом жанре возможности, стилизуя фельетон или памфлет под восточную легенду, выражать любые актуальные для России политические проблемы. За эмирами, богдыханами или иными восточными властителями читатель легко угадывал правителей России, а за теми пробле-

мами, которые легко и просто решали восточные владыки, отрубая головы или лишая голоса неудобных птичек, и вовсе нетрудно было догадаться, как это делается в России.

Сказки, легенды можно рассматривать как своеобразное обличье фельетона, королем которого Дорошевич был признан в России повсеместно. Даже «Сатирикон», журнал, возглавляемый королем смеха Аркадием Аверченко, который, казалось бы, должен был ревниво относиться к всероссийской славе Власа Дорошевича (у «Сатирикона» были свои авторы), и тот поместил на своей обложке к юбилею фельетониста дружеский шарж на него, мастерски нарисованный одним из ведущих художников журнала «Ре-Ми», а издательство «Сатирикона» в 1912 году выпустило большой сборник его юмористических рассказов «На смех». Тем самым сатириконцы и признавали первенство Дорошевича в его жанре, и демонстрировали свое к нему уважение.

Собственно, что такое фельетон в российском его понимании? Это небольшое литературно-публистическое произведение, актуальное по своей теме, иронически-сатирическое по форме. Фельетон завоевывал популярность в России во второй половине XIX века. А.В. Амфитеатров, сам блестящий фельетонист, отмечал, что «фельетон сделался если не фундаментом периодической печати, то авангардом ее движения и залогом успеха вновь возникающих ее органов»¹.

Каждая газета, стремящаяся расширить свое

¹ Амфитеатров А. Юмор после Чехова // Сегодня. 1931. 31 января.

влияние и увеличить тираж (а значит — и прибыль), заботилась о том, чтобы среди ее сотрудников были талантливые фельетонисты. Вот почему «Новое время» привлекло к сотрудничеству В.В. Розанова и М.О. Меньшикова, а Ф.М. Достоевский исполнял роль фельетониста в своем «Дневнике писателя», и В.М. Дорошевича рады были видеть на своих страницах многие газеты, а создав в 1899 году либеральную газету «Россия», А. Амфитеатров и В. Дорошевич за считанные месяцы превратили ее благодаря своим фельетонам в одну из наиболее читаемых.

В своих фельетонах (а тематика их невероятно разнообразна: от судебных дел до театральных премьер, от проблем школы — до критики политических партий и государственной системы, от осуждения бандитских нравов прессы и до разоблачения коррупции во всех сферах общества...) Дорошевич проявлял обширнейшую эрудицию, и глубокое знание затрагиваемых им проблем, и уважительное отношение к читателю, и резко-критическое отношение к либералам, которые были готовы идти на сделку с самодержавием и ради материальных выгод и сохранения популярности (этой характерной проблеме эпохи он посвятил сатирическую повесть «Вихрь»)...

Многие читатели узнавали фельетоны Дорошевича, даже не ища имени автора. Фирменным его знаком была короткая строка. Казалось бы — чего проще: пиши короткими строчками — и все. Но попробуй написать так, чтобы строчка бросалась в глаза своей мыслью, яркостью, остроумием. А.С. Суворин, как вспоминал Амфитеатров, пытался, подражая Дорошевичу, писать короткой

строкой, но на третьем фельетоне выдохся: выглядели эти писания скучно и невыразительно.

Легкость, образность, живость пера Дорошевича снискали ему поклонников во всех кругах российского общества.

И когда в 1902 году по приглашению И.Д. Сытина Дорошевич становится фактическим редактором газеты «Русское слово», ее популярность взлетает невероятно.

Дорошевич привлек самых ярких писателей и журналистов в свою газету. В этом, кстати, проявлялось и одно из замечательных его качеств как писателя и человека: он не боялся конкуренции и привечал все талантливое. Он полагал, что талантливых людей не следует ограничивать определенными рамками: пусть каждый пишет о том, что ему интересно, и так, как позволяет ему талант. Об этом впоследствии упомянет Тэффи в своих воспоминаниях.

При Дорошевиче газета засверкала, вспоминал В. Гиляровский: «В.М. Дорошевич, с титулом «короля фельетонистов» и прекрасный редактор, вернулся вовсю. Увеличил до невероятных размеров гонорары сотрудникам, ввел строжайшую дисциплину в редакции и положительно неслыханные в Москве порядки...»

Благодаря остроте содержания и разнообразию материалов газета приобрела столь громадный успех, что ее тираж вырос до миллиона экземпляров, такого еще в России не бывало. Сам редактор своими фельетонами, рассказами, очерками, театральными рецензиями показывал пример сотрудникам, как надо работать, и заражал своей энергией.

Удивительное дело, но большинство газетных публикаций и рассказов этого замечательного труженика прессы читаются сегодня как актуальные репортажи, статьи на злобу дня, полемические выступления нашего современника — будь то фельетоны о школьной реформе, размышления об образовании, фельетоны о преклонении перед западным миром (не правда ли, как будто автор заглянул в сегодняшний день и подслушал рассуждения думских наших деятелей о том, что нам следует брать пример с цивилизованных стран (в своем фельетоне «Джентльмены») или же сатирические повести о новых предпринимателях, чью деятельность скорее можно смело назвать мошенничеством («Нашествие иноплеменников»).

К сожалению, после Февральской революции 1917 года его стремление сохранить независимые позиции газеты, его призывы «налево отнюдь не сбиваться» не спасли «Русского слова» — газета была закрыта. Тяжело больной, Дорошевич едет для лечения на юг России, он пытается сохранять нейтралитет и, прекрасно зная историю, читает лекции перед различными аудиториями, предупреждает о потоках крови, в которых может утонуть революция. Но Гражданская война уже в разгаре.

Как белые, так и красные пытаются приспособить талант Дорошевича к своим нуждам. Но никому из них не суждено преуспеть в этом. Лишь несколько фельетонов и памфлетов успевают опубликовать Влас Михайлович в последние годы жизни и умирает вскоре после возвращения в Петроград в феврале 1922 года.

* * *

Влас Михайлович Дорошевич оказал огромное влияние на журналистику и литературу XX века (многие советские литераторы начала 20-х годов демонстрируют телеграфный стиль как некое открытие, подсознательно заимствуя приемы Дорошевича, а следы его восточных легенд можно найти и сегодня и в журналистике, и в российский прозе).

Огромное литературное наследие короля фельетонов не собрано и не изучено, и, возможно, в этом направлении нас еще ждут открытия, которые помогут понять нас сегодняшних...

Ст. НИКОНЕНКО

Профессия:
репортер





Я никогда в жизни не видал

такой визитной карточки.

— «Икс Игрек Дзет. Репортер газеты такой-то».

Всегда:

«Корреспондент газеты такой-то».

«Хроникер газеты такой-то».

Иногда даже:

«Интервьюер».

В крайнем случае, просто:

«Сотрудник».

И никогда:

— Репортер.

Я даже не знаю, существует ли в русском разговорном языке слово «репортер». Есть слово «репортеришка». Чаще всего с прибавлением слова «всякий».

— Всякий репортеришка — и туда же смеет писать!

Это слово ругательное, и рассерженный обыватель, если хочет выругать обидевшего его журналиста, делает презрительную гримасу и говорит:

— Репортеришка!

Немудрено, что и сами гг. репортеры стараются избегать своего звания:

— Вы уж напишите, пожалуйста, в редакционном удостоверении «корреспондент», а не «репортер».

— Почему же?

— «Репортер» — это очень плохо звучит.

Если вы видите на афише новой пьесы в числе действующих лиц репортера, — заранее можете быть уверены, что это непременно шантажист, мошенник, человек, готовый за грош «на все».

Какой драматический «лев» не лягнул своим копытом «репортера»?

Если вы встречаете репортера в повести, романе, рассказе, — можете быть спокойны, что это лицо в лучшем случае только комическое, в худшем — самое презренное.

Он залезает под стол, чтоб подслушать чужие разговоры, и берет пять рублей, чтоб не разглашать семейных тайн.

Какой из «орлов», державших в своем копыте когда-либо перо беллетриста, не «живописал» так беднягу репортера?

«Репортер» — это слово, мало отличающееся, по общему мнению, от слова «клеветник».

И всякий по этому случаю считает возможным и удобным клеветать на репортера.

Раз человек клеветник, отчего же на него не клеветать?

Откуда, однако, взялась эта клевета, ставшая «общим мнением»?

Несомненно, это «общее мнение» имеет свою историческую подкладку.

Старые газетные работники помнят еще именно таких «репортеров», каких до сих пор выводят гг. драматурги и описывают гг. беллетристы.

Грязных, нечесаных, невытых, которых даже в редакциях не пускали дальше передней.

Они подслушивали разговоры, сидя под столом, потому что их никуда не пускали, и их никуда нельзя было пустить.

Это был безграмотный народ, писавший «еще» с четырьмя ошибками и которого мазали за его «художества» горчицей.

Хорошенькие времена! Одинаково хороши были все: и те, кто доводил себя до мазанья горчицей, да и те, кто находил в этом удовольствие и «нравственное удовлетворение».

Но кто и теперь не говорит при виде идущего репортера:

— Вон репортеришка бежит!

И кому какое дело, что он бежит, в сущности, по общественному делу!

Процессом «Владимира» интересовалась вся Россия.

Изо всех рефератов, печатавшихся в одесских газетах, лучшим был реферат покойного В.О. Клепацкого.

Этот реферат почти дословно перепечатывался чуть не всеми русскими газетами.

По крайней мере, большинством.

Когда драматург пишет пьесу, он получает гонорар со всякого театра, где она ставится.

Если бы у нас относились с большим уважением к собственности и перепечатки чужих произведений оплачивались бы точно так же, как оплачивается постановка драматических произведений на сцене, — В.О. Клепацкий получил бы за свой труд, прекрасный, добросовестный, обративший на себя внимание всей русской печати, — тысячи.

А он работал на всю русскую печать, получая только свой обычный, скромный гонорар из редакции своей газеты.

Ежедневно сведения, добываемые репортерами, перепечатываются десятками, иногда сотнями газет.

Если бы репортеры получили вознаграждение от всех газет, которые пользуются их трудом, — вид «бегающего репортеришки» прошел бы в область преданий.

Пусть это вознаграждение со стороны каждой газеты было бы очень мало — пропорционально недостаткам каждой газеты, — в общем это составило бы солидную сумму и подняло бы благосостояние этих бедняг, получающих гроши за сведения, интересующие всю Россию.

Если хотите составить себе понятие об отношении, которое составляет интерес, возбуждаемый часто репортерскими заметками и гонораром, который получают авторы за эти сообщения, — я сообщу вам факт из собственной практики.

Лет 15 тому назад, когда я был репортером, мне удалось добыть одно сведение, очень сенсационное, которое я со свойственной репортерам краткостью изложил в 7 строках.

Эти семь строк обошли решительно все русские газеты.

Так как сведение, сообщенное в них, имело большой общественный интерес, то оно вызвало ряд фельетонов, передовых статей во всех больших столичных газетах.

Возникла даже полемика.

А я мог внимать всему поднятому мною шуму,

пересчитывая 21 (двадцать одну) копейку, полученную мною за мои 7 строк!

В особенности, стоя близко к газетному делу, становится обидно и больно: как мало и материального и нравственного вознаграждения получают эти люди за свой честный, за свой добросовестный, часто талантливый, всегда нелегкий труд.

Эти люди, составляющие фундамент газетного дела.

Рассуждения, обобщения фельетонистов и передовиков, это — все соус, в котором подаются факты.

Но самое ценное, самое существенное — факты, это ведь принадлежит репортерам.

И что же за это?

Что — этим безвестным, безыменным труженикам?

Когда умирают люди, подписывающие свои статьи, — публика хоть несколько дней поскучает, не видя в газетах привычной подписи.

Когда умирает репортер, это проходит незаметно.

Его строк больше нет, но вместо них есть другие строки, такие же безыменные.

И эти серые строки смыкаются над его памятью, как смыкаются волны над головой утонувшего человека.

И неизвестно, был ли здесь когда-нибудь человек!

Но пусть так!

Газета, живущая всего один день, очень плохой путь к бессмертию.

Об этом труженике очень мало думают.

Пусть и это будет так!

Ведь, покупая в ювелирном магазине брошь, вы не думаете о тех, кто добывает это золото.

А не будь их, не было бы и великолепной броши.

Репортеры получают такие гроши сравнительно с интересом, который часто возбуждают их заметки, и той пользой, которую эти скромные заметки приносят.

Но пусть и это будет так!

Справедливость — очень редкая птица.

Но за что же это обидное, это незаслуженное отношение к самой профессии, не менее честной, чем все другие профессии, и более полезной, чем многие другие.

Почему репортеру неловко сказать:

— Я репортер!

И ловко сказать доктору, что он доктор, адвокату, что он адвокат, директору банка, что он директор банка.

«Во всякой реке есть всякая рыба: и дурная и хорошая».

За что же это обидное обобщение распространяется именно на репортеров?

Почему им приходится быть тем колодецем, из которого все пьют и в который чаще всего плюют?

Репортеры, которые были когда-то и о которых я говорил, умерли как люди и вымерли как тип.

Представлять себе теперешних репортеров в виде тех «типов», которые по трафарету рисуют гг. драматурги и беллетристы, это — все равно что представлять себе артистов Малого театра или театра г. Соловцова в виде Аркашек, которых перевозят из города в город, завернувши в ковер.

Все изменилось.

Среди репортеров нет более людей, пишущих «еще» с четырьмя ошибками.

Им не нужно залезать под столы, чтоб подслу-

шивать, что происходит в заседаниях, — они желанные гости во всяком учреждении, не боящемся света.

К ним лично относятся, как относились, например, к покойному В.О. Клепацкому, — с таким же точно почтением, как и ко всякому честному человеку, занимающемуся полезным общественным делом.

И только одно, — они все еще не решаются, не могут решиться сказать громко и открыто, с гордостью и достоинством:

— Я репортер!

«Пустяк!» — скажете вы.

Посмотрел бы я, что сказали бы вы, если б вам неловко было назвать ту профессию честной, которую вы занимаетесь!

Вчера хоронили моего дорогого товарища В.О. Клепацкого, и это горькое чувство обиды шевелилось в моей душе; его не могли сгладить даже всеобщие сожаления, которые окружали безвременную могилу этого честного уважаемого газетного труженика.

Мне думалось:

— Да! Ты служил великому делу — гласности. Ты был «только репортер», но ты помогал суду быть «гласным» судом, передавая отчеты об его заседаниях в газете. Ты помогал дать нравственное удовлетворение правым и обиженным, доводя до всеобщего сведения судебные приговоры. Да! Ты пользовался заслуженным уважением как человек. Но почему-то ты, честный слуга честного дела, не мог с гордостью назвать своей профессии: «Я репортер!» Как скоро умирают люди, и как долго живут предрассудки...

Двадцатый век

— **Г**осподин редактор!!!

— Пожалуйста в кабинет!

Господин с разъяренным лицом влетает в кабинет.

— Вы г. редактор?

Сидящий за столом мужчина молча наклоняет голову.

— В вашей газете напечатана про меня гадость, клевета, гнусность. Вы смеее утверждать, будто я совершил мошенничество, когда я сделал только подлог!

Сидящий за столом молча наклоняет голову.

— Ага! Вам нечего сказать! Вы молчите. Но я не позволю, милсдар, позорить мое доброе имя! Я никогда мошенником не был. Я честный человек, милсдар: меня даже по суду шесть раз оправдали по обвинению в краже!

Сидящий за столом молча наклоняет голову.

— Нечего кивать головой. Вы потрудитесь напечатать в завтрашнем номере вашей газеты извинение передо мной. Вы публично покаетесь, что смели назвать меня мошенником, когда я совершил только подлог. Иначе...

В то время как сердитый господин так разгова-

ривает с посаженным за столом манекеном г. редактора, сам г. редактор спрашивает у управляющего:

— Ну, как мой новый автомат, сделанный г. Молинари?

— Похож изумительно. Отлично кланяется. Все принимают его за вас. Еще и сейчас с ним объясняется какой-то господин.

— Старый, работы Эдварса, был великолепен. Но этот каналья Симонов вlepил ему в голову шестнадцать пуль. Надеюсь, что новый манекен представителен?

— О, как нельзя более. Очень солидная фигура. Внутри часовой механизм, он чрезвычайно важно наклоняет голову каждые две минуты. В общем, он возбуждает величайшее почтение в гг. посетителях.

— Великолепно. Когда подумаешь, что в XIX веке гг. редакторы объяснялись со всей этой шушерой лично! Ха-ха-ха! Кто сегодня дежурный боксер?!

— Иван.

— А сколько явилось молодых поэтов со своими стихами?

— Шестнадцать.

— Пусть даст им всем боксом, а рукописи с поэмами, по обыкновению, отправить на нашу писчебумажную фабрику для превращения в бумажную массу. Слава богу, благодаря изобилию молодых поэтов мы избавлены от расхода на покупку тряпок для нашей писчебумажной фабрики.

Г. редактор переходит в «спиритическую комнату» редакции.

— Как дела?

— Только что вызывал дух Цицерона. Ничего не отвечает. Должно быть, занят с другой редакцией.

— Мне нет никакого дела, врете вы или на самом деле там что-нибудь существует. Это меня не касается. Но назавтра в номере непременно должно быть новое стихотворение Пушкина, продолжение поэмы Лермонтова, легкий фельетон Гоголя и несколько острот Вольтера. Можете написать все это сами или при помощи ваших молодых поэтов. Но эти имена должны быть у нас в газете. Мы обещали их сотрудничество.

— А не проинтервьюировать ли Наполеона: что он чувствует, когда на сцене нашего театра играют «Madame Sans-Gené»?

— Это идея. Но я надеюсь, что ваш Наполеон будет так любезен, что хорошенько отделает актрису, играющую королеву. Она была недостаточно любезна со мной.

Г. редактор переходит в редакцию.

— Что новенького, г. заведующий иностранной политикой?

— Пока ничего: ни по телеграфу, ни по телефону, ни с голубиной почтой. Мы ждем прилета аэростата. Быть может, он принесет какие-нибудь новости.

— Когда нет новостей, их надо выдумывать. Самые интересные политические новости — это всегда те, которые выдумываются. Вы помните этот огромный успех, который имело наше известие о бешенстве Гладстона-внука?

— Да, но потом пришлось опровергнуть.

— Ничего не значит. Публике это доставило только удовольствие. Все сказали: «И слава богу,

что этого не случилось». Все очень любят этого государственного человека. А что сегодня у наших конкурентов?

— Описание революции в Испании, которой не было.

— Ничего не значит. Публика с интересом будет читать подробности. Однако эта скверная газетка начинает идти в гору. Попросите ко мне г. заведующего полемикой.

— Здравствуйте, г. редактор.

— Что вы сделали в смысле полемики с нашим конкурентом?

— О, великолепная штука, г. редактор. Останутся довольны. Я нашел в Крыжополе однофамильца их редактора, известного вора. Тоже Иван Иванович Иванов. Сегодня он приезжает в Одессу и завтра совершает первую кражу. Публика будет читать напечатанные крупным шрифтом заметки о кражах, которые совершает Иван Иванович Иванов, и будет думать на редактора враждебной нам газеты.

— Я вас понял. Это отличный полемический прием. Но зачем же откладывать первую кражу на завтра? Никогда не должно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Пусть украдет что-нибудь сегодня же. Даже в нашей редакции. Это будет эффектнее. А вы пока составьте хорошенькую заметку: «До чего дошел наш почтенный Иван Иванович Иванов!» Поставьте двадцать восклицательных знаков. Это пикантно. Публика любит восклицательные знаки, как спаржу.

— Слушаю, г. редактор.

— Но этого мало. Их фельетонист Хамелеон имеет успех. Позвать ко мне нашего г. Бреттера!

— Я к вашим услугам, г. редактор!

— Вы должны принять меры против г. Хамелеона.

— Я уж подумал об этом, г. редактор. Сегодня в театре я наступлю ему на ногу, сам сделаю скандал, вызову на дуэль. Пистолеты. Двадцать шагов. Но, говорят, он сам попадает в бубнового туза. Вдруг...

— Это не должно вас особенно пугать. В случае неблагоприятного для вас исхода редакция имеет уже три предложения на ваше место от молодых людей, одинаково владеющих пистолетом и шпагой. Жалованье, платье от лучшего портного, расходы на первые рестораны и ничего не делать. Что может быть лучше для человека, от которого ничего не требуют, кроме эффектной внешности и умения стрелять. Но попросите ко мне г. корректора.

— Г. редактор...

— Я вами недоволен, г. корректор. Сегодня в номере ни одной опечатки. Вы могли бы вставить перед фамилией гласного Х. слово «дурак». Это произвело бы сенсацию, а назавтра мы объяснили бы все опечаткой и недосмотром корректора. Пожалуйста, чтоб в номере всегда были ошибки.

— Будут, г. редактор!

— Где г. хроникер?

— Здесь, г. редактор.

— Я вами тоже недоволен. В описаниях дамских туалетов на скачках вы позабыли упомянуть, что г-жа У. была уж в третий раз в одном и том же платье. Вы могли бы добавить: «Как не стыдно», и выразить сомнение, уж идут ли достаточно хорошо торговые дела хлебной конторы ее мужа. Коммерческий мир это любит.

— Да, но мужья и так собираются, г. редактор, переломать мне ребра за описания дамских туалетов. Дамы нашего города прямо посходили с ума и тратят последние деньги на туалеты, лишь бы попасть в газету.

— Тем лучше. А вы... Вы можете носить под пиджаком кольчугу. Кстати, с кем вы теперь наиболее близки?

— С закройщицей от м-ме Аннет.

— Бросьте и начните ухаживать за мастерицей от м-ме Жозефин. Там теперь получены новые парижские модели. Надо описать, потому что держится в секрете. А, наш модный романист! Чем вы готовитесь нас подарить?

— У меня теперь четыре романа с дамами из общества. Я опишу их со всеми подробностями... Вы понимаете?

— Отлично. Ваш роман с артисткой Z не заинтересовал публику. Ее и так все знают. Подробности никому не были новы. А роман-хроника, который вы даете ежедневно?

— Подвигается вперед. Мой красивый молодой человек каждый день имеет успех и потому мне рассказывает все. Сегодня он отправился объясняться в любви к г-же W.

— Только еще объясняться в любви!!! За ней ухаживает Троглодитор из конкурирующей с нами газеты! Он будет иметь успех раньше, — и мы будем иметь удовольствие прочитать о ней все подробности у конкурентов...

— Но что же делать?

— Пустяки! Вы говорите о добродетели, как будто мы все еще живем в XIX веке! Просто ваш моло-

дой человек никуда не годится, он слишком медлит.

— Это скоро кончится, он, кажется, не на шутку увлекся г-жой М., а так как мне для романа нужно отправить ее в Кишинев, то он, вероятно, застрелится.

— Посоветуйте ему. Это будет эффектным финалом для романа. Ничто так не читается, как романы из действительной жизни. Все, что можно было выдумать в этой области, уже выдумано. Где г. заведующий морским отделом?

— Что прикажете, г. редактор?

— Давно не было никаких катастроф, г. заведующий. Вы заставляете публику скучать.

— Я принял соответствующие меры, г. редактор. Вчера перепоил всех помощников капитана парохода, ушедшего в Севастополь. И с собой им дал мастики. Мне кажется, что столкновение неизбежно случится. С минуты на минуту жду телеграммы из Тарханкута.

— Отлично. Публика это любит. Ну, а вы, г. репортер, вы приготовили нам на завтра что-нибудь интересное?

— Двоих уговорил покончить самоубийством, одного убедил, что понятие о собственности есть предрассудок, и он, наверное, сегодня украдет. Познакомил бухгалтера банка с шансонетной певицей. Наверное, растратит.

— Это все мелочи. Неужели вы не могли приготовить что-нибудь покрупнее? Это в XIX веке репортеры сообщали о том, что уже произошло. В двадцатом — интересные происшествия надо создавать.

— У меня есть на примете убийство жены из ревности.

— А, вот это я понимаю. Ревность в двадцатом веке — очень редкое чувство.

— Будущий преступник уже здесь. Я не спускаю его с глаз, чтобы не передумал. Теперь он доведен до белого каления и читает в соседней комнате «Отелло».

— Пожалуйста, не давайте ему читать эту глупую комедию до конца. Ему станет жаль Дездемоны...

— Разве я не понимаю, г. редактор. У меня конец этой, как вы изволили выразиться, комедии вырван и напечатан другой. Я сам написал: Дездемона оказывается действительно виновной. На ревнивых мужей это производит впечатление каленого железа. Да вам не угодно ли видеть его самого, г. редактор?

В редакцию входит господин с бледным как полотно лицом, безумными глазами и волосами, прилипшими к мокрому лбу.

— Г. Петров. Несчастный муж, которого недостойно обманывает его жена! — рекомендует г. репортер.

— Мы слышали о вашем несчастье! — с сочувствием говорит г. редактор. — Наши репортеры собрали самые достоверные сведения. Ваша жена вас действительно обманывает!

— О, не говорите мне об этом чудовище. Я ее убью...

— Это хорошо. Прочтите «Le bete humaine» Золя, — еще в прошлом веке было известно, что вид крови успокаивает человека.

— О, я ее задушу, как собаку!

— Это, конечно, недурно. Похоже на «Отелло». Но теперь этой пьесы не понимают. Почему бы вам ее не застрелить? Несколько пуль в голову, а потом, если хотите, можете застрелиться и сами. Это еще лучше! Хотя, конечно, не обязательно. Можете быть спокойны, редакция позаботится о вашей защите. При редакции имеется опытный адвокат. Кроме того, все время, пока вы будете содержаться в тюрьме, вы будете ежедневно получать обед из «Северной» гостиницы за счет редакции и нашу газету, из которой вы узнаете всю вашу биографию. Уговор один: не опровергать, если прочтете в нашей газете, что вы родом португалец и уже зарезали двадцать человек. Это только придаст вам интереса.

— Хорошо! Я застрелю эту негодницу. Идем!

— Выдать г. Петрову из арсенала редакции шестиствольный револьвер и зарядить его на все заряды. Желаем вам успеха, г. Петров. Вы благородный человек и настоящее исключение среди мужей двадцатого века. Еще раз — полнейшего успеха. Цельте немножко ниже, потому что револьвер всегда при выстреле отдает слегка вверх. До свидания, г. Петров. Г. репортер, следуйте за г. Петровым.

Это заинтересует завтра читателей, — замечает г. редактор, — а теперь займемся театром и отделом справочных сведений. Где г. музыкальный рецензент?

— Что угодно, г. редактор?

— Вы заняты?

— Да, я слушаю по телефону оперу, которую поют теперь в Нью-Йорке. Великолепный состав.

— Обругайте по этому случаю нашу оперу, с указанием, как идут оперы в Нью-Йорке. А где г. драматический рецензент?

— Я здесь, г. редактор.

— Вами я решительно недоволен. Вы разбираете игру в то время, как надо разбирать сложение артисток. Вот что интересует публику! Можете выразить несколько предположений относительно темперамента каждой. А про Русский театр напишите, что там кирпичи с потолка падают. Они смеют печатать афиши в типографии наших конкурентов.

— Я хотел просто обругать опереточную труппу.

— Это ничему не поможет. Кто в двадцатом веке верит газетным рецензиям? Тогда как еще вопрос, — кто пойдет, зная, что с потолка, того и гляди, рухнет на голову кирпич.

— Отлично, г. редактор.

— Кафешантанным рецензентом я вполне доволен. Это очень умно, что он выдумал писать в рецензиях, какое вино пьет каждая из шансонетных певиц и какие блюда она предпочитает. Это облегчает публику. Теперь справочный отдел...

— Я, кажется, г. редактор, всегда сообщаю самые верные сведения.

— Это-то и глупо! Верные цены коммерческий мир знает и без вас. А вы напишите завтра, что в Одессу привезено 2 миллиона пудов пшеницы, и цена упадет до 6 копеек за пуд. Это произведет сенсацию. Газету будут брать нарасхват! Все. Завтра у нас будет, кажется, интересный номер.

Г. редактор переходит в контору.

— Сколько разошлось?

— 472 529 экземпляров.

— Послать сломать ночью машину у конкурентов и объявить, что с послезавтра газета будет, ввиду летнего времени, для удобства гг. подписчиков печататься на бумаге «смерть мухам». Не надо забывать, что мы живем в двадцатом веке, черт возьми!

Отцы и дети





9 той весной в Париже

я зашел в одну знакомую семью.

Меня встретил мальчишка, ликующий и радостный:

— А мы с папой сегодня в Салон идем. Папа меня берет.

— Да?

— В награду!

— Что ж ты такого наделал, что тебя награждать нужно?

— А он сегодня принес первое сочинение! С отметкой «очень хорошо!» — похвасталась мамаша.

Всегда надо делать вид, будто страшно интересуешься успехами детей.

— Ну, ну! Покажите ваше сочинение.

Детям в школе было предложено посетить в один из праздничных дней Зоологический парк и затем описать этот зоологический сад в форме письма к товарищу, живущему в провинции.

Мой маленький приятель — живой и умный мальчик. Большой остряк. Он любит приправить свою болтовню шуткой — и иногда острит очень удачно.

Не удержался он от шутки и в сочинении.

Немножко лентяй, он, чтоб не писать слишком много, заканчивал свое коротенькое сочинение так: «Впрочем, для того чтоб познакомить тебя со всеми чудесами Зоологического парка, мне пришлось бы написать целую книгу. Может быть, когда-нибудь я это и сделаю. Но, принимая во внимание мою лень, я уверен, ты сам до тех пор успеешь побывать в Париже и посмотреть все своими глазами».

Сочинение было написано хорошим, правильным французским языком, и под ним была пометка: «Очень хорошо».

— Ну, а это место? — спросил я.

— Ах, учитель ужасно смеялся, когда читал вслух это место. И товарищи тоже!

Мне вспомнилось, как меня однажды дернул черт пошутить в сочинении.

Темой было: «Терпение и труд все перетрут».

Среди академических рассуждений на эту тему нелегкая меня дернула мимоходом вставить фразу: «Да, конечно, терпение и труд все перетрут, например здоровье».

Настал день «возвращения» тетрадок.

Этого дня мы всегда ждали с особым нетерпением.

Предстоял целый час издевательства над слабейшими товарищами.

Учитель читал вслух худшие сочинения, острил по поводу них, и мы помирали с хохота над автором. Особенно старались помирать с хохота те, кто сидел на виду у острившего учителя.

Кто-нибудь из товарищей стоял у дверей и выглядывал в коридор.

— С тетрадками идет! С тетрадками! — возве-

щал он всеобщую радость, опрометью кидаясь на место.

Итак, настал день возвращения тетрадок.

Но, против обыкновения, учитель явился сумрачный. Лицо ничего хорошего не предвещало.

Сел на кафедру, отметил журнал, выдержал длинную, томительную паузу, развернул тетрадку, лежавшую наверху, и вызвал:

— Дорошевич Власий!

Дорошевич Власий поднялся смущенный.

— Дорошевич Власий! Вы позволили себе неуместную и неприличную шутку...

Белокурый немчик, сидевший рядом на парте, поспешил испуганно отодвинуться от меня. Он всегда отодвигался от тех, кто получал единицу или подвергался наказанию. Товарищи глядели на меня кто с испугом, кто с сожалением, кто со злорадством.

— Вы позволили себе неуместную и неприличную шутку в вашем сочинении...

— Господин учитель...

— Потрудитесь молчать! О вашей неуместной и неприличной шутке будет мною как классным наставником доведено до сведения педагогического совета. Теперь же потрудитесь отправиться к г-ну инспектору. Г-ну инспектору уже известно о неуместной и неприличной шутке, которую вы себе позволили. Ступайте! Никаких разговоров! Ступайте!

Толстый инспектор, которого мы звали «турецким барабаном», окинул меня недружелюбным взглядом с головы до ног.

— Что вам? Почему вы не в классе?

— Ученик такого-то класса, такого-то отделе-

ния, Дорошевич Власий! — робко отрекомендовался я.

Толстый инспектор покраснел:

— А! Это вы? Где у вас пуговица?

Он кричал и от крика начал синеть:

— Где у вас пуговица? Почему пуговица на мундире не застегнута? Где ваш галстук?

— Сполз...

— Я вам покажу — сполз. Пуговицы не застегнуты, галстук не на месте, позволяете себе неуместные и неприличные шутки. Что вы о себе думаете? Будут вызваны ваши родители! Идите к г-ну директору. Г-н директор знает о том, что вы себе позволили.

К актовому залу, где сидел директор, я подобрался уже совсем на цыпочках, проводя пальцем по пуговицам и щупая, здесь ли галстук.

— Скажите, что Дорошевич Власий!

Мы всегда, когда предстояла гроза, говорили сторожам «вы». В обыкновенное время мы говорили им «ты» и ругали дураками.

С трепетом я вступил в великолепный актовый зал, с мраморными стенами, на которых висели золотые доски с фамилиями кончивших с медалью.

Посреди, за длиннейшим столом, покрытым зеленым сукном, сидел г-н директор, маленький, весь высохший человек, ходивший не во фраке, а в сюртуке с золотыми пуговицами, что придавало ему в наших глазах какое-то особое величие.

Г-н директор посмотрел на меня поверх очков, помолчал минуты две и крикнул:

— Что у вас за волосы?

Я схватился за волосы.

— Что за волосы, я вас спрашиваю? Какие у вас волосы? А?

Я растерялся окончательно.

— Б-б-белокурые!

Директор даже вскочил, словно под него вдруг насыпали угольев.

— Вы позволяете себе неприличные и неуместные шутки еще в разговорах с начальством? Вы позволяете себе являться с непричесанными волосами да еще имеете смелость так отвечать! Молчать! После классов сядете в карцер! Извольте идти. Слышали?

Черт возьми, сразу было видно, что имеешь дело с классиками! Они громили меня, как Катилину!

И вот после классов я очутился на шесть часов в карцере. Запертый, весь полный скверны, внутри и снаружи: пуговица не застегнута, в сочинениях неуместные и неприличные шутки, волосы не острижены, галстук сполз.

В результате: нуль за сочинение, — нулей у нас вообще не ставили, но на этот раз решено было для примера поставить, — сбавили балл с поведения, накричали, выдержали в карцере, вызвали родителей.

Для большей острастки им объявили еще:

— В следующий раз вынуждены будем предложить вам взять вашего сына из гимназии. Подобные воспитанники не могут быть терпимы.

И все из-за того, что нелегкая меня дернула написать в сочинении то, что я подумал!

Меня заинтересовали сочинения во французской школе, и я обратился к моему маленькому другу:

— Нельзя ли достать сочинения твоих товарищей? Мне хотелось бы посмотреть.

— А вот придите к нам в воскресенье завтракать, — у меня будут двое товарищей. Я им скажу, чтоб захватили тетрадки.

Один из этих маленьких писателей оказался человеком ученым. Он посмотрел на свою задачу серьезно, написал длинное сочинение и щеголял ученостью. Он сообщал своему воображаемому другу не только о внешнем виде зверей, но и об их нравах, привычках, образе жизни на воле. Сообщал, что львы, тигры и пантеры принадлежат к «семейству кошек» и т. п.

Другой был большой фантазер. Вид каждого зверя напоминал ему какую-нибудь страницу из прочитанных путешествий. И он описывал больше охоту на этих зверей. Описывал с таким увлечением, словно участвовал во всех этих охотах сам.

«Бить бизона пулей в голову положительно невозможно! — восклицал он. — Пуля сплющится, и охотник должен выждать момент, когда разъяренное животное кинется на него, наклонив голову, и тогда бей пулей в крутую шею!»

Всякий писал по-своему. Всякий жил в сочинении своей жизнью. Каждый писал то, что он действительно думал.

А учитель следил за тем, чтоб мысли были изложены правильным родным языком, и ставил за это изложение «очень хорошо» и серьезному сочинителю, щеголявшему ученостью, и мальчику, несомненно обладавшему творческой фантазией, и ребенку, склад ума которого расположен к шутке.

Разве художественная фантазия или остроумие — недостатки?

Дети, это — цветы. Нельзя же ведь требовать, чтоб все цветы одинаково пахли.

Пусть дети умеют хорошо излагать то, что думают. В этом и состоит обучение родному языку.

Но никто не кладет свинцового штампа на их мысль:

— Думай вот так-то.

А у нас!

Урок русского языка.

— Разбор «Птички божией». Мозгов Николай!

Встает маленький и уже перепуганный Мозгов Николай.

— Мозгов Николай! Разберите мне «Птичку божую». Что хотел сказать поэт «Птичкой божией»?

Мозгов Николай моргает веками.

— Ну! Мозгов Николай! Что хотел сказать поэт?

— У меня мамаша больна! — говорит вдруг Мозгов.

— Что такое?

— У меня мамаша больна. Я не знаю, что хотел сказать поэт. Я не мог приготовить.

— У Мозгова Николая мамаша всегда бывает больна, когда Мозгов Николай не знает урока. У Мозгова Николая очень удобная мамаша.

Весь класс хихикает.

— Я ставлю Мозгову Николаю «нотабене». Голиков Алексей! Что хотел сказать поэт «Птичкой божией»?

— Не знаю!

— Голиков Алексей не знает. В таком случае Голиков Николай.

Голиков Николай молчит.

— Голиков Алексей и Голиков Николай никогда ничего не знают. Постников Иван.

- У меня, Петр Петрович, нога болит!
- При чем же тут поэт?
- Я не могу, Петр Петрович, стоять!
- Отвечайте в таком случае сидя. Постников Иван и сидя не знает, что хотел сказать поэт. В таком случае Иванов Павел!
- Позвольте выйти!
- Что хотел сказать поэт «Птичкой божией»?
- Позвольте выйти!
- Иванов Павел хочет выйти. Иванов Павел выйдет на целый класс!

И уроки-то русского языка идут на каком-то индейском языке! Словно предводитель команчей разговаривает:

— Бледнолицый брат мой — собака. Язык бледнолицего брата моего лжет. Я сниму скаल्प с бледнолицего брата моего!

В это время над задней скамейкой поднимается, словно знамя, достаточно выпачканная в чернилах рука.

— Патрикеев Клавдий знает, что хотел сказать поэт. Пусть Патрикеев Клавдий объяснит нам, что хотел сказать поэт!

Патрикеев Клавдий поднимается, но уверенность его моментально покидает: «А вдруг не угадаю».

— Почему же Патрикеев Клавдий молчит, если он знает?

Все смотрят на Патрикеева и начинают хихикать. Патрикеев Клавдий думает: «Не попроситься ли лучше выйти?» Но стыдится своего малодушия и начинает неуверенным голосом:

— В стихотворении «Птичка божия» поэт, види-

мо, хотел сказать... хотел сказать... вообще... что птичка...

А класс хихикает все сильнее и сильнее:

«Ишь какой знающий выискался! Знает, что поэт хотел сказать! Этого никто, кроме Петра Петровича, не знает!»

Патрикеев готов заплакать:

— Прикажите им, чтобы они не смеялись... Тут повсе нечему смеяться... Поэт хотел сказать, что птичка вообще не работает, ничего не делает... и все-таки сыта бывает...

— Не то! Пусть Патрикеев Клавдий сядет и никогда не вызывается отвечать, когда не знает. Никто не знает, что хотел сказать поэт в «Птичке божией»? Никто? Ну, как же так? Это так просто.

И учитель объясняет:

— Вкладывая песню о птичке божией в уста кочевых и неоседлых цыган, поэт тем самым хотел изобличить перед нами низкий уровень этих цыган. Ибо только с точки зрения...

— Петр Петрович, будьте добры помедленнее. Я не успеваю записывать! — говорит первый ученик.

— Надо понимать, а не записывать! Ибо, говорю я, только с точки зрения кочующих и беззаботных цыган, может служить предметом восхваления такая беззаботность птички. Похвала же птички за ее праздность и ничегонеделание была бы немислима в устах такого просвещенного человека, каким, бесспорно, является поэт. Все поняли?

— Все поняли! — хором отвечает класс.

— Мозгов Николай, повторите!

— Поэт вкладывает птичке в уста...

— Садитесь. Повторяю еще раз. Вкладывая в

уста не птичке, а цыганам, поэт, несомненно, думал этим... Ну, да все равно! Запишите.

И все зубрят к следующему уроку это обязательное «толкование птички».

И так со всем, что только читается и обсуждается в классе.

И чем больше школьники читают и обсуждают, тем больше они отучаются думать, разбирать, понимать.

Похоронным звоном над самостоятельной критической мыслью звучит каждое учительское:

— Поэт хотел этим сказать...

Своя мысль заменяется штампованной мыслью обязательного и узаконенного образца.

Никто уж и не пытается думать. Все равно не попадешь и ошибешься. Учитель скажет, как это надо понимать на пятерку!

Нет ничего более притупляющего, как гимназические «сочинения по русскому языку».

В провинции у меня был добрый знакомый, видный общественный деятель и необыкновенно чадолюбивый родитель.

Когда его дети держали экзамен, экзамен держал весь город. Одни знакомые, — мой приятель был большой хлебосол, у него всегда бывал весь город, — одни знакомые летели хлопотать у попечителя, другие у директора, третьи разлетались по учителям.

Если кому-нибудь из детей задавали трудную задачу по алгебре, в решении ее принимали участие профессора математики местного университета. В дни «сочинения на дом» приглашались на помощь адвокаты и литераторы.

И вот старшему сыну задали задачу на тему:

— О пользе труда.

Была созвана консультация. Отец ходил, разводя руками:

— Черт знает, какие темы задают детям. Поистине не понимаю, какая такая польза труда! Труд — это проклятие. Бог, изгоняя из рая, проклял людей трудом!

Мы наперерыв старались изложить перед юношей все полезные стороны труда.

Рисовали самые соблазнительные перспективы.

— Вот что можно на эту тему написать!

— Вот что еще можно прибавить!

— Вот еще что!

Но юноша качал головой:

— Нет, это не то! Это все не годится. Придется, папа, пригласить Семена Пуприкова!

Семен Пуприков был ученик другой гимназии, но «человек знающий».

— Он на сочинениях собаку съел.

Пуприкова пригласили обедать на другой день, и родственница, заведовавшая хозяйством, спросила даже:

— А что этот твой Семен Пуприков любит? Не сделать ли по этому случаю блинчики с творогом? Такие, подрумяненные. Или лучше будет оладьи с вареньем, только пожирнее?

Наше самолюбие было, черт возьми, задето! И на следующий день мы, и присяжные поверенные, и литераторы, явились на обед с Семеном Пуприковым.

Пуприков оказался мальчиком небольшого роста и очень головастым.

Так, ничего особенного!

Явился он в дом с полным сознанием важности

своей миссии. С таким видом входят в дом нотариусы, приглашенные к умирающему составить духовное завещание, судебные пристава, являющиеся для описи имущества, и немногие им подобные.

Вплоть до обеда Пуприков ничего не говорил, ел хорошо: всего взял вдвое, а оладий с вареньем спросил даже четыре раза.

После обеда тут же, за столом, начали говорить о сочинении.

— Ну-с, как же надо написать «О пользе труда»?

Семен Пуприков обвел всех нас серьезным и даже, как мне показалось, строгим взглядом, сжал губы, подумал с минуту и сказал глухим голосом:

— Тут Демосфен необходим!

Присяжные поверенные даже подпрыгнули:

— Как Демосфен?!

— А так Демосфен! — снова помолчав, продолжал Пуприков и, откинувшись к спинке стула, заговорил голосом, в котором слышалось даже что-то пророческое: — Так, мы можем убедиться в пользе труда, только изучив историю Демосфена. Теперь период. Будучи от природы косноязычен и обладая физическими недостатками, которые не позволяли ему и думать о выступлении в качестве оратора из боязни насмешек со стороны сограждан, Демосфен непрерывным трудом не только избавился от этих недостатков, но и сделался знаменитейшим оратором, слава которого далеко перешла пределы его родины и границы его времени! Ну, тут насчет камешков в рот, беганья по горам и всего прочего!

Мы переглянулись почтительно.

— А затем нужно, — продолжал наставительно Пуприков, — сопоставить Демосфена с лаццарони.

— Как с лаццарони? — воскликнули все, глубоко пораженные. — При чем же тут лаццарони?

Пуприков Семен снисходительно улыбнулся:

— А как же?

И снова приняв вид вещей пифии, он продекламировал, полузакрыв глаза:

— Лаццарони в Неаполе, довольствуясь ракушками, которые выбрасывает море, избегают труда, — и что же мы видим? Они валяются целый день на солнце, мало чем отличаясь от лежащих тут же собак, и справедливо вызывают к себе негодование путешественников. Это доказательство от противного, или обратный пример. А посему, убедившись на примере Демосфена в крайней пользе труда и сопоставив это с пагубными последствиями праздности, в коих убеждает нас пример итальянских лаццарони в Неаполе, будем же подражать Демосфену и избегать примера презренных лаццарони... Тут уж часть патетическая! Это всегда так пишется!.. — уверенно закончил Пуприков Семен.

— Черт знает что! Словно бумага в присутственное место! «Всегда так пишется!» — буркнул хозяин дома.

После обеда я почтительно предложил Семену Пуприкову папиросу, а один присяжный поверенный до того растерялся, что предложил ему даже сигару:

— Вы крепкие сигары курите или средние?

А Семен Пуприков, медленно прихлебывая ликер, покрасневшись, долго объяснял нам, как надо писать сочинения на какие темы.

И в каждой гимназии, в каждом классе есть такие специалисты, которые «знают, как эти бумаги надо писать».

Словно ходатаи при консисториях!

Ко всякому пишущему человеку часто обращаются чадолюбивые папеньки и маменьки с просьбой:

— Напишите ребенку сочинение. Что вам стоит!

Но куда уж тут соваться!

Когда Тургенев за сочинение, написанное для гимназиста, с трудом получил тройку с минусом. А Щедрина за сочинение, написанное для дочери, и вовсе поставили два:

— Не знаете русского языка!

Старик, говорят, даже объясняться поехал.

— Ну, уж этого-то вы, положим, говорить не смее-те. Незнание русского языка! Да сочинение-то пи-сал я!

И это, наверное, никого не смутило:

— Да, но не так написано!

Не штампованные мысли и не штампованные слова.

После таких примеров, если к вам обращаются с просьбой «напишите сочинение», конечно, не беритесь. Найдите какого-нибудь «ходака по этой части» из гимназистов, у которого все мысли и слова уже раз навсегда заштампованы:

— Вот, голубчик, напишите для одного моего маленького приятеля сочинение: «Описание деревни». А я вас за это на Марсово поле отвезу, на велосипеде кататься.

— За велосипед мерси. А насчет сочинения, это мне пустое дело. «Описание деревни» — велика

важности! Сейчас нужно ниву описать, направо роца, река.

— Ну, а если реки в деревне нету?

— Гм... Как же так реки нету? Река непременно должна быть. Это требуется.

Так еще со школьной скамьи штампуются наша мысль, отучают нас мыслить самостоятельно, по-своему, приучают думать по шаблону, думать, «как принято думать».

Наше общество — самое неоригинальное общество в мире.

Перефразируя знаменитую фразу Агамемнона, можно воскликнуть:

— У нас есть люди умные, есть люди глупые, но оригинальных людей у нас нет!

Быть «оригинальным» — даже недостаток. Что вы слышите в обществе, кроме шаблоннейших мыслей, шаблоннейших слов?

Все думают по шаблонам. Один по-ретроградному, другой по-консервативному, третий по-либеральному, четвертый по-радикальному. Но все по шаблону.

По шаблону же ретроградному, консервативному, либеральному, радикальному, теми же самыми стереотипными, штампованными фразами все и говорят и пишут.

Я не говорю, конечно, о наших гениях, об исключительных талантах.

Гений, исключительный талант, это — розы, выросшие среди бурьяна. Бог весть каким ветром занесло их семена именно сюда!

Но обыкновенные, средние писатели. Часто ли вы встретите в нашей текущей литературе оригинальную мысль, даже оригинальное сравнение?

Возьмите самого захудалого француза. И тот стремится что-нибудь новое, свое, не сказанное еще сказать.

А у нас только и думают, как бы написать, сказать «как все», повторить «что-нибудь хорошее», двадцать раз сказанное.

Такая мыслебоязнь!

Только этой шаблонностью, которая разлита кругом и давит как свинец, и объясняется, например, успех у нас декадентства.

Это естественный протест против преснятины в мысли, литературе, искусстве.

Цинга у общества от этой пресной пищи!

И бросаются люди на декадентство, как бросаются цинготные на лук, на чеснок, на лимон. Десны от преснятины чешутся.

Жалуются, что в наше время уж очень увлекаются. Кто национализмом, кто радикализмом, кто другим каким «измом». Что увлекаются — беда бы не велика. Увлечение есть — значит, жизнь есть, не засохла, не завяла. Беда в том, что увлекаются-то уж очень легко, сдаются на все без боя: встретил теорию — и сдался ей на капитуляцию без борьбы. Думал по одному шаблону, а потом задумал по другому.

Да как же и иначе быть может, когда со школьной скамьи самостоятельная мысль забивалась, забивалась, забивалась, думать «по-своему» всячески воспрещалось и рекомендовалось думать не иначе, как по шаблону.

И как это странно! Главным орудием к этому служило преподавание самого живого, казалось бы, предмета! Родного языка!

А между тем нет ничего легче, как сделать из

этого именно «предмета» самый живой, интересный, увлекательный предмет, самое могучее оружие развития.

Любовь и уважение к этому именно «предмету» развиты среди юношества. Можно не заниматься чем угодно, но «русским языком» заниматься считается необходимым и почетным.

Всякий «развитой гимназист» считает необходимым заниматься русским языком.

Что же дают этим юношам, которые, говоря громко, с такой жадностью стремятся к этому источнику знания?

Половину курса они посвящают главнейшим образом на то, чтоб изучить, где надо ставить и где не надо ставить букву, которая совсем не произносится.

Вторая половина курса посвящена изучению «древних памятников» и того периода литературы, который никого уж не интересует.

Все, что есть живого, привлекательного и интересного в «предмете», исключено.

Мертвые сочинения, вместо того чтоб развивать, приучать мыслить, приучат к «недуманию».

И в результате...

Три четверти образованной России не в состоянии мало-мальски литературно писать по-русски. Привычка к шаблону в области мысли. И спросите у кого-нибудь, что такое русский язык.

— Скучный предмет!

А ведь язык народа — это половина «отчизноведения», это «душа народа».

Позвольте этим шаблоном закончить сочинение о преподавании русского языка.

С ^человек, который зашел ко мне.

был средних лет, прилично одетый, с благообразным и добрым лицом. Но когда он вспоминал, на его лице были муки и боль, словно он до сих пор чувствовал то, что происходило когда-то давно. Его дергало.

— Я к вам зашел по курьезному делу! — с натянутой улыбкой и, видимо, чувствуя неловкость, начал он. — Очень... очень курьезно. Был у меня, знаете, сослуживец. Лет шестидесяти. Так тот, как бывало напьется пьян, так начинает плакать, что гимназии не кончил! Вот так и я-с... Я пришел вам пожаловаться, что меня за невзнос платы за «право учения» исключили.

— Вас?!

— Меня-с. 23 года тому назад. Правда, забавно-с? Нашел, когда вспомнить! А только я этого дня никогда не забывал-с. И умирать буду — не забуду. Все дни забуду, а этого дня не забуду. Когда мне объявили, что все мои ходатайства об освобождении от платы оставлены без последствий и за невзнос «правоучения» я подлежу увольнению, я сказал: «Честь имею кланяться», честь-честью поклонился и даже улыбнулся. Потому что стра-

дал очень. Кто страдает, тот и улыбается. На днях я в газетах читал, что какого-то «злодея», — у нас как судом приговорили, хоть бы по ошибке, так и «злодей», уважение-с к юстиции-с! — как какого-то злодея приговорили к 20 годам каторги, и как злодей выслушал приговор цинично, спокойно, «даже улыбаясь». Какой ужас! Да ведь потому, судари вы мои, и улыбается человек, что уж очень он страдает. Стрaдание, — это как дыра в панталонах. Есть у вас в панталонах дырочка, незаметная дырочка, а вам кажется, что что весь мир ее видит. И закрываете вы ее, и закрываете!

Стрaдание у вас страшное на душе, и кажется вам, что весь мир его видит, закрываете вы его улыбкой, чтоб любопытные не смотрели. И делает человек вид: «Мне, мол, это ничего! Как с гуся вода! Видите, видите, я даже улыбаюсь!» Выходил я и говорил себе: «Вот и отлично! Вот и отлично!» И «стены заведения» были мне отвратительны, казались стенами лупанара. Дотронуться до них пальцем, краем пальто противно было. Профессора, «люди науки», за которыми мы бегали, которыми мы вдохновлялись, бодрящее общество товарищей, — все это, как семга в «Ревизоре»: «для тех, которые почище-с». Наука, как продажная тварь, принадлежит только тому, у кого есть деньги. Какое ей дело до ваших «чувств»! По любви она не отдается. Продажная тварь, она принадлежит всякому мерзавцу, который может ей заплатить. Всякому сыну лавочника и самому в душе лавочнику, который является сюда, чтоб лучше вооружиться сю «на жизнь» для волчьих подвигов, — она раскрывает свои объятия: «Пожалуй, голубчик!» Каждому мерзавцу, который от молодых ногтей думает:

«Вот сделаю карьеру, буду у других на спинах ездить», она принадлежит. Каждому пустельге, купчишке, родители которого вылезли «в люди», богатому дворянчику, — которые волочатся за ней из тщеславия, чтоб потом этим похвастаться, она принадлежит. Всем, кроме тех, у кого нет денег. Продажная тварь! И я перебирал в уме всех своих товарищей, и никогда мне не казалось, что мир так переполнен мерзавцами. Девять десятых из моих товарищей я находил в ту минуту мерзавцами. И всем им наука будет принадлежать, а мне вот нет, потому что у меня нет денег, чтобы ей заплатить. Как женщина в лупанаре.

У меня была истерика в душе, и я хохотал:

— Посмотришь на студенчество, какой все честный, «светлый» народ. Откуда же потом берутся негодные адвокаты, карьеристы-прокуроры, выезжающие на чужом мясе, на чужой крови, на чужих страданиях, «не сказывающиеся дома» доктора, отказывающие в помощи умирающему, потому что он не в силах им заплатить? Откуда берутся они все? Это как дети. В шесть лет все дети «удивительно умны». Откуда только потом берется на свет столько дураков!

Несправедлив я был тогда, да ведь и ко мне как были несправедливы!.. Крутом торгуют, копаются над чем-то, говорят, что «работают» и что это «святое дело», пеленки для детей покупают, в газетах пишут, а перед человеком захлопнули двери к знанию, потому что у него нет... денег. Из «храма науки», — «храма науки» ведь — черт их побери! — потому что у него заплатить было нечем, вытолкали. И никому до этого нет никакого дела! Лежит человек на мостовой, и все мимо идет. Эх, всех бы

вас... К счастью, жизнь моя сложилась так, что диплом мне ни разу не потребовался. Разве иногда мерзавец какой-нибудь, — измерзавившийся вконец ведь! — ткнет: «Вы, мол, университета не кончили, а мы — университетские»... Ну, да я так жизнью закалился, что на всякого мерзавца могу с улыбкой смотреть и думать: «Раздавлю я тебя в свое время, гадину. В свое время! Когда обстоятельства нас поставят, что ты будешь подо мною, а я над тобою. Дай только времени и обстоятельствам нас в удобную позицию поставить!..» Да вот еще, как значки эти пошли, и все эти ордена за аккуратный взнос платы за ученье нацеплять стали. Улыбнетесь вы, мелочно это. Но когда рана болит и не заживает, всякое малейшее прикосновение ее берedit, будешь мелочным, когда больно. Нацепит этакий вислоухий дурак на лацкан сюртука квитанцию во взнос причитавшихся с него «за нравоучение» денег и ходит: «Я существо высшего порядка!» И на всех, у кого такой квитанции не нацеплено, смотрит презрительно. Ну, иногда и злость берет. Такая же злость, какая бы взяла, если б человек вам ежеминутно надоедал: «А у меня тогда-то 40 рублей было, а у тебя не было! Что? А у тебя не было, не было, не было!» Глупо, а злишься!

«Эге, — скажете, однако, вы, — чего ж ты тут жалуешься? Диплома, по твоим же словам, тебе в жизни ни разу не пригодилось, значкам и прочим «знакам отличия» ты, как видно, значения не придаешь. Чего ж тебе надобно? Образования? Так для этого и самообразование есть».

Самообразование! Хорошо, что я юрист. А представьте себе, что я был бы медиком. Тут самообразованием не займешься. Ну, да это в сторону. Са-

мообразование! Случалось вам в юности веселой шумной гурьбой взбегать на высокую крутую гору? Ног под собой не чувствуешь, устали нет, крутизны не замечаешь — летишь! Ежели толпой. А если одному-то карабкаться и взбираться? А? Нет живого человеческого слова, в душу льющегося, — одна мертвая белая книга. Был у меня один знакомый немец. Так тот почему-то вздумал, что ему надо аптечным способом питаться и все в порошках и пилюлях принимать. Мяса он не ел, а принимал мясной порошок. Супа не ел, а принимал тройной экстракт бульона в виде желе. Жив был немец, но чахлая была скотина. Так, не человек, а словно слипшийся порошок человека. А книга — это порошок мысли, это — мысль в пилюле. Нужно живое общение с людьми, которые работают над тем же делом, так же страстно стремятся к знанию. Тяжело по вечерам, при желтом свете лампочки, одному по мертвой книге самообразованием заниматься. Словно в чулан тебя заперли: «Усовершенствуйся!» А когда на вас вдруг сомнение найдет: «Да нужно ли все это?» — тогда вы что один-то поделаете? Когда кругом вас толпа жизнерадостной молодежи, вы уж ее душой живете, а не своей. От окружающих верой заражаетесь. Трудно человеку в одиночном заключении жить, а учиться и еще труднее. Тяжко юноше один на один бороться с сомнениями. Сопьешься — или рукой махнешь и свиньей сделаешься. Многие тем и кончают. Но меня злость спасала. «Врете, подлецы, — у которых были деньги на право учения, — не меньше вас знать буду!» И даже больше многих знаю. Да ведь стоило-то чего! Идешь один, в темноте, ощупью дорогу ищешь. Где бы бегом бежать можно

было, как черепаха ползешь. В душе, бывало, от обиды и злости плачешь: «Время трачу, и лучшее время. Труда сколько! И часто на что? На то, что всякому «правоучение, безо всякого труда дается». Какая им-то привилегия! Вы меня, может быть, спросите, сколько же при такой своей лютой злобе, которой живу, которой дышу, злодейств надел? Хотел много, не сделал ни одного. Обстоятельства так складывались, что мне к злодействам никаких поводов не было. Напротив! Обстоятельства так уложились, что я даже не мало путного обществу, быть может, сделал. Но делал я это с презрением, с отвращением — как, знаете, видишь на дороге полураздавленную лягушку, возьмешь ее да осторожно на травку и переложешь. Жалея, доброе дело ей делаешь, но делаешь с омерзением. И никогда я истинного удовольствия, теплоты, родственного чего-нибудь при этом не чувствовал. Общество, создавшее такие условия, при которых «двери знания» закрываются перед тем, кто не может заплатить «за вход»! От него, алчущего и жаждущего, прячут знание. «Знаем, а не скажем, потому что у тебя заплатить нечем». Общество. Все презираю я в нем! И все громкие слова, которые оно произносит, кажутся мне лицемерием, фарисейством: «Общественные интересы!» Ваши интересы — выжать из отдельной личности все, что можно, и если вам удастся при этом ничего не заплатить, вы, алтынники, говорите человеку, которого вы обобрали: «Это с вашей стороны бескорыстное служение!» Вы говорите о бескорыстии, вы — общество, в котором даже истина продается. «Нравственность» как один из устоев общества. Вот слово, которой я ненавижу, и когда его произносят

при мне, я смеюсь в душе: «Ах, подлецы, подлецы!» А вышвыривать юношу из «храма знания» за то, что у него нет денег, это нравственно? Нет у общества большего врага, нет. То есть, — такие же, как я, перед которыми в один прекрасный день хлопнули дверь с циничною фразой: «Денег нет — и ученья нет!» Эта обида, эта величайшая несправедливость никогда не забудутся. Никогда! У нас, извольте заметить, человеку когда больше всего в душу плюют? Когда он молод. Ты пожившему человеку в душу плюй, — у него душа, как подошва, плохо чувствует даже, что мокро. А юная душа покрыта еще пленочкой. Стоит хорошенько харкнуть, пленочка и прорвалась. И раночка. А если даже и зарубцется, то большой рубец будет. Больной! На всю жизнь общество юноше на душу клеймо, разожженным железом клеймо, кладет: «Вот каковы мы, подлецы. Помни это всю жизнь». И будет помнить. И никогда не забудет. Все обиды, все несправедливости забудет, а этой несправедливости, этой обиды никогда не забудет, потому была первая, тягчайшая и незаслуженнейшая, и очень юной и болезненно-чувствительной душе нанесена. Никогда не примирится. И поступая так, общество готовит себе злейших, заклятейших врагов. В его ли это расчетах? Я в другие чувства и побуждения общества не верю — не расчет. В его ли расчетах себе врагов готовить?

Вы спросите меня, быть может, зачем я это все вам рассказать явился. А видите ли. У нас два раза в год с молодежью то делают, что со мной сделали. Два раза в год молодежь то чувствует, что я тогда переживал. И вот теперь то же предстоит. Газеты в таких случаях статьи очень милые

печатают и на жалость бьют: «Пожалейте, мол, молодежь! Они такие огорченные». Нет, скажите им, — они не только огорчаются, они озлобляются. Озлобляются! Вы против себя оружие готовите! Не допускайте до этого! В видах самосохранения не допускайте! Что на самом деле все жалиться да жалиться. Вы их этим и припугните... припугните их... хе-хе... припугните...

С через месяц

«Облетели цветы, догорели огни».

Среди писем, полученных

на мое имя в редакции, есть одно, которому не лежит ни в кармане, ни в портфеле. Оно просится в печать.

М. Г.

Прежде всего позвольте представиться.

Я — герой.

Я тот самый «великий маленький человек», или «маленький великий человек», о котором, когда Вы писали, слезы умиления капали с Вашего пера.

Словом, я народный учитель.

Заплачьте:

— Какое святое слово!

Впрочем, вы, вероятно, думаете с тоскою:

— А! Народный учитель! Вероятно, опять жалоба!

Нет, милостивый государь, мне жаловаться не на что. Своим положением я могу только хвастаться.

Я старый учитель. Служу делу более 20-ти лет. У меня — семь человек детей. Старшая дочь второй год учительствует. Вторая через несколько месяцев кончает семинарию и тоже начнет учительствовать.

Мне остается поднять на ноги и вывести в люди остальных пятерых.

Чтоб сделать это на учительское жалованье, я не пью. Со дня рождения третьего ребенка бросил курить. Сам обшиваю всю семью. Выучился шить. Выучился тачать сапоги. И сам шью обувь на все семейство.

Я из крестьян. Поступив на службу в одно из сел этой губернии, я приписался к местному обществу. Но новые односельчане воспользовались этим, чтобы не выдавать мне квартирных.

— Раз здешний мужик, какие ему квартирные?

Я перевелся в другое село, и вот живу. Получаю 250 рублей в год жалованья, 50 квартирных, за 4 пятилетия по 50 рублей за каждое в год добавочных. Итого — 500 рублей.

Для чиновника, записывающего входящие и исходящие, для репортера, пишущего о раздавленных собаках, для актера, докладывающего «карета в барыне и гневаться изволит», было бы «ужас, как мало». Для народного учителя — за глаза довольно, и тысячи моих коллег, прочитав эти строки, сказали бы:

— Вот счастливец!

Итак, жаловаться мне не на что. Я берусь за перо просто для того, чтоб описать вам, как я вернулся с учительского съезда.

Первым долгом я заехал в нашем уездном городе к инспектору, до которого у меня было дело.

Артемий Филиппович всегда встречал меня с недовольным лицом:

— Чего, мол, еще притащился! Чего еще надо?

На этот раз он, как увидел меня, так весь и просиял. Улыбка во все лицо, руки потирает:

— Ну, что? Побаловались? А? Отвели душу? А?
Молчу.

— Так как же? Нас, инспекторов, побоку надо?
А? Упразднить?! А?

Молчу.

— Делу мешаем? А? Тормозим? А?

Все молчу.

— Бюрократическое отношение вносим? А?
Самовластвуем? А?

Все молчу, все молчу.

— Поругали нас на парламенте-то на своем?

Смотрю — у него на столе «Московские Ведомости». Поиздевавшись еще таким образом, отпустил.

Приезжаю вечером к себе в село, наутро староста приходит:

— А мир с тебя, Василий Кузьмич, решил с весны за двух коров, за выпас, 10 рублей положить!

— За что, про что?

— А так, мужички говорят: «Жалованье получает, водки он не пьет! С его можно». Основание!

— Куды ему? — говорят. — Он, ишь, и сапоги сам шьет!

И дернул меня черт горб гнуть, над сапогами сидеть! Вот тебе и экономия!

Я должен в свободное время, согнувшись, за сапогами сидеть, чтоб им мои 10 рублей на пропой пошли!

— Вы, — староста говорит, — в Москву ездили у начальства жалованья выпрашивать, чтоб больше было. Нам же тяжелее.

Слухом земля полнится. И откуда только у них слухи берутся! В полдень зашел батюшка.

Расспрашивал о «светских удовольствиях». Но

видно было, что другой вопрос у него на уме. Наконец, только спросил:

— И о церковнослужителях тоже отзывались с порицанием? — Начитаны, — говорит, — мы в газетах. Начитаны. Хотя и вскользь, но есть. Не похвально! Срамить-с на всю Русь? Я так думаю, что от высшего начальства... вас за это по головке не очень погладят!

— Ну, — говорю, — батюшка, я, во-первых, лично за себя никому отчета давать не обязан: что я говорил, чего я не говорил, с чем соглашался, с чем не соглашался.

— Нет, нет! Я не говорю.

— А во-вторых, относительно съезда и начальства, наш председатель князь Долгоруков прямо заявил, что никому за высказанные мнения ничего не может быть!

— Ну, коли так, значит, так. Ему, конечно, лучше знать! А только мы, на местах, все-таки знать будем, с кем дело имеем. Да-с!

И ушел, едва попрощавшись, рассерженный.

Перед вечером заходил писарь.

Он у нас человек образованный. Свободное время — за книжкой.

Интересовался:

— А не видали ли вы в столице, Василь Кузьмич, сочинителя Максима Горького?

— Нет, не видал.

— Жаль, очень жаль. Интересно было бы знать, действительно ли так волосат, как пишут? И правда ли, будто ему рупь за каждую строку платят? Строку написал — рупь. Еще строку — еще рупь.

— Не знаю.

Перешли на съезд.

— Разъясните, говорит, мне. В толк взять не могу. Что такое, например, ваш съезд?

— Вот, — говорю, — собрались с разрешения высшего начальства, выясняли наши нужды, высказывали пожелания.

— Тэк-с! А начальство?

— А вот эти пожелания к нему и пойдут!

— Тэк-с! И оно как вы порешили, так тому и быть?

— Ну, это нет, — говорю. — Вы, Алексей Степаныч, человек развитой. Вы поймете. Наш съезд имел больше не практическое, а моральное, нравственное, общественное значение.

— Тэк-с! Ну, а пожелание-то? Пожелание?

— Пожелания выслушаны. Но, от вас не утаю, говорят, что вряд ли будут исполнены. Примеры бывали.

— Тэк-с!

И смеется.

— Это, — говорит, — вроде как я господина Гоголя сочинения читал. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Там тоже Иван Иванович, как нищую встретит, непременно расспросит. «А тебе очень, небоже, кушать хочется?» — «Очень, паньчу!» — «Ты, может, хлебца бы теперь скушала?» — «Да уж там чего милость будет. И хлебца бы скушала». — «Да тебе, может, и мясца бы хотелось?» — «Да оно и мясца бы, если милость ваша такая, — хорошо бы!» — «Скажи пожалуйста! Ну, что ж ты стоишь? Проходи, проходи! Ведь я тебя не бью!» Так и вас расспросили. Пожелание вы учебному начальству вы-

сказали. «Проходите, проходите! Ведь вас не бьют!» Хе-хе!

Тут уж я на него рассердился.

Он у нас по селу Мефистофель. На беду, книг начитался и иногда очень ядовито цитаты приводит.

И вот я, «герой», о котором вы писали со слезами умиления, сижу снова в своей хибарке над сапогами. В окно глядит темная ночь, в трубе воет ветер, и у меня ноет, ноет в душе.

— За что они у меня отнимают последние 10 рублей? За то, что я тружусь и не пью?

Мне вспоминается встреча с нашим уездным предводителем на станции.

Наш уездный предводитель — отрадное явление.

Я вообще заметил, что за последнее время все уездные предводители в «отрадные» пошли.

Мы ехали со съезда в одном поезде.

Он — в первом, я — в третьем. Только всего и разницы.

Он ел на станции котлетку с горошком, я пришел кипяточку набрать.

Остановка двадцать минут. Увидал меня:

— А, Василий Кузьмич! Подсаживайтесь!

Отрадные предводители перед съездом всех своих учителей по имени-отчеству узнали, кого как зовут. По крайней мере, тех, кто на съезд поехал.

— А, — говорит, — Василий Кузьмич! Подсаживайтесь. Поболтаем, Василий Кузьмич! Красненького не угодно ли, Василий Кузьмич? Недурное.

Разговорились, конечно, про съезд.

— Что, Василий Кузьмич...

Он так и повторял ежесекундно: «Василий Кузьмич», словно боясь, чтоб не забыть.

— Что, Василий Кузьмич? Бодрость духа со съезда несете? Новые силы на великую работу, Василий Кузьмич?

— Силы, — говорю, — что же! Силы те же самые. А вот скажите, ваше сиятельство, каких вы результатов от нашего съезда ожидаете?!

— Практических, — говорит, — быть может, и никаких! Но съезды имеют огромное общественное значение! Огромное общественное значение, Василий Ильич! Это смотры-с интеллигентных сил страны, Василий Ильич! Смотры-с передовых элементов, Василий Ильич!

Таки забыл!

«Смотры»...

И невольно шевельнулась мысль при этом слове. «Смотры».

Смотры — праздник для генералов, у которых «дивизии в порядке». Смотры — праздник для разряженных адъютантов, для блестящих офицеров, которым смотр — случай попарадировать на кровном, англазированном коне. А спросите у простого рядового, что такое смотр? Он скажет вам, что уж легче поход, чем смотры.

— Дефиле! — как фыркнул наш Мефистофель-писарь, когда я упомянул ему про смотры.

И вот я сижу над сапогами в своей хибарке. Ночь глядит в окно, в трубе воет ветер, и у меня воет, воет на душе.

— За что у меня отнимают последние 10 рублей?

У героя-то! Совсем не геройские мысли?

Уж поздно. Пора бы лечь спать. Но сон бежит,

и «недостойные меня мысли» идут в голову вашего «героя».

И наш «маленький великий человек» зачем-то садится за стол и принимается на бумаге беседовать, — не с вами, — с собой.

— Дефиле! — как говорит наш волостной писарь.

Я снова беседовал с ним о съезде.

— Вижу, — говорит, — события. А значения их не понимаю. Разъясните, пожалуйста. Ну, начальство на ваши «пожелания» либо взглянет, либо нет.

— Вернее, нет. Но, кроме учебного начальства, есть еще земства, которые всегда чутки...

— Да что ж земства-то без вашего съезда, что ли, не знали, каково таково есть ваше положение? Это и в Москву ездить не стоит, чтоб узнать, что человеку голодным жить невозможно. Это и на месте видать! Вон я в другой губернии служил, так там учителям и вовсе 20 рублей платят. Председатель управы, отрадная такая личность, — с каким-то еще отрадным барином проезжали. Остановились, — я разговор слышал, с большим чувством председатель говорил: «Светлая личность у нас учитель, отрадное явление, идейный человек! А на 20 рублей с семьей существует!! Какую нужду терпит! В куске хлеба себе отказывает! А учительствует! Убежденный человек!!» Чуть слезы не капали от умиления. А по-моему стыдно! «Отрадное явление» — и голодает. У нас все так: как «отрадное явление», так голодает, как «печальное исключенье», так живет припеваючи и на всем на готовом. Человеку за экий труд 20 рублей в месяц давать. На всю семью! Стыдно! Да делать-то что, ежели у зем-

ства денег нет? Потому и платят мало, что денег нет, и никакие ваши съезды...

— А значение съезда для нас самих? А общенье? Общества взаимопомощи теперь будут как развиваться...

Только плечами пожимает.

— Да ведь ежели каждому есть нечего, много ли вы друг другу поможете? «Пойдем! — сказал безногий безногому. — Вместе-то идти веселей!»

— Я же вам говорил, что практических результатов съезд не даст никаких. Но моральные! Общество, по крайней мере, узнает, в каком положении находится народный учитель!

— Тэк-с! Дефиле, стало быть.

— Ну, дефиле!

— Это, как я в газете читал, в Лондоне. Которые без работы — за ручки взялись, ребят перед собой, да так во всех своих лохмотьях по всем улицам и пошли. «Смотрите, дескать, люди добрые, какое наше положение!» На заседаниях, вы сами говорите, вам много разговаривать не приходилось. А в дефиле без слов все видать. На манер маскарадной процессии, как я в газете читал, — очень занятно. Вот вы, например, Василий Кузьмич, впереди семь человек детей, за ними ваша супруга с корытами, и белья при ней куча. А затем вы сами с дратвой, с шилом, с сапогом. Надпись: «А жалованье — 600, да и то за 20-летнюю службу!» А в руках у вас хрестоматия Галахова. Наглядно. Каждый дурак понял бы!

Чуть не выгнал его вон. Но негодяй говорит убедительно.

— И откуда вы, Василь Кузьмич, взяли, будто общество вами интересуется? Ежели б в действи-

тельности интересовались, никаких бы ваших «дефиле» не потребовалось. Давным-давно бы про ваше положение все разузнало.

— Пословица есть: «дитя не плачет, мать не радуется».

— Так то про дур матерей говорится. Обществу. Я по делам частенько у нашего помещика бываю. Он все проекты сочиняет, а я переписываю, потому что почерк имею круглый. А он сочинять мастер, но чтоб понять было можно, — бог не дал. Так зайдешь иной раз, ждуть велют, общество у них. Разговоры. Дым коромыслом. «Сколько, например, министерство во французской республике продержится?» Господа наедут, крик, — того гляди, сцепятся. И выкладывают, и выкладывают! Про любого французской республики депутата спроси, такого про него выложат, чего, может, он и сам-то про себя не знает! А им известно! Как же так, Василь Кузьмич? Про любого французского депутата всю подноготную знают, а чтоб узнать, как свой учитель живет, им еще дефиле нужно. Никакого интереса тут я не вижу. Действительно, интересуется ли нами общество? Не у нас только, но всюду, но везде. Интересуется ли теперешнее буржуазное общество народными учителями?

Немцы говорят:

— При Садовой победил школьный учитель.

А несколько лет тому назад по какому-то поводу выяснилось, что немецкие школьные учителя живут в голоде, в холоде. Их держат в черном теле, платят гроши. Это не жизнь, это — медленное умиранье.

Немецкие журналы печатали, а наши перепечатывали картинки: лачуги, в которых живут в

Германии деревенские народные учителя, лохмотья, в которых они ходят. На портреты жутко смотреть было: словно из голодающих местностей.

Еще почище вашего!

Вот вам и герои-победители!

Общество живет относительно нас романтическими представлениями.

Мы, народные учителя, что-то вроде пожарных.

— Их уж дело такое, чтобы собой жертвовать!

«Народный учитель».

— Ах! Святое дело! Ах! Святое слово! Ах, эти люди всем, всем жертвуют! Их и удовольствие такое, чтобы всем жертвовать.

Так и думают.

Раз я народный учитель, я только и смотрю кругом:

— Куда бы мне собой пожертвовать!

Встаю утром, — сахару к чаю нет.

— Ах, какой счастливый случай! Сахару нет!!

Ах, как приятно хоть маленькую жертву принести!
Буду пить без сахару!

На обед у меня — жертва. На ужин — жертва.

На ногах, вместо сапог, жертва.

И мне других не нужно! Я и в жертвах похожу!

— Ах, сапог лопнул! Какое счастье! Еще одна жертва на ниву народную!

Вы наедете, быть может, что в моих словах много желчи?

Что же мне делать? Вся Русь залита желчью. Послушайте, — все слова пропитаны желчью. Посмотрите, — все лица полны желчи. Желчь разлилась в отечестве моем. Что же я за исключение?

— Общество, — говорят, — преисполнилось сочувствия к народным учителям!

Отлично.

У общества был и способ реально, наглядно выражать свое сочувствие.

Существует «общество попечения о детях народных учителей и учительниц». О нем много говорилось на съезде.

Что ж? Хлынул туда поток пожертвований от общества, охваченного симпатиями?

Поймите, что я не милостыни прошу!

Я просто хочу отделить чувство от сентиментальности. Здоровое, настоящее чувство от кислой, противной сентиментальности.

Маргарин от масла. Чувство сказала бы:

— Их дети обречены на нищету. Я могу помочь... Помогу.

Сентиментальность проливает слезы:

— Ах, они не только себя, они и своих детей приносят в жертву! Ах, как это велико!

И ни с места...

Потому что чувство диктует:

— Иди и помоги!

Сентиментальность вызывает эффектные и трогательные представления. И с нее довольно.

И эта общественная сентиментальность, разлитая в воздухе, заставляет слезы умиления капать с ваших перьев, гг. публицисты.

Когда сыро в воздухе, каплет с желобов.

Эта сентиментальность, разлитая в воздухе, источает у вас, гг. представители общественного мнения и всеобщей глупости, «прочувствованные строки».

«Учителя разъедутся со съезда, унеся в своей душе воспоминание о светлых и радостных минутах. И сколько раз там, в тиши снежных сугробов,

под унылое завывание вьюги вспомнятся им эти незабвенные светлые дни, и засветят им, как звездочки, как маяк среди непроглядного тумана, и согреют им сердце».

Это очень тронуло бы меня своей искренней глупостью, господа, ели бы я на один день не задержался в Москве и не прочитал описания какой-то елки, устроенной дамами-патронессами для детей Хитровки:

«Дети вернутся в свои трущобы, унеся в душе воспоминания о светлой и радостной елке. И сколько раз там, во мраке и грязи ночлежки, под пьяную ругань ночлежников, среди общего ожесточения кругом, вспомнится им эта елка, устроенная добрыми людьми, и засветит им своими огнями, как звездочка, как маяк среди непроглядного тумана, и согреет им сердце».

Вы думали, что я уехал, господа, и что можно тем же печатным пряником, который я обмусолил уже, угощать других?

А я покупал дратву для сапог, в Москве она, ду-малось мне, и дешевле, я обегал весь город, стараясь где-нибудь выторговать пяточок, и опоздал на поезд.

И так узнал о вашем сентиментальном мошенничестве.

У вас это, очевидно, готовый набор, господа!

Вы суете всем в рот один и тот же обсосанный леденец для утешения.

Как у нас в деревнях «шпитомцам» суют всем одну и ту же соску:

— Чтоб не плакал!

Уберите же ваши обслюнявленные пряники, милостивые государи, сосите сами ваши обмус-

ленные леденцы, бросьте совать всем в рот ваши грязные «утешительные» соски.

Здесь, «у себя в хибарке», как любите выражаться вы, под нитье вьюги, воющей в трубе, сгорбившись над сапогами, которые я, народный учитель, точаю вместо необходимого мне отдыха, — я, не скажу, чтобы спокойно, — но подвожу теперь, через месяц, итоги съезду.

Да, результат есть.

Результат большой моральной важности.

Съезд показал, что нам, народным учителям, не на кого сейчас надеяться.

Что ни от кого ничего, кроме «слов, слов, слов», нам ждать нельзя.

Что мы одни, совсем одни.

— Горькое сознание? — умиленно скажете вы.

Но правда!

А «правды нет и выше». Правду знать необходимо.

Я прошу вас извинить меня, что письмо вышло несколько длинно, быть может, резко, быть может, грубо.

Но вы ведь не мой инспектор. Ведь для вас, как для меня, говоря словами Пушкина:

«Правды нет и выше!»

Не правда ли?

Всего вам лучшего.

*Ваш слуга, народный учитель
(следует подпись).*

У меня есть сын Единственный

Ему 21 год. Он студент и живет в комнате, которую, по старой привычке, зовут «детской».

Жена так и говорит горничной:

— Маша, пойдите в детскую и позовите Ивана Петровича пить чай.

«Иван Петрович» и «детская»! Люблю ли я сына? Больше всего на свете.

Для него я работаю. Состояние, которое я нажил трудом, отказывая себе во многом, — для него.

— Все ему достанется! — говорим мы друг другу с женой.

И эта мысль наполняет меня теплым и счастливым чувством.

Если б с ним случилось несчастье, — это бы меня убило.

И вот, когда я начал думать о своих отношениях к сыну, — оказалась преудивительная вещь.

Оказывается, что с этим существом, самым близким, самым дорогим мне в жизни, я говорю меньше, чем с людьми, которые мне совершенно безразличны, совсем неинтересны, даже противны!

С любым из моих сослуживцев я говорю в течение дня гораздо больше! С каким-нибудь Сидором

Сидорычем, идиотом из идиотов, я разговариваю куда больше, чем с моим сыном!

И Сидора Сидорыча я знаю гораздо больше, чем моего собственного сына!

Когда мы встречаемся с сыном, у нас обыкновенно рты бывают чем-нибудь набиты.

Мы жуем или пьем.

Полтора часа обед. Полчаса вечернего чаю.

А когда все прожужем, сын подходит ко мне и матери.

— Mersi, papa. Mersi, maman.

И уходит в «детскую» сфинксом для меня. В моем доме живет сфинкс! И этот сфинкс — мой собственный сын. Жена очень любит сына. Любит до безумия. Но эта любовь всегда возбуждала во мне улыбку. Она любит, как скульптор свое создание. Когда он едет куда-нибудь с нею, она оглядывает его с нежностью и гордостью:

— Вот какво у меня произведение!

Когда он долго не возвращается, когда уходит с товарищами, она ужасно беспокоится.

Так скульптор боится, — не разбили бы его творение!

Это совершенно «скульптурная любовь».

Она считает сына, конечно, первым красавцем в мире. И очень гордится.

— У него мой нос, мои глаза, мои брови, мои губы.

Хотя, собственно-то говоря, сын похож на меня. Когда он был маленьким, у нас из-за этого происходили горячие споры!

— Ну, где ж это твой нос? — возмущалась она.

— Подожди, дай подрасти!

— Вылитый мой портрет!

— Вылитый я!

Это был спор двух скульпторов. Кто создавал это произведение? Спорили из-за подписи под нашей статуей.

Я хочу, чтоб сын мой относился ко мне с доверием и уважением как к человеку просвещенному и передовому.

И выписываю «Вестник Европы» и «Русское Богатство».

Однажды «Иван Петрович» — все в доме так зовут сына — обратился ко мне:

— Папа, я тебя хотел спросить, зачем ты выписываешь эти журналы? Они лежат неразрезанными!

Я смутился, сконфузился, даже покраснел.

— Ты отлично знаешь, что отец занят делами. Мне некогда читать. А вот поеду за границу — захвачу их с собой, на досуге прочитаю.

Он засмеялся.

— Папахен! Милый! Неужели ты повезешь с собою целую библиотеку старых журналов?

Я вышел из себя. Я рассердился. Я наговорил ему массу резкостей.

Прежде дети были в повиновении у родителей. Это, может быть, глупо. Может быть, деспотично.

Теперь родители должны находиться в полном повиновении у своих детей? Это еще глупее!

Скоро родители должны будут спрашиваться:

— Скажи, милый сыночек, можно мне сделать то-то? Ты не рассердишься?

— Можно мне, сыночек, пойти туда-то? Ты меня отпускаешь? Можно мне прочитать такую-то книжку? Ты позволяешь?

А дети будут запрещать, разрешать и распекать:

— Этого тебе читать не следует. Это глупо, а этого ты все равно не поймешь. Ты не пойдешь

больше в клуб, — ты не умеешь себя вести! Ты пойдешь в театр, — эту пьесу тебе можно посмотреть! Пожалуйста, молчи, когда молодежь разговаривает! Сколько раз тебе говорили? Когда молодежь говорит, старшие должны молчать и слушать!

Это деспотизм! Это черт знает что! Деспотизм молодежи! Сын слушал меня с удивленным лицом.

— Папа, милый! Что с тобой? Да разве я тебя хотел обидеть. Я только насчет журналов, которых ты не читаешь, а зачем-то выписываешь...

Он поцеловал меня и сказал:

— Если это делается для меня, то зачем? Я тебя и так люблю!

Я готов был заплакать. Странно. Я чувствовал себя перед сыном маленьким мальчиком, которого старший поймал в хитрости и простил.

Я готов был заплакать от слабости.

Я почувствовал, что в моих отношениях к нему, — ну, вот хотя бы в этих журналах, которые выписываются «чтоб он видел», есть что-то заискивающее перед ним.

Странные нынче отношения между отцами и детьми!

Я работаю для него, но я еще должен в этом извиняться. Выписывать какие-то журналы.

— Ты не думай, что я совсем уж погряз в делах! Нет, брат, я по части духовной жизни...

Я всегда должен словно за что-то просить прощение. Когда я говорю в его присутствии, я стараюсь подчеркнуть, что думаю, как передовой человек.

— Ты не думай, мол, что я совсем уж свинья.

И я прошу, прошу, прошу за что-то прощения у

моего сына. Непрестанно! Оправдываюсь, извиняюсь, оправдываюсь в чем-то!

За что? В чем?

У нас бывают гости, и раз здесь стоит молодой человек, — по теперешней дурацкой манере, разговор сейчас же сходит.

— Что такое теперешние молодые люди?

Все сокрушенно вздыхают.

— Ах, теперешние молодые люди!

Думают, что это очень поучительно для молодых людей. Я внимательно слежу за сыном.

Как-то кто-то завел обычную волынку о распадение семьи.

— Нет теперь больше семьи. Какая теперь семья?

Я заметил, какой взгляд, полный величайшего презрения, кинул на него мой сын. Этот взгляд говорил:

— Мерзавец! Какую дрянь ты бормочешь грязной, мокрой красной тряпкой, которая болтается у тебя во рту!

И когда мой сын, уходя спать, подошел по обыкновению поцеловать меня в щеку, я крепко сжал его руку. Он ответил мне крепким, мужественным пожатием руки.

Мы не сказали ни слова.

Мы только смотрели друг другу в глаза.

И этим крепким, дружеским рукопожатием мы скрепляли как будто твердую крепость нашей семьи.

Мои глаза наполнились слезами.

— Мой милый мальчик!

Он улыбнулся мне и нагнул свою милую русую голову к моей руке.

— Твой мальчик...

Я отдернул руку и крепко обнял его.

А все-таки это беспокойство! Это беспокойство!

В другой раз один тоже дурак поднял вопрос:

— Что теперь за молодежь! Вот мы, когда были!

Я поймал взгляд сына.

Он глядел на нас, хваставшихся, «какой молодежью мы были», даже без иронии. В его взгляде был просто вопрос:

— Что же из вас вышло, мои друзья?

И мне вдруг стало стыдно, совестно перед сыном, что из меня, мечтателя, вышел самый обыкновенный буржуй.

И самая любовь моя к сыну, к «моему творению», показалась мне любовью не особенно высокой пробы. Экая, подумаешь, добродетель!

В моем доме есть судья. Который судит меня, судит непрестанно.

И я должен перед ним извиняться, оправдываться, вилять.

И этот судья — «мое творение».

И подсудимый — я.

Я, отдавший ему всю жизнь. Я — подсудимый! Что такое мой сын?

Как-то года два назад, когда в его присутствии зашел разговор о материях важных, и мы при молодом человеке, желая показать себя, разлиберальничались, он сказал, взволнованный, с горящими глазами. Он — пылкий мальчик.

— Всеобщий переворот. Ничего нет легче. Пусть всякий начнет переворот с себя. Пусть всякий переделает себя. И тогда завтра же на свете воцарятся добро и справедливость!

Кто-то засмеялся:

— Ну, знаете, каждый начнет себя переделывать по-своему, — такого наделают... Такими экземплярами наполнится мир!

Ваня бледнел все сильнее и сильнее.

— Зачем? Путь указан.

— Всем? Один?

— Да.

— Кем?

— Христом. Любите ближнего. Не имейте ничего своего. Не прибегайте к насилию.

Он толстолиц.

С год тому назад один из моих друзей, старый либерал-народник, пустился говорить об этом непочатом угле — русском деревенском люде.

— Вот новина! Вот чернозем еще не вспаханный! Какие клады таятся в нем! И когда эти сокровища, которые таятся в его дремлющем сознании, откроются...

Я с ужасом заметил презрительную улыбку, которая скользнула по губам моего сына.

— Добрые земледельцы. Мелкие собственники в душе. Трусливые зайцы! Боящиеся сделать шаг вперед, — как бы не потерять их грошовую «собственность»!

Мой сын — марксист.

Какая же из этих волн захватит его и унесет?

Господи, не дай погибнуть моему мальчику! Как бы мне хотелось проникнуть в его душу, во все его мысли.

Как я завидую, мучительно завидую каждому из его товарищей. С ними он говорит как с равными.

Они знают все. Его мысли, его сомнения, его малейшие намерения.

И ничего этого не знаю я. Я, его отец!

Жена, — та спокойна.

— Что ты? Оставь его. Мальчик как мальчик.

Но мне страшно. Мне страшно. Мне до ужаса страшно.

Как-то я пошел в «детскую» именно тогда, когда у него сидели товарищи.

Было накурено, шумно и весело.

Я наотмашь пожал им всем руки и уселся с самым товарищеским видом.

— Ну-с, о чем, господа, идет спор? Дайте вспомнить старину!

Разговор не клеился. Я был лишним среди них. Не стеснял, не мешал. Просто был лишний. Как старик или маленький ребенок бывает лишним в кругу молодежи.

Они переглядывались.

И в их взглядах я читал:

— Скоро ли этот папахен уйдет?

Вот слово, которое я ненавижу. «Папахен».

Сын стал меня так звать с тех пор, как перешел в университет.

В этом слове есть что-то ласково-ироническо-нежно-уничтожающее.

Словно я стал маленьким в его глазах.

Маленьким выдумывают ласкательные и забавные клички!

И у меня никогда не хватало духа протестовать и потребовать, чтобы он меня так не звал.

Я боялся показаться мелочным, глупо обидчивым и вздорно требовательным.

Как же меня звать? «Родитель»?

Итак, тогда «папахен», посидев минут десять, ушел. И когда за мной закрылась дверь, я с горем услышал, как шум, смех, спор снова поднялся

там, у них... Ведь не подслушивать же мне было у двери. На днях я, наконец, не выдержал и сказал моему сыну:

— Ваня, нам надо с тобой объясниться.

Он рассмеялся.

— Что ты, папахен? Как в пьесе! «Объясниться». Это в современных пьесах очень принято это выражение! Жена подходит к мужу, муж к жене, отец к сыну: «Нам необходимо объясниться!» «Объясниться насчет наших настроений». И так, насчет каких же «настроений» угодно тебе, папахен, «объясниться». Объясняйся! Настроенный сын твой тебя слушает!

Я заметил:

— Не смейся. Я говорю серьезно. Речь идет о твоём духовном «я». О твоих мыслях, верованиях. Я — твой отец и хотел бы...

Он стал вдруг совершенно серьезен.

— Ах, это вот о чем. Отец, я сам хотел поговорить с тобой об этом. Неужели ты думаешь, я не замечаю, как ты беспокоишься, волнуешься, тревожишься.

— Ну, и что же?

Сын обнял меня.

— Отец. Ты уверен, что я тебя люблю? Уверен? Ну, и все. И будет с тебя.

— Но я хотел бы...

— Ты хотел бы, чтобы твой сын был точной твоей копией? Желание всех родителей! Чтобы я и сейчас, двадцатилетний юноша, думал, чувствовал, видел, как ты, мой пятидесятилетний старичок? Да? Чтоб был твоим точным образом и подобием. Но подумай, папахен, что было бы с миром, если бы дети представляли собой точное, второе

издание их отцов. Ведь мир не двинулся бы никуда ни на шаг. Если б Каин и Авель были во всем точными копиями Адама и Евы, — мы и по сию пору ходили бы в одежде из листьев!

— Ваня, мне не до шуток.

— И я не шучу, отец. Первый и величайший из творцов — сам творец. Он создал человека по образу и подобию своему, но дал ему свободную волю. «Дальше будь тем, чем хочешь». Ты добрый и честный человек. Довольствуйся тем, что я буду тоже добрым и честным человеком на всяком пути, который себе выберу. Изберу сам, свободно!

— Ага! И я, по-твоему, не имею права участвовать...

— В выборе пути для меня? В выборе образа мыслей? В выборе симпатий? В выработке взглядов? Но какой же совет ты можешь мне дать? Я его знаю заранее. «Будь таким, как я». Все родители скажут одно и то же. Знаешь, папа, мне кажется, что матери любят своих детей более осмысленно, чем отцы. Мама, например. Она очень любит меня и довольна тем, что я на нее похож. Что у меня ее нос, ее глаза, ее брови. Но ведь она не требует, чтоб я во всем уже был совсем как она. Чтоб я носил юбки, длинные волосы...

— Ты смеешь смеяться надо мной? Мальчишка! Дрянь!

Я был взбешен. Мне хотелось сказать ему что-нибудь обидное, злое, заставить его страдать.

— Слушай, ты, мальчишка!

Его лицо было полно досады. Он пожал плечами.

— Добавьте еще: «неблагодарный»!

— Да, да! Неблагодарный! Я в свое время был таким же, как и ты! И так же отвечал своему отцу.

Но мой отец был крепостник. Это было другое время. Я знаю, чем теперь увлекаетесь вы, — мы естественными науками. И там искали законное общежитие. Когда отец заметил мне, что я не таков, каким он хотел бы меня видеть, — я ответил ему «умной» тирадой. «Человек самое нелепое из существ, потому что он единственное, которое желает во что бы то ни стало уклониться куда-то в сторону от законов природы. Посмотрите, во всем животном мире родители пекутся о детях до тех пор, пока дети не окрепли физически. А дальше, дети, ползи куда хочешь!» Мой отец заплакал: «Что же, ты хочешь, чтоб мы жили, как животные?» Для меня это были смешные слезы. «Слезы ретрограда». И вот теперь это мне наказание за тогдашнее! В сыне я наказан за отца.

Он снова пожал плечами.

— Ты сам говоришь. Из поколения в поколение повторяется одно и то же.

— Да, да! Одно и то же! Неблагодарность, это — единственное, на что мы можем, должны рассчитывать от детей. Растить их, холить, лелеять, работать на них, не спать из-за них ночей от тревоги, — и в один прекрасный день получить за все, за все отплату, в награду — неблагодарность!

— Если это всегда, со всеми отцами, — значит, это закон жизни! Его же не перейдешь.

— Слушай же ты! Выросший щенок! Вот тебе мое проклятие!

Я не помнил себя, что говорил.

— Вот мое проклятие! Придет день, придет час, — и как я теперь к тебе, как мой покойный отец ко мне, так и ты обратишься к твоему сыну. С теми же словами. И твой сын отплатит тебе за ме-

ня. Он скажет тебе: «Не твоё дело!» И это будет местию за меня.

Сын улыбнулся смело и вызывающе:

— Ну, и пусть! Пусть скажет: «Не твоё дело!»

И ответу ему: «Да, ты прав. Это действительно не моё дело!»

Слезы душили меня.

— Нет, врешь, врешь, мальчишка! Тогда, старый, со слезами в горле, ты не ответишь этого... ты не ответишь... не ответишь... Ты тоже заплачешь... как я...

Сын кинулся передо мной на колени.

— Папа... Папа...

Я отвернулся и ушел.

Мне надо было проходить через комнату моей старухи.

— Что вышло? — обеспокоилась она.

— Пойди к твоему сыну! — крикнул я ей. Она пожала плечами.

— Не говори глупостей!

Но неужели сын прав?

И то, что мы называем «неблагодарностью детей», есть только непреложный закон жизни?

Интеллигенция

...Предлагаю тост за русскую интеллигенцию!

Речь П.Д. Боборыкина

Сын сапожника,

кончивший университет, — вот что такое русская интеллигенция.

У сапожника Якова было три сына. Двое пошли по своей части и вышли в сапожники, а третий, Ванька, задался ученьем.

Бегал в городское училище, а потом его как-то определили в гимназию. И отцу сказали:

— Ты, Яков, уж не противься. Мальчонку-то жаль: уж больно умный.

— Пущай балуется! — согласился Яков. И пошел Ванька учиться.

То отец кое-как горбом сколотит, за право ученья заплатит, то добрые люди внесут, то сам грошовыми уроками соберет.

Обшарпанный, обтрепанный, бегая в затасканном сюртучишке, с рукавами по локоть, зимой в холодном пальтишке, занимая у товарищей книги, кое-как кончил Иван гимназию и уехал в столицу в университет.

Жил голодно, существовал проблематично: то за круглые пятерки стипендию дадут, то концерт

устроят и внесут. Два раза в год ждал, что за немилосердие выгонят. Не каждый день ел. Писал сочинения на золотую медаль, — и золотые медали продавал. Учил оболтусов по 6 руб. в месяц. Расставлял по ночам литераторам букву «ять». Летом ездил то на кондичии, то на холеру.

И так кое-как кончил университет.

— Ну, теперь пора и родителей проведать! Как мои старики?

Отец — человек простой, чтоб больше простого человека порадовать, диплом ему показал:

— Смотри как, батька!

— Фитанец получил! — одобрил отец.

— Фитанец получил! — рассмеялся Иван Яковлевич.

— Молодчага!

Ну, теперь надо думать, как жить.

— Вот что, батюшка! Того, что вы для меня делали, я никогда не забуду. Никогда не забуду, как вы горбом сколачивали, чтоб за меня в гимназию заплатить. Теперь пора и мне на вас поработать. Вы человек старый, вам и отдохнуть время. Переедем ко мне и заживем вместе, — на покое вы будете! Да и братьям надо что-нибудь получше устроить.

Яков нахмурился и сказал:

— Это не подходит! Мы сапожники природные, и нам своего дела рушить не приходится. И дед твой был сапожник, и я сапожник, и братья твои сапожники. Так и идет. Спокон века мастерская стоит. Нам дела своего кидать не резон.

Подумал Иван Яковлевич, видит:

— Прав отец. Жизнь сложилась, — ломать ее трудно.

А под сердцем что-то сосет:

— Господи, боже мой! Неужели я буду заниматься «чистым делом», а они так вот всю жизнь свою в вонючей мастерской, сторбившись за драгвой, сидеть должны?

Лежит так Иван Яковлевич и думает, а через перегородку слышно, как в мастерскую заказчик зашел. Голос такой веселый, барственный.

— Здравствуйте, ребята! А! Яков? Жив, старый пес?

— Что нам делается, батюшка Петр Петрович! Что нам делается? — отвечает голос отца. — Живу, пока бог грехам терпит!

— Живи, живи! — разрешил барственный голос. — Я ведь тебя, старого пса, сколько лет знаю!

— Давненько, батюшка! — согласился льстивый голос отца. — Сапожки заказать изволите?

— Сделай, сделай, старый пес, сапожки. Сам мерку снимать будешь?

— Ужели ж кому поручу?!

Иван Яковлевич слышал, как отец стал на колени.

— У вас тут мозолечка, кажется, была?

— Хе-хе! Все мои мозоли помнит! Ах, старый пес, старый пес! Так на той неделе чтоб было готово, старый пес! Так не обмани, старый пес! Чтоб не жало, смотри, старый пес!

Вышел Иван Яковлевич из-за перегородки:

— А позвольте вас спросить, милостивый государь, на каком вы основании человека «псить» себе позволяете? Что, у человека имени своего нет? А?

У отца по лицу пошло неудовольствие. У барина на лице явилось крайнее изумление.

— Это кто же такой?

— Сынок мой. Университет кончил! — заискивающе извиняясь, сказал отец.

Заказчик смутился.

— Виноват... Я не знал... Мы с вашим отцом... мы десятки лет... До свидания, Яков... А сапоги... Сапог мне не делайте... Не надо...

И, не зная просто, куда глядеть, вышел.

— Заказчика отбил? — спросил отец. — 20 лет заказчиком был, а теперь от ворот поворот!

И все сидели и вздыхали.

— Ты вот что. Ты, ученье кончив, для утешения приехал, а не горе родителям причинять. Так ты жить живи, а порядков не рушь! Порядков не рушь! А уж ежели тебе, ученому человеку, так зазорно отца иметь, которого псом зовут, тогда уж...

Старик развел руками.

— Тогда уж не прогневайся!

Яков отвернулся, и на глазах у него были слезы!

— Только то бы помнить следовало, что отец твой, этого самого «пса» выслушивая, за тебя же и гимназию платил. На того же Петра Петровича работая, тебя выпоил, выкормил.

Старик смолк, и все снова тяжело-тяжело вздохнули. Отчаяние взяло Ивана Яковлевича.

— А, ну их! Какое я, действительно, право имею эти порядки ломать? Что я могу сделать? Не буду ни во что вмешиваться. Погощу, буду их «утешать», как они выражаются. Да и все!..

Лежит в прескверном настроении и слышит: мать, — думает, что он спит, — потихоньку плачет и соседке жалуется:

— Мы его поили, мы его кормили, мы горбом сколачивали, мы за него в гимназию платили. А что вышло? Лежит, как чужак, в доме. Другие

дети, — ну, он поругается, ну, он и сгрубит, — да видать, что он о доме думает. А этот, как камень. Получит письмо с почты от знакомых. И читать торопится — из-за обеда вскочит, руки дрожат, покуда конверт разорвет. И читает. Раз прочтет, другой прочтет. И ходит! И ходит! И писать сядет. А не так — разорвет. И волнуется. От чужих ведь! Из-за чужих волнуется! А свои — хоть бы ему что! Что в доме ни делайся, — слова не скажет!

Вскочил Иван Яковлевич: «Не годится так! Верно это! Свои они мне! Должен я их жизнью жить! Их жизнью волноваться. Верно это, мать!»

Видит как-то — мать плачет.

— О чем, маменька?

— Как же мне, Ванюшка, не плакать? Петр-то, легко ли, гармонь купил! Самое последнее дело, уж если гармонь! Завелась у человека гармонь — какой же он работник? Ему не работа на уме, а гармонь. Как бы на гармонии поиграть!

Иван Яковлевич ее утешил:

— Ну, что вы, маменька? Ну, что за беда, что Петя гармонью купил?.. Вы, как бы вам это сказать... Ну, словом, вы напрасно плачете. Ей-богу, ничего дурного в этом нет.

— Учи, учи мать-то еще! Дура у тебя мать-то!.. Старуха пуще залилась слезами.

— Он бы, чем мать-то пожалеть, ее же и дурит! Пошел Иван Яковлевич к брату Петру.

— Ты вот что, Петр. Ты бы свою гармонью бросил. Мать, это, расстраивается.

Брат Петр посмотрел на него во все глаза.

— Гармонь-тальянка, первый сорт, об 16 клавишах, а я ее «брось»?!

Петр даже с места вскочил и руками себя по бокам хлопнул:

— Хорош братец, нечего сказать! Вместо того чтобы брату радость сделать, из столицы ему гармонию в презент привезти, — он на-поди! И последнего утешения лишает? Выкуси, брат! Я эту гармонию-то, может, не один год в уме содержал! По воскресеньям согнувшись сидел. Другой мастерской народ гуляет, а я заплаты кладу. Все на гармонию собирал. И теперь мое такое намерение, чтобы портрет с себя снять. Сапоги с галошами, и на коленях чтобы непременно гармония. А он: выброси!

Петр зверел все больше и больше.

— Нас в гимназиях не воспитывали, мы в университетах не баловались. За нас денег не платили, из-за нас горба не наживали. Нас шпандырем лупили, когда вы там по гимназиям-то гуляли. Нам какое утешение! А вы нас, братец, и последнего утешения лишить хотите? Тоже называется «братец»! Хорош братец, можно чести приписать!

Иван Яковлевич за голову схватился.

— И он прав! И все они правы! А больше всех мать была права, когда говорила, что чужие люди мне ближе, чем они. Да, да! Все, все мне близки, только не они!

Отчаяние охватило его.

— Да неужели, неужели самые близкие мне люди: отец, который радуется, что его псом зовут, значит, заказами не забывают, — мать, которая рвет, потому что в «гармони» погибель мира видит, — брат в калошах и непременно с гармонью на коленках! Неужели они, они могут мне быть близки?!

И ужас охватывал его.

— Подлец ты, мерзавец ты, негодяй ты! Да ведь эти самые люди тебя своим горбом выносили! Ведь с голоду бы ты без них подох, вот без этого «пса», без этих людей с гармонью. В гимназию-то кто за тебя платил? Сами голодали, тебя, негодяя, на плечах держали. А ты смеешь так о них...

До такого отчаяния человек дошел, что однажды даже отцу объявил:

— Знаешь что, батюшка? Я думаю всю эту ученость-то побоку! Все это лишнее! Я сын сапожника, родился сапожником, сапожником и должен быть. Сяду-ка я вот к вам в мастерскую да начну...

Но отец только посмотрел на него искоса и сказал одно слово:

— Сдурел!

А мать закачала головой и заговорила с горечью, с болью с язвительностью:

— Значит, все наши хлопоты-то, траты, труды — прахом должны пойти? Сапожником он будет! А? Недоедали, недосыпали, а он на все: тыфу! В сапожники!

Прямо потерялся Иван Яковлевич.

— Что ж делать? Что?

Захочет чем помочь:

— Пойдите, я пойду дров наколю!

Улыбаются с неудовольствием:

— Пусти уж! Ученое ли это дело.

В рассуждение ли вдастся, чтоб стариков порадовать, — выслушают, вздохнут:

— Ты, известно, ученый!

И насупятся с неудовольствием.

Захочет разговор поддержать, отцу что возразить мягко-мягко.

— Перечь старику, перечь! — скажет отец.
А мать заплачет.

Совет подать — и не дай бог.

— Вы бы форточку отворяли, воздух чище будет.

Братья хмурятся, злобно сплевывают в сторону:

— Тебе все нехорошо у нас. И воняет у нас.
И все!

— Ученый! — с горьким вздохом замечает отец.

И начала в семью прокрадываться ненависть какая-то. Отец велит «сыночка» к обеду звать, непременно зло скажет:

— Зовите... образованного-то!

Иван Яковлевич к обеду идет, себе говорит:

— Ну-с, послушаем, чего сегодня старый сапожник нафилософствует!

Мать, когда каши поедят, непременно прибавит:

— Ну, никаких разносолов больше не будет.
Можно и богу молиться!

А ему хочется вскочить и крикнуть:

— Да никаких мне разносолов и не нужно! Да и вообще убирайтесь вы от меня к черту! Ничего у меня общего с вами нету. Никто вы мне! Вот что! Не вы мне близкие, не вы, а те, чужие. Там и я всех понимаю, и меня все понимают. А вы? Презираю я вас, презираю! Слышите?

«Эге! — думает Иван Яковлевич. — Плохо дело. Удирать надо!»

Объявил Иван Яковлевич отцу:

— А мне, батя... того — ехать пора...

И когда говорил это, от слез голос дрожал. И старик отвернулся:

— Надоть... держать не можем... поезжай!..

И у старика от слез голос дрожал. Расцеловались, прослезились.

Он им сказал:

— Пишите!

Они ему сказали:

— Не забывай!

И уехал Иван Яковлевич.

А приехавши в столицу, написал им самое нежное, самое любовное письмо. Все эти мелочи и вздорные столкновения, как пар, улетучились, — остались только в памяти и в душе милые старики.

А через две недели от них и ответ пришел. На четырех страницах, кругом исписанных, — что именно хотели люди сказать, понять было мудрено. Было понятно только, что «письмо твое получили» и что «не такого утешения от сынка на старости лет ждали».

Иван Яковлевич сейчас же послал им денег

На денежное письмо получился ответ уже не на четырех страницах, а на одной.

Писали, что очень благодарны, потому что деньги всегда нужны... А дальше добавляли что-то о «псах» и о родителях.

Наконец, недоразумение разъяснил двоюродный брат Никифор, который приехал в столицу искать места.

— В небилированные комнаты лакеем, куда барышен водят. Очинно, говорят, выгодно.

Он пришел к Ивану Яковлевичу с просьбой хлопотать насчет такого места и кстати пояснил:

— Тятенька с маменькой очинно вашими письмами, Иван Яковлевич, обижаются. Никому поклонов не шлете, ни тетеньке Прасковье Федоровне, ни дяденьке Илье Николаевичу. Вся родня в обиде.

«На родню, — говорят, — как на псов смотрит. На-те, мол, вам подавитесь! Денег швырнет, ровно подачку. Слова приветливого не скажет».

Улыбнулся Иван Яковлевич, обругал себя в душе, улыбаясь, «свиньей», сел и написал:

«В первых строках сего моего письма посылаю вам, мой дражайший тятенька и моя дражайшая маменька, с любовью низкий поклон и прошу вашего родительского благословения, навеки нерушимого. А еще низко кланяюсь любезной тетеньке нашей Прасковье Федоровне, шлю с любовью низкий поклон. А любезной двоюродной сестрице нашей Нениле Васильевне с любовью низкий поклон и родственное почтение...»

Четыре страницы поклонами исписал и послал.

— Никого, кажется, не забыл. Слава богу!

Через неделю пришел ответ.

Уведомляли, что письмо получили, но что не чаяли до того времени дожить, чтоб родной сын стал над родителями надсмехаться». Потому что приходил заказчик, и когда ему показали письмо от «образованного сыночка», он очень хохотал, читая, и сказал:

— Это он над вами шутки строит и над вашей деревенской дурью надсмехается. И все это прописал, не иначе как в насмешку.

Дальше говорилось что-то о боге, который за все платит.

Иван Яковлевич чуть не волосы на себе рвал:

— Что ж я могу для них сделать? Что?

Как вдруг телеграмма:

— Был пожар. Все сгорело. Остались нищие. Голодаем.

Схватился Иван Яковлевич, продал, заложил все, что у него было, вперед набрал, под векселя надоставал:

— Вот когда я папеньке с маменькой за все, что они для меня сделали, отплачу. Пришел случай.

И с ужасом себя на этой мысли поймал:

— Да что я? Радуюсь, кажется, что с ними несчастье случилось?

И ответил себе, потому что он был с собой человек честный и правдивый:

— Радоваться — не радуюсь, а облегчение чувствую. Потому что случай вышел долг заплатить.

Когда они будут голодать, — он будет им денег высылать. Вот и все, чем он может им помочь. Вот и все, что может быть между ними общего.

Первая гимназия

(Воспоминания)

И ^з всех московских гимназий

хорошее воспоминание у меня сохранилось только о первой.

Быть может, потому, что изо всех московских гимназий я не был только в одной — в первой.

Я, могу сказать, гонялся за наукой по всей Москве.

Каких, каких путешествий я ни предпринимал в поисках знаний!

Я ходил на Покровку, в четвертую гимназию, чтоб узнать правила, как склонять слово «domus», ходил на Разгуляй, во вторую, чтоб узнать, что у Ганнибала при переходе через Альпы «остался всего один слон».

И обогащал свой ум!

Я предпринимал даже путешествие в Замоскворечье, чтоб хоть там узнать: как же будет аорист от глагола «керранюми»? Там помещалась шестая гимназия.

И только на Пречистенку, в первую гимназию, я не зашел в своих поисках знания.

И о первой гимназии я вспоминаю с нежностью.

Какая это была чудная гимназия! Я говорю про свое время.

Там учеников любили безциркулярною любовью. Там не было ни больших чиновников в вице-мундирах, ни маленьких чиновников в мундирчиках, застегнутых на девять пуговиц.

— Иванов Павел? Почему вы не приготовили урока?

— У меня болела голова.

— Имеете ли вы докторское свидетельство?

— Имею.

— Причина уважительная!

Там не было «преступлений», а были маленькие шалости маленьких мальчишек.

И когда меня «исключали» из гимназии, я думал:

— Вот в первую бы! «То-то чудо край!»

«Грек» первой гимназии представлялся мне не иначе, как древним греком.

Доблестным, как Мильтиад, премудрым, как Сократ, приветливым, как Платон.

И «арифметика» гладил мальчишку по голове, говоря:

— Не выучил урока на сегодня? Так выучи его на завтра.

Так рисовалась мне первая гимназия.

И я любил гимназию, в которой не учился. Люблю и сейчас. Я мечтал о ней.

В четвертой гимназии у меня вышли контры с «греком». Это был преостроумный грек, сколько я теперь припоминаю. Но тогда я был плохим ценителем аттической соли. Он любил острить. И любимым предметом его остроумия был маленький горбатый мальчик, Хвостов Алексей. Мы с Хвостовым

были друзья. Горбатый мальчик, которому дома шушали:

— Ты горбатенький. Ты должен хорошо учиться. В этом для тебя все спасенье!

Внушали каждый час и каждую минуту.

И горбатый мальчик учился с ужасом, учился с отчаянием:

— Получу двойку — и всему конец!

Ему вбили в голову:

— Будешь плохо учиться — и погиб!

Вбили крепко, как гвоздь.

Вероятно, когда он получал двойку, ему казалось, что горб вырос у него еще больше и давит его еще тяжелее:

— И с горбом, и с двойкой.

Он рыдал.

Я редко видал, чтобы рыдали с таким отчаянием. Вероятно, он считал себя погибшим человеком. Когда его «вызывали», он бледнел, терялся, хватался за чужие тетради.

И часто раздавался оклик.

— Хвостов Алексей! Вы хотите обмануть наставника? Это чужая тетрадь!

Тогда он колотился всем своим маленьким хилым телом.

— Г. учитель! Г. учитель!

Г. учитель брался за перо.

И Хвостов Алексей кричал, словно это был меч, которым ему сейчас отрубят голову:

— Г. учитель! Г. учитель! Не ставьте! Не ставьте! Вот моя тетрадка!

Хвостов был любимцем «грека».

— Хвостова вызовет, всегда пошутит.

«Грек» с любовью сделал из горбатого мальчика своего Риголетто.

— Хвостов Алексей! — вдруг спрашивал он. — Вы ели лисицу?

И класс давился от смеха.

— Хвостов Алексей! Отвечайте, когда вас спрашивают! Ели ли вы лисицу?

— Нет, я не ел лисицы! — со слезами отвечал Хвостов. Не поставят ли ему за это двойку?

— И горбатый, и двойка.

— Хвостов Алексей никогда не ел лисицы!

И класс грохотал.

С визгом хохотали первые ученики.

У них была душа легка, они знали все аористы.

Наперерыв хохотали последние ученики. Хохотали так, чтоб эту заслугу заметили.

— Вот как они умеют смеяться шуткам начальства!

Они не знали ни одного аориста и мечтали:

— Может быть, хоть это зачтется.

И старались.

Мне не казалось это смешным.

Во-первых, я слышал это в десятый раз. А во-вторых, у горбатого мальчика были глаза полны слез, — и я не видел в этом ничего особенно смешного.

Зато я не мог удержаться и расхохотался, когда «грек», рассердившись на Павликова Николая, который «считывал», словно Ахилл за Гектором, ринулся за виновным, догнал его, вырвал у него бумажку, растоптал и воскликнул:

— Так же я растопчу и тебя!

«За незнание уроков будут растаптывать!»

— Словно в Индии слоны!

И я так живо представил себе «казнь слонов», что расхохотался.

— Дорошевич Власий, вон из класса!
Установился спорт.

Я серьезно смотрел «греку» в глаза, когда весь класс хохотал, и смеялся, когда все дрожали в ужасе.

Я получил единицу за незнание аористов и подошел к «греку»:

— Г. учитель! Позвольте мне не оставаться за единицу после классов сегодня! Позвольте остаться завтра. Сегодня моя мама именинница. И это ее страшно огорчит.

«Грек» посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:

— Дорошевич Власий очень серьезен, когда смеются все. Дорошевич Власий смеется, когда серьезные все. Дорошевич Власий останется после классов, когда именинница его мать.

Я ответил.

И на следующий день заплаканная матушка пришла из гимназии:

— Дождался. Выгнали. Утешение!

И «утешение» перевели в третью гимназию. Я сам мечтал о третьей гимназии.

— «То-то чудо край!» Какие там «греки»!

— Ты ничего не бойся. Ты арифметики бойся! — предупредили меня как новичка.

Но «арифметика» оказалась премилым господином.

«Арифметика» явился в класс, задал трудную задачу, отвернулся от класса, сел почти затылком, достал зеркальце, гребенку и занялся своей куафюрой.

— «То-то чудо край!»

Я моментально дал товарищу под ребро, взял у него тетрадку и принялся «скатывать» цифры.

Как вдруг человек, сидевший ко мне затылком, сказал:

— Дорошевич Власий списывает.

Повернулся, взял журнал, с удовольствием, как мне показалось, обмакнул в чернильницу перо и с аппетитом поставил мне «кол». Мне это показалось волшебством.

— Г. учитель, я, ей-богу, честное слово, не списывал!

— Дорошевич Власий врет и отпирается. Пусть станет в угол.

Он снова повернулся к классу спиной и занялся гребенкой, зеркальцем и куафюрой.

Через пять минут он сказал:

— Голиков Алексей и Прянишников Петр списывают!

Повернулся, взял журнал и поставил два «кола». Весь класс был подавлен.

Пред нами совершалось волшебство. Человек видит затылком.

А «колы» сыпались. И только после десятого «кола» поняли бедные мальчишки:

— Да ведь в зеркальце-то «арифметике» все видно!

После Пасхи мы явились с праздничными работами. «Арифметика» просматривал тетради и сказал своим обычным ледяным тоном:

— Иванов Павел и Смирнов Василий! Кто из вас у кого списал?

— Ей-богу, честное слово, мы...

— Кто у кого списал?

— Ей-богу же...

— У Иванова Павла и Смирнова Василия одна

и та же ошибка. Такого совпадения быть не может. Кто у кого списал?

— Мы вместе решали задачу! — с отчаянием нашелся Иванов Павел.

— Что вы скажете, Смирнов Василий?

— Мы вместе решали задачу! — радостно повторил Смирнов Василий.

— «Проскочил!»

— Отлично! — так же спокойно и невозмутимо сказал «арифметика», — пусть Иванов Павел сядет в этом конце класса, Смирнов Василий — в том.

Он написал две записочки.

— Вот. Пусть Иванов Павел и Смирнов Василий напишут ответы на эти вопросы.

Мы видели только, как и Иванов Павел, и Смирнов Василий покраснели до корней волос. Они сидели и пыхтели.

— Что ж вы не пишете?

— Вот... Вот...

Это вырвалось как два тяжелых вздоха.

«Арифметика» спокойно и внимательно прочел обе записочки.

— Иванову Павлу и Смирнову Василию был задан вопрос: «В какой день и в котором часу вы вместе решали задачу? Иванов Павел отвечает на это: «В страстной четверг, в 8 часов вечера». Смирнов Василий: «Во вторник на Святой, в 10 часов утра».

Сам бесстрастный «арифметика» рассмеялся. Но его смех раздался один. Всем было как-то особенно тяжело.

И два «кола» были поставлены среди глубокого молчания класса. Я издавал тогда «под партией» журнал «Муха» и на следующий же день написал

фельетон, — дурные привычки укореняются с детства: «Лекок, или тайны арифметики».

Это был один из наиболее обративших на себя внимание моих фельетонов.

Он захватил широкий круг читателей.

Через два дня надзиратель торжественно позвал меня:

— Дорошевич Власий!

И повел в актовый зал.

За столом, покрытым зеленым сукном с золотой бахромой, сидел педагогический совет.

На зеленом сукне лежала вырванная из тетрадки страница, и на ней наверху изукрашенная всякими росчерками красовались четыре буквы:

— «Муха».

— Дорошевич Власий, вы писали этот журнал?

— Ей-богу, честное слово...

— Вас спрашивают, вы или не вы?

— Я больше не буду. Я нечаянно.

— Идите за дверь и ожидайте.

Я вышел за дверь. Около меня стоял надзиратель и не подпускал ко мне толпившихся гимназистов.

Словно я вдруг заболел чумой. Толпа гимназистов была оживлена:

— Дорошевича выгоняют! Дорошевича выгоняют!

Я имел единственное душевное утешение показать им язык.

Но из актового зала раздался звонок.

Суд был скорый.

Испуганный сторож метнулся туда, выскочил оттуда:

— Идите. Зовут.

Педагогический совет сидел величественный и неподвижный. Как будто ничего не случилось, и они не шевельнули бровью, пока я стоял в коридоре.

— Дорошевич Власий! — сказал директор торжественно и медленно. — Возьмите ваши книги и идите домой. Скажите вашей матушке, чтоб она пришла завтра утром за вашими бумагами. А сами можете не приходить. Идите.

— Я, г. директор...

— Идите.

— Я...

Но директор взялся за звонок:

— Идите!

И когда я вышел, толпа гимназистов с большим оживлением спросила:

— Выгнали?

А они ведь, каналы, зачитывались моим фельетоном! На следующий день матушка пришла в слезах домой.

— Утешение!

Она долго плакала перед директором.

— Только из снисхожденья к вашему преклонному возрасту и слабому здоровью педагогический совет разрешил позволить вам самой взять вашего сына. Он подлежал исключению!

Я умолял:

— Я все равно не мог бы здесь. Я не мог бы! Отдай меня на Разгуляй!

И меня отдали во вторую гимназию. Я мечтал:

— «То-то чудо край!» Вот в новой гимназии по-новому заучусь!

А через год я стоял, наклонив голову перед инспектором второй гимназии.

Он с отвращением смотрел на вихор на моем затылке и тоже говорил тем же ледяным тоном:

— Дорошевич Власий.

«Дорошевич Власий», «Иванов Павел», «Смирнов Василий»... Это до сих пор при одном воспоминании бьет меня по нервам. Словно на суде!

И мне кажется, что нас не учили, а беспрерывно из года в год, изо дня в день — судили, судили, судили...

— Дорошевич Власий, вы позволили себе сказать дерзость учителю латинского языка.

Учитель был чех.

— Г. директор, — ей-богу, честное слово...

— Что вы ему сказали?

— Я сказал... я сказал... Я сказал... я только сказал, что по-чешски говорить не умею... За что же мне единицу? Он говорит...

— Не он, а наставник!

— Христофор Иванович говорит, что надо перевести из Цезаря так: «третий легион попал в килучий и вилючий куст». И поставил мне единицу, что я так не перевел. А я и говорю... я только сказал... что, может быть, по-чешски и есть такие слова, а в русском языке их нету, говорю...

— Вы понимаете ли, что вы сказали?!

И так как я молчал, директор добавил:

— Вы даже не понимаете, что вы делаете! Всю эту неделю вы будете оставаться по четыре часа после классов в карцере. Идите.

— Г. директор...

— Идите и не рассуждайте.

Меня каждый день торжественно отводили после классов в карцер.

Гимназисты со страхом сторонились от этого шествия.

Словно вели страшного преступника.

Я сам начал смотреть на себя как на арестанта, человека потерянного, погибшего.

Три дня я выдержал.

На четвертый впал в отчаяние. Махнул на все рукой. Мне казалось, что я должен «удивить мир злодейством».

— Мне теперь все равно! — с горечью и отчаянием хвастался я перед классом.

Я поймал трех мух, вымазал им лапки чернилами и пустил по классу, изорвал «балловую книжку», скатал шар из черного хлеба и запустил им в доску среди урока и, встретив в коридоре учителя немецкого языка, лаял на него собакой.

А на следующий день, придя из гимназии от директора, матушка снова плакала, глядя на меня:

— Утешение!

И отсюда выгнали. Матушка благодарила бога:

— Хорошо еще, что я больна. Позволяют из снисхождения брать, будто бы по собственному желанию.

И я стал ходить за познаниями в другое место. Когда, наконец, меня выгнали и из шестой, — матушка пришла в ужас:

— Пойду опять в четвертую, где начал. Может быть, там возьмут, — забылось. Гимназий для тебя больше нет!

Но у меня была в запасе:

— А первая?

О первой я думал с нежностью:

— «То-то чудо край!» Какие «греки»!

Но матушка посмотрела мрачно:

— Была в первой. В первой совсем не берут. «Нам таких, которые нигде не уживаются, не нужно!»

И начался плач, надрывающий душу плач матери:

— Вырастешь ты олухом, бездельником, неучем. Будешь всю жизнь несчастным.

Я немножко не понимал.

Неужели я, мальчишка, уж действительно успел натворить таких преступлений, — что всей жизни потом еле хватит, чтоб за них расплатиться?

Неужели же я должен быть действительно «на всю жизнь несчастным»?

Зачем же тогда и жить?

Чего ждать?

Мне очень мрачные мысли приходили в голову, пока меня не взяли обратно в четвертую гимназию:

— Только из уважения к вашему преклонному возрасту и слабому здоровью, сударыня!

Мне было очень досадно, зачем не в первую.

— Все-таки новая гимназия!

Но теперь я глубоко благодарен, что меня не взяли в первую гимназию.

Хоть одна осталась гимназия...

Надо же иметь хорошие воспоминания юности!

Анекдотическое время





Анекдотическое время

На одной из «пятниц акварелистов»

разыгрался следующий анекдот.

Сели ужинать и, по обычаю, принялись за анекдоты.

Обыкновенные анекдоты, «мужские».

Старый почтенный художник встал и объявил, что он уходит:

— Среди художников уместнее было бы говорить об искусстве, чем рассказывать «мужские» анекдоты!

Это вызвало оживленный обмен мнений.

Один из молодых художников защищал анекдоты такими убедительными словами, которые даже не во всяком анекдоте встретишь.

Старый художник, защищаясь, взял стул в виде аргумента.

Но до сражения, слава богу, не дошло. Когда на следующий день явились с извинениями к старому почтенному художнику, оказалось, что старый, почтенный художник от волнения и огорчения заисмог. «Так кончился пир их бедою».

Два года тому назад, в одну из пятниц, предвкушая и даже волнуясь, я подъезжал вечером к

академии. Пятница, как на грех, была особенно «чреватой».

— Вы будете сегодня в Александрийском театре? Новая пьеса.

— Нет.

— Вы в Мариинском? Там тоже первое представление.

— Тоже нет. Я еду сегодня на «пятницу акварелистов».

«Пятницы акварелистов».

Сколько о них приходилось читать, слышать, мечтать.

Попасть в этот заколдованный круг.

Быть среди «необыкновенных людей».

Тут что ни человек, то талант. У всякого в душе искра божья. У кого и пламя.

Унести от прозы жизни в интересы искусства. Сколько я услышу, сколько увижу. Споры, разговоры об искусстве.

Какие новые идеи я вынесу отсюда? Во что моя вера будет поколеблена? Что новое заставит меня думать, грезить?

Несколько человек рисовали с натуры. Кто-то из артистов пел. В общем, было скучно.

Наконец, уселись ужинать, и все ожило: полились анекдоты.

Несколько человек, претендующих заменить «незаменимого» И. Ф. Горбунова, взапуски старались перед нами резались, рассказывая анекдоты.

Было скучно, как везде.

Впрочем, не везде. «Внизу» теперь интереснее, чем «наверху».

Отчего это?

В обществе приказчиков стараются говорить «о высоких материях».

В обществе интеллигентных людей пробавляются приказчичьими анекдотами.

В то время как приказчики стараются возвыситься до интеллигенции, интеллигенция старается принизиться до приказчиков.

Впрочем, художники не должны особенно огорчаться анекдотическим упадком их когда-то знаменитых «пятниц».

Не они одни.

Недавно я отправился на обед беллетристов.

Тоже «соль».

В кабинете у «Донона», за длинным столом, молча обедало человек двадцать.

Было скучно, томительно скучно. Ей-богу, это было похоже на спиритический сеанс. Так и казалось, что длинный стол сейчас пойдет по кабинету, духи начнут швырять бутылками, салфетки сами собой свяжутся в узлы, а тарелки примутся стучать:

— Я... дух... А... гр... а... ф... е... н... ы-ы-ы.

Было жутко.

В страшном молчании съели суп, рыбу.

При гробовой тишине отошла в вечность баранина, и ее молча помянули красным вином.

Затем тоскливо исчезли бобы. Рябчики появились было на тарелках и молча исчезли.

С тоской все готовы были приняться за мороженое. Но в эту минуту кто-то хихикнул. На него оглянулись с испугом:

— Чего это вы?

— Да вот Иван Иванович... Ой, не могу!.. Анекдоты!..

Все ожило:

— Иван Иванович! Анекдоты!

— Анекдот!

— Иван Иванович!

И полились анекдоты.

И ожили все, как оживают завядшие цветы, вспрыснутые живительной росой.

Нынче без анекдотов — ничто.

Нынче без анекдота — нигде.

В собрании экономистов, просто на вечеринке, в театре, в антракте, в ресторане и дома за чайным столом везде только и слышно:

— А вы слышали анекдот?..

На что среды кн. Мещерского, — какое почтенное и многодумное собрание, но и там, судя по «Дневникам Гражданина», только и делают, что рассказывают неприличные анекдоты о России.

Отправляетесь вы на чествование какого-нибудь деятеля — вас ловит кто-нибудь за фалды фрака:

— А вы слышали самый последний анекдот?

— Анекдот! Анекдот!

И кругом вас кучка людей. «Умер общественный деятель. Не успели тело положить в гроб — у гроба вырастает «друг почившего»:

— Мы знали покойного лично. С покойным случился однажды следующий анекдот...

И пошло!

Если где-нибудь вы видите группу людей, слушающих внимательно, сосредоточенно, — знайте, что им рассказывают анекдот!

Как распространена теперь эта страсть к анекдоту!

Прежде довольно было всему Петербургу одного И.Ф. Горбунова.

Теперь в Петербурге 20—30 патентованных, известных анекдотистов, стремящихся завоевать славу И.Ф. Горбунова.

Прежде на весь Петербург и на всю русскую жизнь достаточно было одного «генерала Дитягина».

Теперь — «генерал Херасков», «генерал Таптыгин», — сколько их рассказывает анекдоты в обществах, кружках, на вечерах и вечеринках?

В обществе появились особые специалисты по части анекдотов.

— Зачем вы пускаете к себе такого-то?

— Да уж очень хорошо анекдоты рассказывает!

На анекдот зовут:

— Приезжайте. Будет такой-то. Вы слышали, как он анекдоты...

О человеке, опоздавшем на анекдот, жалеют:

— Эх вы! Опоздали! А тут молодого человека привозили. Так анекдоты рассказывает!

Есть такие гастролирующие молодые люди.

— Кто он?

— А шут его знает! Анекдоты рассказывает!

Если у вас есть хороший анекдот, у вас есть ключ во много домов.

Скоро на визитных карточках будут печатать:

«Анекдотист».

И на карточке писать:

«Приехал с новым анекдотом».

Примут непременно, и не в очередь. Анекдот по всякому поводу. И все — повод для анекдота.

— Говорят, в неурожайных губерниях...

— Ах, кстати, про неурожайные губернии. Вы слышали анекдот? У неурожайного мужика спрашивают:

— В трактир ходишь?

— Хожу!

— Водку пьешь?

— Пью!

— Подати платишь?

Замолол! Правда, мило?

— Вот, говорят, насчет школьной реформы.

— Ах, насчет школьной реформы...

И вам сейчас рассказывают о том, как директор говорил речь воспитанникам «по циркуляру»:

— Мне приказано вас, таких-сяких, любить, — я буду вас, таких-сяких, любить! В карцер вас, каналий, всех запру, — а любить все-таки буду!

Правда, смешно?

Все и вся интересуется всех только с точки зрения анекдота:

— А ну, какой из этого анекдот выйдет?

И сама жизнь наша превратилась в один сплошной анекдот.

Нельзя сказать даже, чтоб очень приличный. Муза истории густо покраснеет, рассказывая его вашим потомкам.

Визитер

(Из праздничных воспоминаний)

У-с... Теперь немножко духов —

и все. Посмотрим, — и недурен! Левый ус чуть-чуть кверху. Готово!

Сначала по начальству.

Дома? Принимают? Вот вам рубль.

— И вас так же.

Вашество! С великим... Нет, уж позвольте в плечико. Обычай-с... Вашество! Такая честь! Если уж вам так угодно... К вам, к первым, — девственные, можно сказать, губы. Чмок, чмок, чмок-с! Желаю в добром здравии... Не смею больше утрудить-с. Имею честь-с...

Вот старый черт! Целуется куда-то на воздух. Так около носа что-то чмокает. Ну, да мы свое нахватаем. Извозчик, направо к подъезду.

Марья Петровна! Ручку-с. Чмок, чмок, чмок. А Иван Николаевич? Ах, с визитами! И давно уж выехал? Скажите пожалуйста, с одиннадцати? А я к вам, к первым-с. Начальство не считается-с: долг службы. Как принял? У нас с ним, знаете, не официальные, а так, скорее дружеские отношения. Принял по-родственному, с распростертыми объятиями, расцеловались, — ну, о делах там со мной

посоветовался. Просил заезжать запросто. Думаю на днях заехать. К столу-с! Ох, знаете, уж не знаю-с. Сорок два визита. Разве рябиновой. За ваше здоровье. С великим... Всего лучшего. Иван Николаевичу поклон, пожалуйста.

Ручку-с! Нет, ей-богу, уж увольте. 41 визит впереди, только что рябиновую пил... Честное слово, не могу! Ну, марсалы, пожалуй, только маленькую. Ваше здоровье-с. Нет, ручку, ручку, ручку, — то уж вы меня извините! А от этого увольте! Я уж и рябиновой и марсалы... Вот палочки сырной кусочек с удовольствием, а чтобы пить, — не могу. Ну, хересу пожалуй, херес — это не вредно! Есть ли силы человеческие, чтобы вам отказать? Пасха — восторг! Вы находите, что по этому случаю нужно еще? Извольте, готов и еще, только я на этот раз мадерки. Посошок? Могу и посошок! Ах, Ольга Васильевна! Есть ли еще такие дамы-угостительницы, как вы? До приятного свидания!

А-а, Василиса Афанасьевна! Мое почтение! С великим... Нет-с, уж если пить, так очищенной-с. С ветчиной — чудесное дело. Великолепная ветчина. Отличная ветчина! Сразу видно, что йоркширская. Ведь в ветчине, что важно? Сок! Сок-с! Ну, и очищенная ей тоже не вредит! Хе-хе-хе-с! Попрошу другую! А ветчина — восторг! С тех пор, как бессарабские помещики занялись свиноводством, отличную ветчину имеем. Ведь это мы так: ветчина, ветчина! Не обращаем внимания. А в ветчине спасение России. Да-с, это вопрос, я вам скажу, серьезный! Это вот какой вопрос!.. Могу и еще рюмочку. По этому случаю могу. Потому что я, Василиса Афанасьевна, прямо вам признаюсь, патриот! На это так смотреть нельзя, сквозь пальцы.

Ветчину нужно понимать. Почему, я вас спрашиваю, сельскохозяйственный кризис! Потому, что пере-пере-перерезводство... виноват, не так... Перереразводство... Тьфу, какое трудное слово! Знаете, это иногда со мной бывает. Хочешь слово и вдруг не выходит... Ну да вы меня понимаете! Пере-это... пере... производство... вот оно, слово! Хлеба... Потому что кому он нужен, хлеб! Никому! Если его свиньям отдавать, так из этого ветчина выйдет. А ветчина — она 42 копейки фунт. Да-с. Вот вы и сочитите! Вот вы возьмите бумагу, да и сочитите! Ну, в другой раз так в другой раз! Это что! До свидания-то, до свидания, — а вы того... вы, что я вам говорил, не забывайте! Ветчина это штука!.. Я вам в другой раз это разовью подробнее... Я подробно... Подробно, вы не беспокойтесь... Я подробно... Дурак!.. Поезжай прямо. Скажут, когда нужно свернуть! Подробно скажут.

Стой!

Нет-с, уж Марфа Васильевна! В губы-с! Это уж как вам угодно, — в губы-с! Обычай!.. Я, Марфа Васильевна, прямо должен сказать, я человек русский! В губы. Я человек русский, я русский человек, и если пить, так очищенную, потому что ведь и русский. Я, Марфа Васильевна, сегодня в настроении разговорчивом. Я вам прямо скажу, я говорить... Я могу говорить... Если бы меня в гласные выбрали, я бы им показал, как говорят. И вашему мужу показал бы... Пить что! Пить я могу, и только все-таки вам скажу, Марфа Васильевна... Мы с вами одни, по душе... Пить-то пью! Ваше здоровье, — а все-таки ваш муж вас не стоит, Марфа Васильевна, позвольте я вас по русскому обычаю. Не хотите? Не нужно. Pardon, не нужно! А все-таки

он не гласный. Дурак ваш муж. Марфа Васильевна, а все-таки не гласный... Позвольте, позвольте, позвольте! Почему ж я не могу? Если он дурак? И я знаю, и вы знаете, и все знают. Дурак, дурак и дурак! Уйти я уйду, а все-таки он дурак. Ах, вы со мной не согласны, в таком случае до свидания. Не ожидал я этого от вас! Я ухожу, я ухожу! А ему скажите, что он дурак!.. Ду-рак!

Что такое? На лестнице кричать нельзя? Почему ж нельзя? Ты кто такой? Ах, ты швейцар! Ну, на тебе рубль, если ты швейцар. Я швейцаров люблю. Они сыр выдумали швейцарский. Они умные. А барин, который в пятом номере живет, дурак! Так ему и скажи! Были, мол, господин Иванов, велели поздравить и сказать, что вы дурр-рак, дурррак, дурррак! Тьфу! Ты еще фамилию забудешь? Вот тебе моя карточка, подашь и скажешь: дурррак... Ну, а теперь подсади меня! Что это у тебя за экипаж? Подножки шатаются! Ноггой не попадешь, дурак! А вот еще дурак по улице идет!

Дурак!

Стой, налево!

Хорошенько стой!

Вот осел еще! Стоять на месте не может!.. Спасибо, любезный, что поддержал. На тебе рубль. Я всегда даю рубль!.. Не надо больше поддерживать. Сам дойду.

«Дома, понимают». Скажите, пожалуйста, какая! Ты кто же здесь? Ах, ты горничная! Скажите, Петр Николаевич каких горничных держит! Сейчас скажу Анне Алексеевне, сейчас...

Анна Алексеевна, с праздником! С праздником!

За Петром Николаевичем смотрите! Вы знаете, каких Петр Николаевич горничных держит! У-ух!

Меня не проведешь. Я вам сейчас скажу!.. Да погода что, погода дрянь, — а я вам про горничных... И театр вздор! Вы не перебиб... не перебиб... не перебибайте! Я про горничных вам! У-ух, я вам скажу, Петр Николаевич, — я его вот как знаю! Он по дамской части вот какой ходок! Я уж знаю! Мы с ним еще в Гранд-Отеле не один раз... Я вам расскажу сейчас.

А? Что такое? Извиняется барыня? Голова заболела? Скажите, как внезапно! Ну, и пусть у нее голова болит. А я выпью и поеду. Вот так! Выпил и поехал. А рюмку вдребезги, потому что рюмок много! И другую вдребезги! И третью!.. Хочешь идти ко мне в горничные? Ах, ты и разговаривать не хочешь? Не нужно. В другой дом поеду, потому что и говорить хочу... Поезжай, потому что я говорить хочу! А почему я говорить хочу? Это тоже нужно понять! Это понять нужно... понять... пон... А? Что такое? Куда ехать! Действительно, я немножко задремал... Но ничего... Я еще говорить могу... Я еще поговорю... Я поговорю... Стой!

Агнесса Николаевна дома... Что такое?.. Гостей много? Тем лучше, что много гостей! Я и при гостях поговорю. Без тебя знаю, куда идти!.. Ах, это детская? Ничего не значит, дети вырастут!..

Они, не беспокойся, они еще умнее нас с тобой будут... Вот двери! Стой, как шкаф? Зачем же ты меня в шкаф ведешь? Что я буду в шкапу делать? Человек в шкаф идет, а она не может сказать! Какая же ты после этого прислуга?! Ах, это не дверь? Что ж это? Стена?! Почему же стену на дороге выстроили? И здесь стена. Везде стены!!! Куда ж это и попал? Это застенок, а не передняя! Везде стены! Каррраул!.. Каррраул!.. А потому и кричу, что

выхода нет... Сейчас хочу выйти из этого дома... Человек заблудился, а вы... вы не можете указать дороги?.. Каррраул! Ах, вот выход! Благодарю... Да вы не толкайтесь!..

Вы, милостивый государь, какое же имеете право... Заперли и толкаетесь... Нет-с, я этого так не оставлю. Где дверь... Опять и здесь стены? Стена, стена и стена...

Вот так лестница! Черт его возьми и архитектора-то, который строил эту лестницу! Стены и лестница, и больше ничего! Поневоле человек падает. Сейчас напишу на стене ругательство! Пусть читает архитектор!

Пошел прямо, дуралей!

Марья Петровна? Мое почтение!.. Ах, я у вас уж был? Ну, был так был! Поедем дальше!

Стой!

Здесь. Аграфена Панкратьевна дома? Вот это дверь, сразу видно, что дверь. Дверь и иду! Что такое? Визитеров много? Я сам визитер. Сам! А Аграфену Панкратьевну я уважаю, потому что у Аграфены Панкратьевны двери!

Господа, тост! Прошу молчания. Панкратья Аграфеновна, урра!

Не хочу я сельтерской, что вы ко мне с сельтерской: незнакомый человек — и с сельтерской! Я за Аграфену Панкратьевну! Лей. Вот это что? Мадера? Красное так красное, на пол так на пол, все равно! А Аграфену Панкратьевну я уважаю! За двери ее уважаю! Аграфену понимать нужно! Аграфена это — женщина! С темпераментом, со страстями женщина... Позвольте, позвольте, при чем же тут мой воротник? Почему вы меня берете за воротник!

В обморок упала? Аграфена в обморок? Это у нас от страстей! И пусть лежит, я потом заеду. А за шиворот меня держать нечего, я вам русским языком говорю, что за шиворот меня держать нечего... А то я вас... Вот странность, был человек, а стала дверь. Я и на дверь плюну, — и надпись «для писем и газет» сделаю. Нечего вам в газетах читать.

Марья Петровна! Как, был? Да что вы мне все «был», «был», как ни заедешь, все «был». А я говорю, что не был... Ну, если вы так настаиваете, то я уйду! Я уйду! Но помните, Марья Петровна, это последний раз! Помните, Марья Петровна!.. И дверь-ми хлопать нечего. Помните!

Никанор Васильевич дома?.. Как здесь не живет никакого Никанора Васильевича? А я вам говорю, что он здесь живет!.. А я вам говорю, что живет!.. Должен жить! Который номер квартиры? Ах, а он в пятнадцатом, это дело другого рода! Пятнадцатый этажом выше? Все равно я здесь оставлю карточки, выше я подниматься не могу!.. И не могу... Я не могу...

Елизавета Анисимовна... Как вы не Елизавета Анисимовна, когда у меня даже записано, что вы Елизавета Анисимовна?! Вон так и написано: «2к Елизавете Анисимовне», — значит, вы Елизавета Анисимовна! Зачем же вы врете? Ах, вы Варвара Ефимовна! Ну, это дело другого рода! Зачем же вы сразу не сказали, что вы Варвара Ефимовна? В таком случае я вас поцелую! И горничную поцелую! Потому что обычай... Вы говорите, что это притолока, и притолоку поцелую, — обычай... Садитесь! Сяду, но только я сначала кресло поцелую. К столу? И стол поцелую. Это кто такой? Ах, это окорок?

Отчего же он колется? Не бритый? Праздник, целоваться должен, — а он не бритый ходит! Сейчас... сейчас я его обрею... М-мыла, сейчас окорок будем брить! Нет мыла? Так мы его сливочным маслом! Маслом его! А теперь ножиком? Р-раз, р-раз, р-раз! Вдребезги? Вот я как! Я все вдребезги сейчас! Потому не бритые окорока... Кричи, кричи, матушка моя!.. Вы тоже визитер? Ах, вы дворник? Ну, дворник так дворник! Я с дворником поцелуюсь!

Ты знаешь, дворник, здесь, брат, недоброкачественная провизия. Да ты не толкайся! Я тебе про обязанности говорю, а ты...

Я сейчас поеду протокол составлять, он не смеет так толкаться. Я знаю! Вот знакомые живут. Стой! У вас тоже недоброкачественная провизия? Ветчина с трихинами? Мертвые рыбы в каких-то жестянках лежат? Вы заразу по городу разводите. Сейчас же облить керосином и сжечь. Керосин сюда... Почему вы знаете, — может, я санитарный смотритель? Может, мои обязанности такие... Керосину!

Вот невежи, так уж действительно невежи! К ним с праздником, а они толкают... Где шляпа? Вот шляпа... Извозчик! Душа человек! Ты один меня возишь? Дай я тебя поцелую... Вот тебе список. Вези! По порядку вези! Они все, свиньи, толкаются, но я им покажу! Я им вежливость покажу! Пусть они будут свиньи, а я...

Что такое? Почему не принимаете? Был с поздравленьем! Я вовсе ни с каким не с поздравленьем! Я приехал сказать, что больше служить не желаю! Не желаю! Я к нему с поздравленьем, а он мимо носа целует! Он меня целовать не хочет, а я у

него служить не желаю! Так и скажи: Иванов служить не хочет, потому что он не умеет целоваться!

Дальше поедем! Я, брат, теперь не служу! И, брат, теперь куда хочу, туда и еду! Кто вы такая? Отчего у вас знакомое лицо? Ах, вы Марья Петровна? Что ж вы ко мне в десятый раз пристаёте? Вы что? Целоваться со мной хотите, может быть? Шалите! Я человек женатый! Я не позволю... Вот с человеком поцелуюсь, я с вами нет! На-лю! Человек, дай я тебя...

Ты зачем же в такой дом завез, где дерутся? А? Прямо поезжай! Стой! Вот красный дом!

Кто здесь живет? Пафнутьев? Такого не знаю. А раньше кто жил? Варсонофьев? И Варсонофьева не знаю. Все равно. Доложи господам, что приехал Иванов, и по обычаю...

Сударыня! Чмок, чмок, чмок, чмок, чмок, чмок... Ах, это ваша жена? Ну, и целуйтесь с ней, если это ваша жена... В участок? Едем в участок! В участок так в участок!

Вы околоточный надзиратель? Очень приятно. И околоточных надзирателей люблю. Позвольте я вас поцелую. А это что такое? Протокол? Я и протокол поцелую. Вот вам! Чмок, чмок, чмок...

Городовой! Мы куда едем? Ко мне домой едем? Поедем... А теперь мы где? Ах, у меня дома! Скажите, пожалуйста: отчего же здесь всего по две штуки? Два дивана, два стола? Зачем такая расточительность? А кто эти две дамы? Ах, это моя жена? Неужели? Почему ж она в двух экземплярах? Городовой, целуй один экземпляр, а я буду целовать другой...

На этом воспоминания «мученика визитов» прекращаются.

Какая женщина откажет себе

в удовольствии подвергнуть унижению счастливую соперницу? В особенности если эта соперница еще и приятельница! Анна Ивановна, молодая женщина, только что овдовевшая, подала связку писем совсем уничтоженной Марье Петровне.

— Вот. Я нашла их в бумагах покойника.

Марья Петровна взяла письма дрожащими руками.

— Я не знаю, что мне думать о вас... Вы или очень злы, или очень великодушны.

— Не то и не другое. Я просто удивлена.

По губам Анны Ивановны пробежала презрительная гримаска.

— Я прочла ваши страстные излияния... Вот никогда не думала, что покойный Николай Николаевич мог внушать такую пылкую страсть!

Ее письма читали! Марья Петровна чувствовала себя так, как будто ее публично раздели.

— Вы можете меня презирать или ненавидеть, но я любила вашего мужа. Я горячо, я безумно его любила. Да его и нельзя было не любить! Его...

— Моего Николая Николаевича? Вот не подозревала!

— Он был так мил, всегда любезен, трогательно предупредителен, весел.

— Николай?

— Так остроумен. Умел так говорить, заставлял так смеяться. Часы с ним летели так незаметно!

— Открытия, которые делаются после его смерти! Этот увалень, этот лежебока, этот бука, от которого трудно было добиться слова! Человек с теплой водой вместо крови!

— Ах, нет! Нет! Не говорите! Он так любил, он так умел любить! В нем было столько огня. Он опьянял своей страстью. И он, — он умел заставлять любить обо всем в мире!..

— Вы... вы, кажется, говорите о Василии Степановиче?

— О моем муже?!

— Ну, да! Вы даете характеристику вашего мужа, и характеристику превосходную... под которой я готова подписаться обеими руками.

— Вы?!

Они смотрели друг на друга теми взглядами, которыми смотрят одна на другую женщины, полные взаимной ненависти, взглядами, полными настоящих рентгеновских лучей, проникающими в самую душу и читающими там, как в открытой книге:

— Вы?! Вы?!

— Мы квиты. Есть справедливость на свете! Да, да! В то время как вы, быть может, посмеивались надо мной с Николаем Николаевичем, я — это уж наверное! — хохотала над вами с вашим мужем.

— Вы? Вы это делали... с ним?

— Уж не хотите ли вы спросить: по какому пра-

ву? По тому же самому, по которому вы обменивались вот такими письмами с моим мужем... По праву приятельницы жены!

— Нет, нет... Но променять такого мужа, как покойный Коля... виновата, я хотела сказать, как покойный...

— Ничего, ничего! Продолжайте! Я не вижу причин, почему мне было не променять его на Васю.

— На этого облома, на этого мужика, на этого ненавистника женщин?

— Я этого не замечала. Я не могу пожаловаться ни на недостаток любезности, ни на недостаток живости.

— На этого тюфяка?

— О нет! Он умеет быть очень веселым, когда хочет! Со мной он всегда этого хочет.

— На эту рыбу!!!

— О нет, вы ошибаетесь!

— На этого отжившего человека?

— Вы ошибаетесь, повторю вам, *ma chere*.

— Но я его жена!

— Позвольте и мне его немножко знать! Со мной он никогда не был таким. Все это можно скорее сказать про моего покойного мужа!

— Не называйте его имени рядом с Василием Степановичем! Коля!.. Можно ли забыть его ласки!

— К сожалению, я не могу воскликнуть этого, — я, его жена! Как не можете того же сказать про Василия Степановича вы, его жена.

И они протянули друг другу руки, как протягивают два человека, пораженные одним и тем же несчастьем.

— О, о своих мужьях приходится узнавать от других.

— Это чудовища!

— Все несчастье состоит в том, что они женаты на своих женах. Тогда как им следовало бы быть женатыми на чужих!

— Да... но, может быть, и нам следовало бы выходить за чужих мужей!

И они поцеловались, эти две вдовы.

Война будущего, или Штука конторы Кука

Знаменитому Куку — покровителю

всех «globe trotter'ов» — «топтателей вселенной», как выражаются американцы, — пришла, как сообщают телеграммы, гениальная мысль.

Он устраивает «круговые поездки на поля сражений в Трансвааль». Записываются много англичан и американцев.

Космополитическое общество романа Бурже садится на пароход и, вместо того чтоб ехать развлекаться на Ривьеру или в Каир, едет на поля сражений.

— Скажите, а я буду сражения видеть? Или только поля?

— Обязательно, madame! В программу каждой поездки входят два сражения.

— А осаду Претории?

— Вам нужно записаться по тарифу № 1. И, кроме того, за дни в ожидании осады Претории вы платите по фунту в день за продовольствие.

— А если будет взрыв копей в Йоганнесбурге, я увижу?

— В случае взрыва копей вы должны заплатить extra. Это оговорено. Словом, каждый получает удовольствие за свои деньги.

— А я все буду видеть?

— О, контора гарантирует!

Но разве в самом деле контора может гарантировать, что сражение непременно будет такого числа? А вдруг не будет? Такой солидной фирме это крайне неудобно.

Начнутся разговоры:

— Кук — жулик! Помилуйте, деньги взяли, а сражения никакого!

— Обман!

— Надувательство!

— Деньги назад!

Чтоб гарантировать клиентов, Куку останется только из добросовестности завести собственный отряд на театре военных действий.

— Сражения гарантируются! Важно для гг. туристов!

Мне бы хотелось на поля сражения!

— Со страховкой или без страховки насчет того, будет ли битва?

— Да уж, пожалуйста, чтоб с битвой! А то что же и смотреть!

— Свежие трупы бывают, свежие могилы. Гг. путешественники очень довольны

— Нет, нет! Мне — чтоб при мне сражались. И хочу видеть, как это все делается.

— С гарантией в том, что сражение будет, — 3 фунта в день. Цена дешевая, и тариф понижен ввиду того, что собираются большие компании. Масса заказов. А то, помилуйте, расходы огромные, приходится свой отряд держать, по 30 фунтов в месяц волонтерам платить.

— Ах, это дорого — 3 фунта!

— Помилуйте, разочтите расходы. Ведь сколь-

ко нам самим сражение стоит! Вон мистер Астор, из Нью-Йорка, заказал для себя и своих гостей особое, специальное сражение и уплатил 50 000 долларов. Всего 5 проц. на сражении наживаем.

— Ах, нельзя ли хоть половину — полтора фунта в день.

— Половинной скидкой, извините, пользуются только дети, не достигшие 14 лет. Возьмите без гарантированного сражения!

— Нет, уж дайте с гарантированным. Что ж делать!

И вот, проводник в фуражке с надписью: «Th. Cook & Co» устанавливает гг. туристов:

— Леди, джентльмены! Прошу вас стать здесь. Возьмите ваши бинокли и смотрите на тот холм. Сейчас начинается.

Динь-динь-динь.

— Пли!

Подобравшийся на расстояние ружейного выстрела отряд Кука и К° открывает огонь. Огонь в ответ.

— В проспекте сказано, что в программу входит стрельба шрапнелью. Это когда же будет? — цедит сквозь зубы мистер Гульд, эсквайер.

— А это, не извольте беспокоиться, будет. Вот как поближе подойдут, тогда и шрапнелью хватят. Все, все по программе, будет, уж доверьтесь фирме.

— Ничего не вижу! — капризно оттопыривает губку мисс Вандербильд. — Дым, дым, и больше ничего!

— Ах, смотрите, смотрите! Человек из-за камня выскочил! Руками машет! Упал! — забыв приличия, кричит пожилая мисс Скоч. — Смотрите! Другой!

— Где? Где? — кидаются все. — Ах, да! Да! Третий. Еще! Еще!

— Это увлекает! Как в рулетке! — восклицает мистрисс Вилькоккс, вдова.

— Я держу за того, что за тем камнем! Пять против одного! — предлагает мистер Монгомери.

— Дымка за камнем больше нет. Не появляется. Вы проиграли! — замечает мистер Стоун-младший. — Я имею пятьсот фунтов.

— Шрапнель! — докладывает проводник.

— А-а! — протягивает мистер Гульд, эсквайер.

— Нелли, не бросайтесь вперед! Это неприлично! — останавливает гувернантка мисс Нелли. — Вы не умеете вести себя в сражениях!

— Если ты будешь плакать, Джо, я больше не возьму тебя в сражение. Ты будешь сидеть дома, даже когда будут взрывать Преторию! — строго говорит мать своему сыну.

Дым. Крики. Вопли. Пули. Шрапнель.

— Кончено, — говорит проводник, — леди, джентльмены! Прошу вас за мной, на место сражения. Прошу торопиться. Многие могут успеть умереть.

Мисс Вандербильт, подобрав юбки, бежит впереди всех.

— Сюда, мисс! Сюда! — кричит ей проводник. — Вот мертвое тело! Убитый!

— Да он на самом деле убит? Может быть, только притворяется?

Мисс Вандербильт трогает его зонтиком.

— Совсем убит. Видите, даже кровь.

— Ах, да! В самом деле, настоящая кровь.

— Мисс, осторожнее зонтиком с мертвыми! Вы

можете его перевернуть. А этого нельзя, пока все не пересмотрят. Пусть лежит, как лежал!

И проводник вбивает в землю колышек с надписью: «Просят мертвых не переворачивать».

— А где же здесь раненые? Тут совсем нет раненых! — разочарованно говорит мистрисс Вилькокс, вдова.

— Вот раненый! Вот! — кричит проводник. — Пожалуйста сюда! Здесь лежит раненый! Посмотрите, как он ранен.

— Дышит еще. Он долго будет дышать?

— Пока все не пересмотрят, миледи. Это наш волонтер. Он знает свое дело.

— Еще раненый! — говорит мистрисс Роджерс. — Бедный! Я перевяжу ему рану носовым платком!

— Shoking! — останавливает ее пожилая dame de compagnie. — Разве можно? Не все еще пересмотрели. — Не надо дотрагиваться до вещей.

— А-а! — протягивает мистер Гульд, эсквайер. — Тут, говорят, расстреливают пленных. Будут расстреливать?

— Это зависит от заказа. Можно срочно телеграфировать в Лондон о стоимости.

— Я хотел бы уж все видеть.

— Прикажете?

— Пожалуйста.

Но ведь войны бывают не всегда. Что ж будет делать в промежутках контора Томаса Кука и Комп.?

И потом, неужели каждый раз надо ехать куда-нибудь на юг Африки? Многие из гг. туристов не переносят морской болезни.

Надо идти дальше.

Мистер Роде и мистер Чемберлен, заинтересованные в акционерных предприятиях золотых и

брильянтовых копей, устроили трансваальскую бойню.

Почему бы мистерам Родсу и Чемберлену не быть точно так же заинтересованными в акционерной компании Т. Кук и Комп., — в акционерной компании, которая благодаря «поездкам по полям сражений» делает колоссальные дела?

Во всякой стране найдутся свои Родсы и Чемберлены.

И в европейской политике появляется новый фактор:

— Т. Кук и Комп.

Милан получает 1000 акций с правом их заложить немедленно и получить добавочную ссуду, как только он устроит пожар на Балканском полуострове. Контора Т. Кук и Комп. поддерживает орлеанистскую агитацию во Франции с обязательством, как только принц Орлеанский взойдет на престол, чтоб он немедленно объявил войну Германии.

В газетах напечатают объявления:

— Ищут энергичного молодого человека с широкими замыслами на роль Наполеона.

Контора Кука принимает заказы на войны и печатает в американских газетах:

— Готовится большая, кровопролитная европейская война между просвещеннейшими державами. Заранее принимается подписка на круговые поездки по полям сражений.

Американцы, которые нас, европейцев, глубоко презирают, как гнилье, и которых мы интересуем, как нас интересуют обезьяны, сумасшедшие или преступники, охотно подписываются на круговые поездки:

— Как это вся Европа передерется.

И мы, мы, развившие в себе такую массу потребностей и имеющие так мало средств к их удовлетворению, нищие, наплодившие нищих столько, что они не умещаются и нам нужны колонии; мы, наплодившие фабрик столько, что нам нужны новые и новые рынки; мы, нищие, готовые от бедности, от тесноты кинуться друг на друга, даем американцам заказанный ими Куку и Комп. спектакль...

* * *

Мой добрый старый друг Old Gentleman скажет с видом старого раввина из «Уриэля Акосты»:

— Das war schon alles gewesen¹. Рим тоже переживал fin de siecle², и в нем были бои гладиаторов.

Но я отвечу моему доброму старому другу:

— Ну, нет! «Поездка по полям сражений» через контору Кука и Комп. — это будет почище.

Таково «торжество христианства».

¹ Все это уже было (нем.).

² Конец века, конец света (фр.).

Лечение земляникой, клубникой, садовой красной смородиной

(письма в редакцию)

I

М. г., г. редактор!

С удовольствием прочел в вашей уважаемой газете о нескольких случаях излечения земляникой, прошу принять и от меня случай, имеющий, как мне кажется, очень важное общественное значение. В прошлом году, в июне месяце, я нечаянно, в нетрезвом виде, упал и сломал себе руку. Так как время было земляничное, то я и ел все время землянику, сломанная рука не замедлила срастись! Свидетелями этому могут быть все мои домашние. Все они под какой угодно присягой не откажут подтвердить, что рука у меня действительно срослась и что я ел землянику. Конечно, в это время были призываемы и доктора, которые накладывали мне гипсовые повязки, бинтовали руку в лубки и делали тому подобное. Но я приписываю исцеление, конечно, отнюдь не их искусству, а доселе малоизвестным и оцененным свойствам означенной земляники. С тех пор, уважаемый г. редактор, я пью не иначе как крүшон и кладу в него всегда землянику. И что же? Более я не падаю и рук себе не ломаю. Так что землянике следует написать еще и удивительное предупреждающее от

заболеваний значение. Для тех, кто пожелал бы лечиться указанным мною способом, спешу сообщить, что на каждую сломанную руку следует съесть по три фунта земляники в день. В интересах ознакомления с народной медициной было бы крайне интересно познакомиться с действием другой русской ягоды — клубники. Было бы крайне важно, чтобы кто-нибудь сломал себе ногу и попробовал есть после этого клубнику. Не отзовется ли кто-нибудь?

Примите и проч.

Кузьма Кириллов

II

Уважаемый редактор (с сожалением употребляю это немецкое слово)!

Всегда с удовольствием читаю вашу газету и от души рад, что упраздняете немецкую медицину при помощи простых, народных средств. Позвольте вам передать вкратце замечательный случай, бывший лично со мной. Как у меня от земляники выросла нога. (Редакция оставляет этот случай всецело на ответственности корреспондента.) В прошлом году в это самое время был я на китайской войне и принимал деятельное участие в осаде посольств. Там я был ранен бомбою в ногу навывлет, и доктора отняли мне вышеозначенную ногу начисто, так что образовалось совершенно гладкое место, как бы зеркало. Время было земляничное. Я принялся есть эти сочные ягоды, — и что же? Через три дня на вышеуказанном гладком месте у меня, к общему удивлению, вырос ноготь. Далее —

более ногтя образовался палец. Я все продолжал есть землянику и смотрел, что из этого будет. Палец постепенно превратился в целую ногу, пышно расцвел и покрылся пальцами. Нога росла не переставая, и чем больше я ел земляники, тем больше росла нога. Так что я в конце концов предался ужасу. Но тут подоспело малинное время. Я начал есть малину, отчего дальнейший рост ноги прекратился. А кто бы стал сомневаться во всем вышеизложенном, того я попрошу пожаловать ко мне на квартиру, где осматривать мою ногу могут все желающие. Таково изумительное действие простой русской земляники.

Крепко жму вашу руку. Моя нога вам кланяется.

*Варсонофий Ноздрев,
будущий член «Русского собрания»*

III

Многоуважаемый г. редактор! Вы так много занимаетесь вопросами о средней школе и о землянике, что позвольте вам предложить проект. Почему бы не ввести в реформированной средней школе землянику? Об удивительном влиянии этой ягоды на психологический мир ребенка позвольте мне рассказать вам следующий случай, бывший с моим собственным сыном Петром. Собственный сын мой Петр, трех лет от роду, с шестимесячного возраста отличался удивительной склонностью брать и есть без спроса все съестное: баранки, сухари, приготовленное для котлет сырое мясо, конфеты и проч. Не особенно давно он даже съел (без особого вреда для здоровья) катышки, пригото-

ленные для отравления крыс. Так что мы прозвали сына Петра «маленьким страусом». Но вот недели две тому назад — время было земляничное! — жена моя приготовила для варенья шесть фунтов спелой, необыкновенно сочной земляники, по 12 копеек за фунт. Земляника была положена в решето, и не успел никто досмотреть, как сын мой Петр, по прозвищу «маленький страус», подобрался к шести фунтам земляники и съел их все. И что же? После того малютка заболел. Случай этот так повлиял на сына моего Петра, что он более никогда ни до чего положенного съестного без спроса не дотрагивается! О таком удивительном случае морального воздействия земляники на юношество считаю долгом до сведения вашего, а вас прошу довести до сведения читателей вашей уважаемой газеты.

Примите и проч.

Еллидифор Курицын

IV

Милостивый государь и уважаемый г. редактор!

Теперь очень много пишут о целебных свойствах земляники. Позвольте же мне рассказать вам, как я, единственно благодаря землянике, был спасен от смерти. Да, истинно мог сказать, этой удивительной ягоде я обязан тем, что ныне живу, а не нахожусь в мрачных обителях Тартара, как говорили древние. Было это ровно 42 года тому назад, когда о целебных свойствах земляники еще и в по-

мине не было, а все смотрели на нее, как на ягоду наслаждения.

Человек я в те времена был молодой и красивый, а потому и был в белом коломенковом костюме. Время было земляничное. Был я большой ходок по части уязвления дамских сердец, а потому и поехали мы всей компанией кататься на лодке по реке Фундуклеевке. Взяли мы, как сейчас помню, балыку, колбасы копченой, колбасы вареной, и сардинок тогда еще не было. Конечно, хлеба. Я же, для большого успеха в уязвлении сердец, взял столь любимой дамами земляники. Пришли мы на берег Фундуклеевки и расположились, как теперь называют, пикником. Все съели и выпили, и я, придя в радостное настроение, начал прыгать и, то садясь на землю, то с нее вскакивая, делать разные курбеты для уязвления дамских сердец. Так как человек я был веселый и очень остроумный, то мною все были очень довольны и никто не упустил смеяться. Долго ли так продолжалось, теперь я не припомню. Но только внезапно раздался резкий крик, и всеобщая веселость приняла размеры, свойственные скорее богам Олимпа, чем смертным жителям земли. Оказалось, что я, садясь на землю для курбета, сел как раз на приготовленную мною для дамского пола землянику. О действии сего на мои коломенковые панталоны предоставляю вам судить, любезный читатель!

Но юность беспечна, — многие думали, что я сделал это нарочно, по свойственному мне остроумию. Но я огорчился и, не будучи в таком виде в состоянии принимать участие в утехах с прият-

ными предметами, после такого пассажа с горестью в душе ушел домой.

И что же? Они, т.е. вся компания, поехали кататься в лодке, перевернулись и утонули. А я как отсутствующий не утонул. С тех пор я без слез не могу видеть земляники. И когда подадут к столу мою спасительницу, — я плачу и говорю:

— Истинно велика эта ягода, если я доньше благодаря ей живу на свете.

Прошу огласить этот поразительный случай спасения от смерти земляникой в вашей почтенной газете...

С отменным к вам, милостивому государю, почтением имею честь быть вашим, милостивого государя, слугою отставной секунд-майор

Ростаковский

V

М. г., г. редактор!

В настоящее время, когда на очереди, так сказать, земляника и ей отводится так много места в нашей уважаемой печати, позвольте мне сказать чрез посредство вашей почтенной газеты, что не одна земляника имеет такое могущественное целебное значение. Не лишен его также и арбуз. Арбуз при умелом его применении может производить потрясающее действие на душу человека, к сожалению, до сих пор малоизвестное в нашей психиатрии.

Позвольте рассказать вам то, что случилось в моей семье.

Кухарка моя, именем Василиса, при других

достоинствах, имеет ужасно сварливый и неприязненный характер. Что нам пришлось от нее вынести, одному только богу известно! Однажды она разбросала по полу вареники и топтала их ногами, крича:

— Вот вам, черти окаянные! Будете знать вареники!

В другой раз при гостях плюнула в сметану. В третий — измазала моей дочери голову свежей икрой, приготовленной для блинов, так что пришлось к блинам счищать икру с моей дочери. Да всего и не перечесть!

Я пробовал прибегать к лечению с земляникой. Запустил однажды в нее целый фунт. Но эта неизлечимая баба только воскликнула:

— Самим жрать нечего, а в людей земляникой пуцаете!

Я получаю в месяц 150 рублей. Ну, как же мне жрать нечего?

Так же безуспешны были и все другие способы: малиной, вишнями. Пробовал пускать в нее даже черной смородиной. Но ничего! Наконец, чтобы досадить подлой бабе хоть чем-нибудь, я прибег к крыжовнику. А именно: насыпал Василисе в постель мохнатого, колючего крупного крыжовника. Но скверная женщина, обозясь после бессонной ночи, осыпала всю нашу семью еще тягчайшими оскорблениями. И вот на днях, когда дерзости ее перешли все границы, я разъярился и ударил ее по голове арбузом (время было арбузное). И что же? Арбуз разлетелся на восемь частей, а женщина, на которую до сих пор ничто не действовало, заплакала слезами раскаянья. С тех пор Василиса со-

вершенно лишилась своего характера. Больше от нее не слышно ни одной дерзости. Она тиха, послушна, и когда глядит на меня, — в глазах ее отражается спасительный страх. О таком действии арбуза на русский народ считаю долгом довести через посредство вашей уважаемой газеты до сведения всех, кому приходится иметь дело с народом. Бейте его арбузом!

*Ваш слуга, отставной юнкер
Тесаков*

Трудные времена





Трудные времена

(Из дневника смотрителя тюрьмы)

Снедельник

Был мещанин Сидоров, приходил садиться.
Приговорен за кражу на полтора месяца. Желает сесть.

Желание законное.

Даже похвально!

Что там ни говори, а чувство законности врожденно русскому человеку. Да куда я его посажу? Ежели порядочного жулика посадить некуда, — все под политику занято.

Тюрьма полна, а ни одного жулика! Невероятно, но факт.

Отказал.

Даже польстил слегка:

— Уж ты гой еси, добрый молодец! Сразу богатырь земли русской виден. Умел воровать — умеешь и ответ держать! Только пожаловать мне тебя, детинушку, нечем. Угла свободного нет.

Соблазнял:

— Ты, — говорю, — уж повремени, будь добр. А я тебе зато хорошую камеру дам. На выбор. Во втором этаже. С видом. Ты угольную знаешь?

— Нам камеры, — говорит, — довольно хорошо известны.

— Хочешь угольную? На реку вид. Больница перед глазами. На покойницкую. Умрет кто, — похороны смотри! Не скучно. А не хочешь, — 17-й номер. Знаменитая! Два доктора, четыре инженера, бывший председатель земской управы, — да что председатель! Депутат бывший сидел! Адвокатов я уж и не считаю, — что адвокаты! Вот с какими людьми по камере породнишься!

В затылке чешет:

— Нам главное до Ильина дня отсидеть!

Что там ни говори, а сильно религиозное чувство в народе!

— Что, — говорю, — говорит! Большой праздник! Это делает тебе честь! А только потерпи. Все отечество терпит, — потерпи и ты.

Дал ему полтинник.

Среда

Мещанин Сидоров был опять.

Русский народ груб.

Требует, чтобы посадили.

— Что же это, — кричит, — за порядки! Я из-за вас без куска хлеба оставаться должен? Нам, главное, чтобы до Ильина дня отсидеться! У нас Ильин день — самое рабочее время. Нам в рабочее время сидеть недосуг.

— Да ты, — спрашиваю, — разве крестьянин?

— Зачем крестьяне? Подгородные мы, из мещан. А только Илья-пророк нас полгода кормит. На Илью-пророка батрак через город идет. Который на косьбу нанимался, — домой идет с деньгами. Который на уборку хлебов нанялся, — задаток получил, по местам идет, опять-таки с деньгами. Днем «подкидка» идет, кошельки подбрасываем,

потом мужиков шарим. Вечером игра идет, в кончинку.

Урезонивал:

— Ну, это еще кто выиграет, кто проиграет!

— Зачем нам проигрывать, ежели карты у нас мечены! Русский народ просто жулик.

Нам, — кричит, — до вашей политики дела нет! Нам камеру подавай! Заслужили — и подавай! То же с голодудохнуть не желаем. Время глухое, — самое сидеть! Что я теперича на воле делать буду? За вещь вчерашний день один кошелек с двумя пятиалтынными сделал!

Куда я его посажу?

Дал ему рубль. Ушел.

Четверг

Сидоров опять приходил.

— Пожалуйте рублишко.

И так категорически:

— А ежели, — говорит, — рубля жаль, — тогда сажайте!

Пробовал на него кричать:

— Да ты что это? — кричу. — Скажите, в тюрьму захотел! Да ты что о тюрьме думаешь? Для тебя она построена? Всякий мещанинишка — на три рубля украл, да куражится: в тюрьму его. Тоже! Велика невидаль! Да тут, может, не такие, как ты, дожидаются! Адмиралы! Адмирал Небогатов эскадру сдал, — не тремя рублями пахнет, — и тот два месяца ждал, пока вакансия сесть выйдет! Такое ли теперь время, чтобы о тебе думать? Пшел вон. Вот тебе тюрьма!

Сел на крыльцо, на ступеньки:

— Не пойду!

Приказал гнать.

— Правов, — кричит, — не имеете, чтобы арестанта из тюрьмы гнать! Обязаны всячески арестанта в тюрьме задерживать!

Скандал сделал.

Орет:

— Караул! Держите меня! Я жулик!

Вся тюрьма в окна смотрит.

Вечером имел объяснение.

С адвокатом одним, из политиков.

Говорил от имени товарищей по заключению:

— Группа, — говорит, — политических заключенных приглашает вас, г. смотритель, соблюдать законные права граждан.

Плюнул и пошел.

Как же я буду права граждан соблюдать, ежели у меня камер нет? Зло взяло.

— Сами, господа, всю тюрьму займете, а потом протестуете!

Пятница

Мещанин Сидоров явился вдребезги пьяный.

Безобразничает.

— Что же это, — орет, — такое? Господскую сторону держите? И тюрьма для господ? Простому человеку сесть негде? Теперь все равны!

Прямо социал-демократ.

— Мы, — кричит, — грамотные! Читали! «Свобода личности». Желаешь в тюрьму садиться — садись! Понимаем, что значит!

Совсем голову потерял!

Выскочил.

— Да я, — говорю, — тебя, такого, сякого, разэ-такого, за эти слова... в тюрьме сгною!

Хохочет подлец.

— Да я этого, — говорит, — и требую.

Нечего делать!

Дал ему полтинник и рекомендацию к мяснику в «союз русского народа».

Впадает в социал-демократические заблуждения, но мог бы быть деятельным «союзником».

Воскресенье

Второй день тихо.

Сидоров не ходит.

Записан в «союз» и получает в день полтинник.

Понедельник

Мещанинишку Сидорова из «союза» выгнали: знамя пропил. Пенял мяснику:

— Знаете, что за народ. Вы бы из коленкора! Удивительны эти руководители! Никакого знания народа. Ну, кто же делает знамена из шелка?

Вторник

Сидоров появился.

Пьянешенек.

Опять скандал.

— Издевательство! — кричит. — Люди добрые! Что же это? Зачем же людей зря берут? В участок забирают, мировыми судят, к тюрьме приговаривают. А потом шиш! Сажать — их нету! Зачем же бедному человеку беспокойство? Зачем суд?

Грозился:

— Я, — кричит, — к корреспонденту столичных газет пойду! Я, — кричит, — у г. корреспондента

курицу украду. Пусть вас в столичных ведомостях как следует расчихвостит!

И пойдет!

От русского человека всего жди.

Суббота

Имел удовольствие читать в полученной сегодня столичной газете корреспонденцию из нашего города:

«Благодаря крайнему нерадению местных тюремных властей даже приговоренные уже судом тяжчайшие преступники невозбранно ходят по городу, внушая ужас обывателям. «Экспроприации» участились. Похищают не только неодушевленные предметы — деньги и проч., — но уводят среди бела дня со дворов одушевленные существа — домашнюю скотину...»

Это курица-то — «одушевленное существо» и домашняя скотина!

Есть ли у вас совесть, гг. корреспонденты?

Понедельник

По поводу корреспонденции столичной газеты получил от губернатора по телеграфу нагоняй:

— Принять меры.

Частная телеграмма сообщает, что едет с ревизией. Принял меры. Сидоров сидит. В женином будуаре сидит. Куда же я его еще посажу? Жена плакала. Обещал шелковое платье.

— Потерпи, голубушка. Вся Россия терпит. Потерпи и ты со всеми. Терпеть — теперь самое патриотическое занятие.

Сидоров на ее козетке спит. Еще кочевряжился.

— Оно, — говорит, — конечно, не совсем, что-

бы по закону. На диванах спать. Да ежели хорошее обращение буду видеть, — согласен претерпеть!

Какова скотина?

Обедает с нами. Ест, что и мы.

Вторник

Сидоров становится невыносим.

На завтра заказал баланду.

— Желаю, — говорит, — чтобы по закону! Что арестанту полагается! Арестантский суп! И чтобы все арестантский суп ели! Будем есть баланду.

Среда

А не убить ли мне мещанина Сидорова? Становится нестерпим. Потребовал, чтобы в женином будуаре ему нары выстроили.

— Я, — говорит, — не к будуару, а к тюрьме приговорен. Желаю отбывать, как следует. Полагаются нары. Мы к нарам привычны.

Насилу уговорил его спать на рояле.

— А дверь, — говорит, — чтобы запирали, чтобы я не убею.

Обещал запирать.

— А в дверях, — требует, — чтобы глазок просверлили и цельную ночь на меня в этот «глазок», не отрываясь, смотрели.

Очень интересно!

— Потому я один спать боюсь!

Не ставить же сторожей в свою квартиру! Будем сторожить всю ночь сами. По очереди.

Четверг

Сидоров становится день ото дня невыносимее. Сегодня требует, чтоб в женином будуаре в окна решетки вставили.

— И парашу, — говорит, — мне!

ТЬФУ!

И ведь главное что! Основания имеет.

— Желаю, — говорит, — чтобы все по закону!

И никаких!

Нотации читает:

— Это, — говорит, — с вашей стороны арестантам поблажки! За это, — говорит, — вашего брата по шапке!

Пятница

Сегодня бунт.

Сидоров решительно объявил, что желает быть переведенным в тюрьму.

— На тюремном положении. А у вас мне скучно. Барыня сидит целый день в книжку мордой уткнувшись. Дети чему-то учатся. Не ругается никто. Ни в карты с кем. Желаю в общую!

Долго усовещивал:

— Да пойми же ты, — говорю, — что политика...

Знать ничего не хочет.

— А зачем, — говорит, — тюрьмы махонькие строите! Налоги с граждан берете, а тюрем не строите. Никакого попечения!

Наконец, уговорил.

Дочь для его развлечения на рояле играет. Сын-гимназист «русскую» пляшет. Жена будет ему загадки загадывать.

— У нас, — говорит, — в тюрьме так принято, чтобы жиганы сказки говорили и загадки загадывали.

В карты буду играть я.

Суббота

Хожу с опухшим носом. В носы играли. Выиграешь с него, с черта, когда он все наши карты перебил!

Воскресенье

Сегодня удостоились посещения его превосходительства. Был губернатор.

Сначала обошел политику — тюрьму. Опрашивал:

— Нет ли претензий?

Из каждой камеры подали по три жалобы. Потом изволил проследовать для разбора ко мне на квартиру. Был сервирован чай и предложена легкая закуска. В таком количестве, чтобы не похоже было на задабривание. Сидоров, негодяй, к закуске вышел! А? Представил его губернатору.

— Позвольте представить, ваше превосходительство, наш уголовный арестант. За кражу. В женском будуаре содержится. Как родной!

Его превосходительство посмотрел удивленно.

— А?.. Это очень хорошо...

— Точно так, ваше превосходительство. По случаю переполнению тюрьмы пожертвовать на пользу отечества жениными удобствами. Не угодно ли осмотреть вашему превосходительству женину камеру... То есть арестантский будуар...

Совсем спутался.

Изволили осмотреть.

Клавишей рояли даже перстом коснулись.

— Расстроен!

Это все Сидоров. У него на баса садиться — первое удовольствие. Растерялся:

— Будет исправлено!

Губернатор остался доволен.

В книге почетных посетителей начертал: «Содержатся хорошо. Приятно было бы видеть везде такую отеческую заботливость».

Претензии после этого были забыты в прихожей на ларе.

Приказал сторожам впредь покупаемые для арестованных продукты в эти самые претензии завертывать!

Каждый чтобы в своей претензии получал.
Кушайте!

Вторник

С ума схожу!

Что делается! Что делается!

Дочь на таком языке говорит — не всякий ка-торжник поймет.

Меня иначе не зовет, как:

— Шесть!

Нынче в кабинет входит:

— Вода или пусто? А я тебе хвостом пришла ударить, бардадым!

Это вместо того чтобы:

— Можно или нет! С добрым утром, папенька!

Сын фальшивые ассигнации делает. Сидоров выучил. И в довершение, — прихожу домой после обеда — в кабинете на письменном столе арестант лежит.

— Карповы мы. Сидорову дружки. Тоже жулики. По мировому приговору сидеть пришли.

Оказывается, негодяй всем своим приятелям письма разослал:

— Приходите отсиживать.

Сын же и носил.

Среда

Пишу проект. Посылаю в Петербург.

— О необходимости амнистии.

«Ввиду переполнения тюрем политическими настоят крайняя необходимость в амнистии уголовных. Иначе сажать некуда.

Основания следующие:

а) Приговоренные за кражи, грабежи и прочее, без смертоубийства, освобождаются вовсе, как совершившие менее важные проступки.

б) Приговоренные за смертоубийство, в видах общественной безопасности, отдаются под надзор родственников.

в) Приговоренные за отцеубийство ввиду смерти родителей отдаются в городской сиротский дом».

Воскресенье

Получил из Петербурга телеграмму:

— Дельно. Разработайте в подробностях.

Разрабатываю в подробностях.

Сидоров в соседней комнате бьет кулаком по клавишам. Только бы дождаться! Получишь по шею!

Истинно русский Емельян

На днях в Уфу прибыл минский

мещанин Тополев, который, явившись ко мне, заявил, что он командирован в Уфу «Советом Союза русского народа». Мною было предложено полицеймейстеру оказать всякое содействие г. Тополеву... Но он содействие полиции отклонил на том лишь основании, что уфимский полицеймейстер — католик. Будучи направлен к полицеймейстеру, Тополев ушел от него и напился пьяным до бесчувствия, так что с улицы был взят в полицейский участок для вытрезвления. Протрезвившись, он снова напился и снова был взят в участок...

Ввиду всего происшедшего я вынужден был по телеграфу запросить Совет Союза, действительно ли Тополев командирован Советом. Глубоко сочувствуя «Союзу русского народа» и так далее.

*Из донесений г. уфимского губернатора
г. Пуришкевичу*

К сожалению, название губернии не разобрано. Но настоящий дневник, принадлежащий перу одного из губернаторов, получен нами из самых достоверных рук: от одного экспроприатора. Так что никаких сомнений в подлинности!

2 января

День прошел благополучно.

И я жив, и злоумышленники все живы.

Ни одного покушения, ни одной казни.

(Название не разобрано) губерния должна быть признана исключительной по благополучию.

3 января

В город прибыл мещанин Емельян Березкин.

Член «Союза русского народа»!

Узнал об этом совершенно случайно.

Слава богу, он сделал скандал.

Вечером в трактире купца Власова один посетитель напился водки, наелся семги, а когда с него потребовали деньги, — начал бить посуду, зеркала, посетителей и кричать:

— Что? Измена? Да вы знаете — кто я? Да я член «Союза русского народа»! Из Петербурга прислали! Да я Дубровину! Да я Пуришкевичу! Подать мне сейчас телеграфную бланку! Бейте телеграмму на казенный счет!

Да по морде всем, да по морде! Полиция донесла полицеймейстеру:

— Что делать?

Полицеймейстер — мне. Черт знает что такое!

Губернатор, словно муж: узнает обо всем последним.

Этакое лицо в городе! А я не знаю.

Хорошо, что он в первый же день скандал сделал.

Каналью-трактирщика приказал оштрафовать на 500 рублей.

Мещанина Емельяна Березкина перевезли в

лучшую гостиницу в городе. Поместили в номере, где останавливался в прошлом году проездом персидский принц.

Спит.

4 января

Сегодня утром был у мещанина Емельяна Березкина с визитом.

Долг службы.

Был в полной парадной форме и при всех орден-нах.

Принял благосклонно. Жаловался на головную боль.

Наружность значительная.

Волосы такие рыжие и во все стороны. Лицо тоже красное. В бороде остатки пищи. Справа двух зубов не хватает.

Говорит:

— Потерял в борьбе со внутренними врагами. Положил зубы на алтарь, так сказать.

Пригласил его обедать. Но с дороги он несколько запыхался.

Предложил:

— Не угодно ли по русскому обычаю сначала посетить баню?

Согласился.

— Давненько, — говорит, — собираюсь.

Курьер, который его мыл, — нарочно ему курьера послал, хорошо, подлец, парит! Пусть видит, до чего губернатор — русский человек, каких курьеров при себе держит! — курьер говорит, что мещанин Березкин какие-то знаки в бане на теле показывал.

— А после бани, в предбаннике, — говорит, —

изволили одним духом две бутылки водки выпить и двух холодных жареных гусей съесть. Сразу видеть, что истинно русский человек¹.

5 января

Сегодня сам убедился.

Несмотря на сочельник, начались торжества в честь мещанина Березкина.

Сделал для него смотр пожарным командам.

Проезжали по частям. Сначала шагом, потом во весь карьер. В заключение проходили церемониальным маршем, как после пожара.

Брандмейстер на фланге. Фланг впереди. Вестовой замыкающим.

Мещанин потребовал водки и тут же на площади пил за здоровье команды из пожарной каски.

Положительно в нем есть что-то богатырское!

И вдруг полицеймейстер, возвратясь, мне говорит:

— А все-таки не мешало б из него удостоверение на лишность потребовать.

Только посмотрел на него.

— У вас, Карл Карлович, в городе бомбы, как вареники, в каждом доме делают. Вы бы за этим лучше следили.

Он тебе покажет «удостоверений на лишность»!

6 января

Так и случилось.

Сегодня мещанин Березкин поставил мне на вид, что у меня полицеймейстер лютеранского вероисповедания.

¹ Читатель сам видит, что подробности словно заимствованы из «Капитанской дочки».

Действительно, недоглядел.

— Ежели, — говорит, — об этом Дубровин узнает, он, брат, лютеранства не потерпит.

Предложил полицеймейстеру изменить веру. Послал даже за соборным протоиереем. Вообразите, в амбицию вломился:

— Всякий каждый фон-дер-Шнель-Клопс был, — говорит, — лютеран и умирал лютеран. Я, — говорит, — Лютер на всякий мещанин не меняй.

Скажите, как за Лютера держится! Приказал полицеймейстера отставить. Без прошения.

7 января

Торжества в честь мещанина Березкина продолжаются.

Сегодня вечером был в театре.

Давали «Марию Стюарт».

В последнем акте Емельян приказал:

— Не смей казнить Марию Стюарт. Пушай живет.

Поднялся в ложе и кричал:

— Она королева! Я люблю королев!

Потом приказал, чтобы Мария Стюарт на радостях русскую плясала.

— Я, — говорит, — тебе жизнь пощадил. Веселись.

Мария Стюарт плясала вприсядку.

Дежурные полицейские кричали — ура! Хотел послать почему-то телеграмму королеве Вильгельмине. Но я кое-как отговорил.

8 января

Емельян — трудный человек. Во-первых, говорит мне «ты».

— «Вы», — говорит, — слово немецкое. А тебе, — говорит, — по-русскому буду! Ты.

Оно действительно больше по-русски. Но все-таки губернатор. И губернатор — слово нерусское. Просил его, чтобы хоть звал меня:

— Ты, воевода.

Слава богу, согласился. Сам обращаюсь к нему:

— Уж ты гой еси!

Все-таки не так фамильярно.

Сегодня у меня был в честь Емельяна большой обед, а вечером бал. Были тосты. Емельян, как он говорит:

— Себя не выдал!

Особенно когда какой-то оратор в пылу красноречия упомянул:

— Заложим жен и детей...

— Верно! Сию минуту! Воевода! Бери жену в охапку, понесем ее к жиду! Заложим, а деньги пропьем!

Жена была в обмороке. Но Емельян кричал:

— Ничего, что в обмороке! Тащить способнее!

И стащил со стола скатерть, чтобы завязать жену в узел и нести.

Уложил Емельяна в нашей спальне, чтобы отдохнул.

На балу тоже вышел инцидент.

Все шло как следует.

Как вдруг в середине котильона Емельян воодушевился, прибежал из буфета на середину зала и скомандовал:

— Ноги вверх...

— Это, — говорит, — революционеры кричат «руки вверх», а по-нашему — «ноги».

Произошло смятение.

Старался объяснить истинно русской шуткой. Однако барышень увезли с бала в обмороке. Досадно. Но сами виноваты. Зачем барышень на бал возить!

9 января

Емельян — подозрительный человек.

Сегодня, встретивши на площади соборного псаломщика, заподозрил его в принадлежности к магометанству.

Заставил его тут же всенародно читать молитвы и, стоя в снегу, бить поклоны.

Потом отпустил. Было много народу

10 января

Это уж бог знает, что такое!

Положим, он член «Союза русских людей». Но все-таки. Емельян сегодня отправился в часть, приказал поднять шары, звонить в звонок и с пожарными, сам на трубе, поскакал в женскую гимназию.

Командовал:

— Качай!

Приказывал качать проходящим. Подставлял к окнам лестницы, кричал:

— Ломай переплеты! Двери! Потолки!

И поливал выбегающих гимназисток водой.

Многие обледенели.

Чтобы выйти из неловкого положения, должен был телеграфировать в Петербург:

«В женской гимназии вспыхнули волнения, грозившие государству. Удалось погасить, не прибегая к помощи воинских частей».

Ах, Емельян!

11 января

Сегодня Емельян меня осматривал.

На предмет принадлежности к иудейству.

— Ты, — говорит, — мне подозрителен, кто тебя знает!

Велел раздеваться.

Разделся.

Емельян похвалил мое сложение.

— Ничего еврейского в тебе не нашел. Можешь одеваться.

Потом хотел осматривать также мою жену.

— А может, ты на жидовке женат? Почему я знаю.

Умолил его, доказывая, что... предмет щекотливый... Вообще, признаков не бывает.

Согласился.

Только взял ее за волосы. Дернул несколько раз.

— Не ходит ли в парике? — говорит.

Дочь — ничего.

Дочь у меня все это время в погребнице сидела. Печку ей там железную поставил, чтобы не замерзла. Девушка молодая. Из института. Требования патриотического момента не понимает. Может нагрубить.

12 января

Сегодня мне пришла ужасная мысль. Я встал, она была еще в постели. И вдруг она мне:

— А вдруг, — говорит, — твой Емельян самозванец. Весь город свидетельствует, а может быть, он в жизнь свою не видел ни Дубровина, ни Пуришкевича! Знаки на теле! А может быть, его секли. Арестант беглый!

Я кинулся и накрыл ей голову подушкой.

Себя не помнил от ужаса.

Тогда пустил, когда хрипеть начала.

— Ты, — говорю, — с ума сошла! Такие слова говорить! Прислуга может услышать! До него дойдет!

Полузадушенная, а свое твердит. Вот женщина. Уши затыкал. Пилит:

— А ты пошли! Пошли!

Допилила.

Послал.

С ужасом жду ответа.

Вдруг Дубровин:

«Не усматривая в вас достаточной веры, предлагаю немедленно оставить должность и сдать ее Емельяну». Ночь, а не сплю. Жду.

13 января

Батюшки!

Что ж это?

Свидетельствовал... Полицеймейстер... Мария Стюарт вприсядку пляшет... Емельян... Гимназистки... Самозв...

Тут чьей-то рукой было приписано:

«У Аммоса Ивановича отнялся язык, правая рука и правая нога, правый глаз стал стеклянным, а левый светится безумием».

К дневнику подшиты два документа:

1) Телеграмма:

«Губернатору такому-то. Никакого Емельяна Березкина Союзом не командировалось. Проверке списков членов такой фамилии не оказалось. Пуришкевич».

2) **Форменная бумага:**

«Первый департамент Сената. Ввиду того, что постановление об исключении статского советника Карла Карловича фон-дер-Шнель-Клопс со службы без прошения состоялось с соблюдением всех требуемых законом форм, — постановили: прошение об его обратном зачислении на должность полицеймейстера оставить без последствий».

Депутат III думы

К Ивану Петровичу Огурцову.

октябристу и члену Государственной думы, вошел согражданин.

— Требухин, Михайло Иванович. Не изволите помнить? Да где!

— Напротив. Вы, кажется, речь изволили говорить при моем избрании.

— Память-с имеете!

— Боже мой! Не помнить единомышленников?! Очень рад. Прошу садиться.

— В Петербург собираетесь?

— Да, знаете. Предстоящая сессия. Предварительные совещания комиссий. Встреча с товарищами-депутатами. Обмен впечатлений, настроений на местах...

— Известно. В столице веселей.

— ...взаимный обмен выслушанными мнениями, подмеченными взглядами, наказы избирателей.

— Вот и мы по этому самому делу!

Лицо Ивана Петровича приняло выражение священнодействующее.

— Слушаю!

— Я к вам, собственно... так сказать... от груп-

пы наших граждан... Все ваши избиратели-с!.. Конечно... вы, так сказать, по собственным заслугам... Но все-таки мы избиратели... Желательно бы нам теперь...

— Говорите!

И Иван Петрович величественно, но в волнении встал.

— Говорите! Смотрите на меня, как на свой орган! Да! Как на свою руку, ну там ногу, язык. Как на свою голову. В том то есть смысле, что вы можете повернуть меня, куда вам угодно. Что такое я? Один? Сам по себе? Огурцов, — каких тысячи. Но если за мной мой город, мои избиратели! Если за мной реальная сила! О, тогда! Мои желания — их желания, мои слова — их слова, мой язык — их язык. Если я говорю, требую, властно приказываю их именем! Я сила-с! Я могущество-с! И только приходя в соприкосновение с моими избирателями... Я как Антей! Хотите задушить меня, поднимите меня на воздух, оторвите от почвы, — да! И вы сделаете свое — вы задушите меня!

— Помилуйте!

— Но, соприкоснувшись с моей почвой, с избирателями, я, как Антей, поднимаюсь с новыми силами, с новым могуществом на борьбу. Говорите же! Приказывайте! Если вы потребуете от меня чего-нибудь неисполнимого, противоречащего всему складу моих мыслей, всему строю моих чувств, — я откажусь, я уйду, я сложу с себя звание вашего избранника!

— Помилуйте! Помилуйте! Зачем же-с!

— Но я знаю, что вы, мои единомышленники, мои дорогие избиратели, — вы ничего не потре-

буете от меня, что бы противоречило нашей программе, нашему политическому мировоззрению...

— Зачем же-с!

— ...нашему кредо. Я слушаю. Я повинуюсь.

Иван Петрович склонил голову покорно и как можно красивее.

Требухин, Михайло Иванович, помолчал.

— Дело... так сказать... по порядку: с себя начнем.

— Я вас слушаю.

— На Михаила-архангела именинники мы.

— Заранее вас поздравляю, почтеннейший!

— Колбасный товар сюда из Москвы идет. Москва — колбасница известная. По колбасе город первый. Ну, икру тоже здесь найти можно. Сардина — она везде одинакова. А вот насчет сига — нет-с! Нешто сиг сюда дойти может! Полено, а не сиг. Петербург вот, так сказать... столица сига! В Петербурге-с...

И Михайло Иванович подмигнул Ивану Петровичу.

— ...есть, говорят, рыбокопильные заведения. В аквариумах, говорят, живая закуска плавает. На выбор! Плавает этакий па-адлец, от жабр до хвоста вершков четырнадцати. В плечах вершка полтора, до двух. Пальцем нажмешь — ямочка. Жиров нагулял, мерзавец этакий. Этому-то, знаете, сигу, да живому, палку в рот да насквозь, чтоб не дергался. Да живенького его прокоптить, каналью. Да горяченького еще в лубочную корзиночку! По холодку дойдет за милую душу. Просил бы уж вас парочку сижков мне к именинам из Питера. Как вы наш депутат. Уповаю. Что будет стоить, — с благодарностью...

— Будет сделано. Переходите, переходите к мандатам избирателей!

— Иван Иванович Неплюев. Знать изволите? Избиратель. Дочку выдает. Лизаньку. Милая девушка. Так вот Матрена Степановна, супруга, на счет приклада просила. «Очень, говорит, прикладом здесь бьемся». В галантерейных здесь какой приклад может быть? Смотреть больно. Прошлогодний товар. Заваль. А в Петербурге у вас Гостиный двор. И аграмант, и подкладка! Матрена Степановна прислала вам вот и образчики. К каким материям подобрать... Уж потрудитесь для избирателей. Девушка-то больно уж милая, да и жених хороший человек.

— Дальше!

— А дальше Безменов-с, Трофим Семенович. Тоже на вас, как на каменную гору. Избиратель. Граммофоны он любит. Только разве у нас настоящая пластинка может быть? Граммофончики — жулье первостатейное. Раньше агентами по страхованию жизни были, — жульничали. Теперь по граммофонам жульничают. Продали Таманьо, десять рублей взяли, а он по-русски «Во лузях» поет. «Это, говорят, истинно русский Таманьо». Нешто возможно? А в Питере, говорят, такие пластинки! Конфетка, а не пластинки! Нельзя ли помоднее что выбрать? Плевицкую там или что? А? Для избирателя?

— Больше никаких наказов не будет?

— Вавилонов, Гаврила Куприяныч, просил. На журналчик он подписался. Три рубля в год. Обещали в премию всего Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Щедрина, Шиллера. Еще кого, дай бог памяти? Шекспира. В переплетах и

с книжными шкапами. А с генваря ничего не при-
слали. Не жулики? Гаврила Куприяныч хотел на
них в полицию, да вспомнил: депутат у нас в Пе-
тербурге есть. Есть кому заступиться. Уж вы будьте
добры: в редакцию к жуликам... Гаврила Куприя-
ныч вам и доверенность даст на взыскание.

— Все?!

— Оно бы, положим, так сказать, все... Да уж
если вы так добры...

— Говорите, говорите все. До конца!

— Дельце-то того, щекотливое... Положим, я не
для себя, куму подарить хочу... Он у нас люби-
тель...

— Говорите!

— Фотографии есть такие... не дамского содер-
жания... Такие бывают — просто диву дашься: ну
и вы-ыдумали!.. А оно с натуры! Оно, конечно, и
здесь есть... Ассортимент не тот, фантазии нет, но
имеются... Да мне, знаете... лицо известное... не-
ловко... А вас кто в Питере знает? Отберите какие
почудней! И самим удовольствие: посмотрите.

— Много вам?

— Дюжинки две. Да валяйте четыре. У нас ра-
зойдется!

— Больше никаких наказов от избирателей нет?

— Больше никаких-с.

* * *

Иван Петрович шел по Невскому мрачный и
озабоченный.

И повстречался нос с носом с Охлестышевым,
кадетом, депутатом.

— Ну что, политический противник? — улыб-

нулся Иван Петрович. — Давно ли в Питере? Как впечатления на местах? Наказы от избирателей получили?

— Д-да. Обыватель теперь стал удивительно как низок к депутату! — сказал Охлестышев, пожевав губами.

Иван Петрович посмотрел на него с завистью.

— Наказы получил удивительно точные.

Охлестышев взял его под руку.

— А скажите, дорогой, — хотя вы и политический противник. Не знаете ли вы, где здесь корсеты продаются? Поручили мне из Петербурга выслать. 85 сантиметров. Куда ни сунусь — все смеются.

Иван Петрович просиял.

— Да, может, вам и сигов купить наказ дали?

— Шесть. А вам?

— Всего два. Так идем вместе.

В корсетном заведении они встретили Ошметкина, крайнего правого.

— Бандаж, батенька, заказываю. Для нашего предводителя. И мерку со своей грыжи дал.

А выйдя из корсетной, встретили Кинжалидзе, горного эсдека.

— В Думу?

— На молочную выставку идем. От избирателя наказ имеем: козу купить. Хороший козу купить велел. На племя. Разводить будет. «Будь, говорит, Кинжалидзе, во всем твердый и козу покупай! Твердо торгуйся!»

Сегодня утром был на вечере

у Фунтиковых.

Чтобы не возбуждать подозрения у полиции, вечера теперь устраиваются днем.

Говорили?.. О чем теперь говорят?

Об оккультизме, о магии, о переселении душ, о тайнах загробного мира.

Никогда не было такого интереса к загробному миру.

Иван Иванович Фунтиков, оказывается, теозоф. Скажите!

Всю жизнь свою был винтером. В 1905 году в декабре был республиканцем. Теперь он теозоф.

Дивны дела Твои, Господи!

Меня больше всего заинтересовало переселение душ.

Действительно, жить один раз... Обидно!

К чему же весь опыт жизни? Все?

Живешь, живешь, — и вдруг умираешь.

Глупо даже!

Пусть жизнь — бессмысленная смена материи. Но смерть — это оскорбление жизни.

Как бы человек ни жил, — но пожить еще раз всякому хочется.

Если бы человека перед смертью спрашивали:
— Хочешь еще раз пожить? Всякий бы говорил:
— Хочу!

И пять раз, и десять, и сто. Хоть тысячу раз!
Никогда не надоест. На утреннем вечере у Фунти-
ковых был один литератор, который говорил, что
никак не может в Риме пройти мимо Тарпейской
скалы. Он «помнит», как его с нее сбросили.

Я тоже жил несколько раз.
Я жил и буду жить всегда. Смерти нет!
Есть только перемена формы.
Я отлично помню!

В первый раз, я помню, я жил в Риме... Отто-
го-то мне в гимназии и давался легко латинский
язык!

Другие, бывало, бьются над исключениями.
А мне ничего. Свое, родное!

Меня звали Марцеллом. Я жил, помню, около
Яникульского холма. Немножко далеко от форума,
но зато тихо, спокойно.

Посмотреть на триумф Цезаря я, однако, от-
правился.

Посмотрим, посмотрим, что такое за Цезарь?
Ничего особенного.

Маленький, головастый.
Зато торжество! Торжество!
Боги бессмертные!

Подумаешь, отечество спас!
Какая-то галльская война! Неизвестно где! Не-
известно зачем!

С какими-то варварами! Дикарями!
Имел разговор с Вителлием. Мы пошли вместе.
— Награбил, я думаю, там, в Галлии-то?!
— Да, уж не без этого!

Легионы! Значки! Золотой венки! За колесницей вели пленных в цепях, военачальников с ярмом на шее, как волов.

Военачальники! Купил небось где-нибудь на базаре рабов. Нарядили военачальниками и водят!

— Ну, — Вителлий говорит, — какие же рабы! Посмотри, какие взгляды исподлобья. Страдают! Гордые и полные ненависти!

Я считал Вителлия умнее.

— Да если рабу пятьсот хороших палок закатить, — будет он на тебя с ненавистью смотреть! Застрадаешь! Как бить! Можно так исполосовать, — какие угодно взгляды, такие и будет делать! Взлупил хорошенько: «Смотри гордо! А то еще получишь!» С такой гордостью смотреть будет — одна прелесть. Спина-то своя!

Вителлий очень прост. Но меня-то этими штуками не так скоро подденешь.

— Галлия! Далеко Галлия! Здесь-то можно рассказывать что угодно. «Такие победы одержал, такие!» Мы в Галлии не были. Проверить не можем!

— Положим... — Вителлий говорит. — Но все-таки победы, донесения...

— Донести что угодно можно! Своя рука пишет! Да и по донесениям видно, хвастунишка! И больше ничего! Ну, что это за донесение? «Пришел, увидел, победил». Разве это донесение? Ты напиши обстоятельно, — как, когда кого, каким способом. Это я понимаю! Это донесение! А этак-то: «Пришел, увидел, победил»... Это и я написать сумею. Никогда и военачальником не был, а напишу. Только верь мне... Дивлюсь я на вас, граждане! Приедет человек неведомо откуда, расскажет сам про себя неведомо что, — а вы сейчас в ноги!

Эх, вы... распубликанцы!.. Удивительное дело, и как только этот Рим морочат! Всякий прохожимец, — хочет и морочит! Там где-то, из-за чего-то римскую же кровь льют, нагрябят, наживутся, приедут сюда, наскожут, наврут, — им же триумф! Полубог!.. Не глядел бы!

Вителлий свое:

— Ну, все-таки, знаешь... Кай Юлий... Цезарь...

— Ну, что такое Цезарь? Ну, скажи мне: что такое Цезарь?..

— Сенат постановил...

— И сенат — дурак!

Если весь народ дурак, откуда же сенату умным быть!

— Герой... Признан...

Вот дурачье... «Признан».

Им к барану прицепи надпись:

«Тигр».

Будут смотреть на барана и говорить:

— Тигр!

И бояться!!!

Вот черни суд.

ТЬфу! Даже противно!

С интересом ждал, когда за колесницей пойдут наемные ругатели.

От этих всегда всю правду узнаешь.

Старый, хороший обычай.

А то все «salve» да «ave», надо же, чтоб кто-нибудь да правду сказал.

Эти всю правду выложат. За это им и деньги платят.

Ждал.

Что-то кричать будут?

Надеялся!

Я думал: «вор», «мошенник», «трус», «лгун», — а они:

— Граждане! Запирайте ваших жен! Плеши-
вый соблазнитель въезжает в город!

Этот-то? Головастик? Гриб? Сморчок? Соблаз-
нитель? Воля ваша, по-моему, это просто реклама!

И ругателей теперь подкупать начали! Ни от
кого правды не узнаешь! После триумфа, чтоб по-
казать Вителлию всю его глупость, — пригласил
одного ругателя в винную торговлю.

Вителлий хотел непременно пригласить ко-
го-нибудь из сотников.

— Про подвиги нам расскажет!

Вранья-то я не слышал!

Я настоял на ругателе.

Зовут Курций.

Кипрское вино пьет, как воду.

Думал, что хоть вино ему язык развяжет.

Что хоть здесь-то, — между собутыльника-
ми, — о Цезаре что-нибудь решительное скажет.

Должна же быть у человека совесть.

Подливаю да подливаю.

— Ну, слушай! — говорю. — Юпитером закли-
наю! Ну, очисти совесть! Здесь никто не слышит!
Ну, скажи! Ну, что знаешь про Цезаря дурного?
Мошенник Цезарь или нет?

Куда тебе!

— Зачем! — говорит. — То дело публичное! Это
я всенародно, за колесницей, его ругаю. За это
деньги платят! А по совести...

За голову я схватился:

— Да разве его так по совести бы ругать следо-
вало!

Кричу, что велят, — а по совести говоря, по

убеждению... Прямо скажу... ничего дурного сказать не могу... Герой, что говорить... сын победы!

Даже глиняный кувшин со злости разбил!

Ну, разве не ясно, что подкуплен?

За угощение даже правды сказать не хочет!

Ясно, подкуплен!

Вителлий, — тоже, дурак, к вину присосался.

— Ну, что? — говорит. — Видишь? Вот! Моя правда была! Видишь?

Что я вижу?

Вижу, что ты дурак!

И что все вы дураки!

И больше ничего не вижу!

Вителлия заставил за угощение платить.

Дураки пусть и платят.

В тот день, когда убили Цезаря, — имел нравственное удовлетворение.

— Что? — говорю, — не говорил я вам, что этот человек плохо кончит?

И Вителлий и все соседи отнеслись ко мне с глубоким уважением:

— Марцелл был прав!

Пошел говор:

— Марцелл когда еще плохой конец всему этому предсказывал!

Теперь меня за провидца готовы были считать. То-то! А когда умный человек говорил, — не слушали.

Цезарь... полубог... Вот тебе и полубог!

Какие там Цезари! Никаких Цезарей! Все одни выдумки.

Цезари... герои... полубоги. Никаких ни Цезарей, ни героев, ни полубогов! Все равны. Я республи-

ликанец. Во второй раз я жил вскоре. При Августе Нероне. В этот раз меня звали Каем.

Я жил на берегу Тибра и имел небольшой участок земли в Кампанье. Жил, слава богам, и в эти времена недурно. Одни были в восторге:

— Веселые времена!

Другие говорили мрачно:

— Печальные времена!

А по-моему, времена как времена! Ничего особенного! Точно так же пили, ели, спали, — как и всегда. Женщины родили детей, мужчины болтали вздор.

Никакой разницы!

Я ходил в цирк, когда пускали бесплатно.

Не скажу, чтобы эти игры мне доставляли удовольствие.

В душе я всегда относился к ним с порицанием.

Конечно, в душе... Зачем болтать?

На самом деле такие ли теперь времена, чтоб людей травить дикими зверями, распинать на крестах или жечь на факелы?

К рабу на рынке приступа нет!

Я не говорю уже о греках-рабах.

Грек — это уж роскошь.

Не люблю я греков. Грек и двухсот плетей не выдержит.

Это вещь нежная. Баловство, а не раб!

Греки — это для матрон, для франтих. Статуи с них делать, спальни им купидонами расписывать, стихи в их честь сочинять.

Греки это вроде... собаки такие бывают, тонкие, голые, на длинных ногах, постоянно дрожат, в тепле их держать!

Я говорю о предметах первой необходимости.
О рабочем рабе.

Что в хозяйстве нужно. Без чего не проживешь.

Не говорю уже о рабе хорошей породы, — о каком-нибудь этаким германце здоровенном или галле, — на мускулы посмотришь, залюбуешься: лошады!

Куда там!

Этакую роскошь могут себе только большие хозяйства позволять!

Скиф-болван, — и к тому не приступись! Сириец паршивенький, — и к тому приступа нет.

Приходится пробавляться бабами, рабынями. От них хоть приплод!

Все-таки каждый год маленького продашь, что-нибудь да выручишь!

А иная, — старательная, — смотришь, и двух принесет.

(Эти малыши идут на откармливание мурен. Недурные цены любители поесть дают!)

И так везде, во всех хозяйствах.

Смотришь, — где прежде германцами землю обрабатывали, — теперь на баб перешли.

И в этакое-то время столько добра уничтожать?!

Для чего?! Для удовольствия?!

Разве можно так к людям относиться, — когда весь Рим без рабов как без рук?!

Здоровеннейший малый, — а его льву на съедение дают.

Смотреть жалко. Слезы на глаза навертываются...

Работать бы мог.

Конечно, я ходил на игры.

Все ходят. Отчего ж и не пойти, раз бесплатно.

Но возмущался.

И вот однажды, когда я смотрел и возмущался:

— Что делают! Что делают! Смотрите! Обсмолили да зажгли! Что от него, света, что ли, больше?

Что орет он, когда горит? Так из-за этого христианина губить?!

Когда я смотрел и возмущался, — Публий, мой сосед по дому, крепко сжал мне руку.

— Тебя это возмущает, Кай?!

— А тебя нет?!

— Я слов не нахожу, чтоб высказать свое негодование! Так поступать с христианами!

— Разумеется. И христианин может работаты! Продали бы.

Публий посмотрел на меня странно.

— Я по поводу жестокости, Кай! Несчастные жертвы! Мученики!

— Ну, это положим!.. Они христиане!

— Что ж из этого, Кай? Что ж из этого? За это мучить?

— Сами виноваты! Зачем они христиане!

— Кай, да ведь это глупости все, вздор, сказки, — что про них рассказывают! Ведь это для того, чтоб возбудить чернь против них! Дикую, темную, невежественную чернь! Будто они предаются разврату, убивают детей, пьют кровь! Ведь пойми ты, это религия! Новая религия, Кай! Религия, как всякая другая! Какая религия предписывает дурное?

— Тем хуже. Зачем исповедуют такую религию, за которую полагается казнь? Слава бессмертным богам! На свете много безопасных религий, за которые ничего не бывает. Выбирай любую и исповедуй. Зачем же еще новые выдумывать?

Публий смотрел на меня, вытаращив глаза.

И взгляд у него горел, словно Публий был в лихорадке.

— Да ты знаешь ли, Кай, это новое учение? Ты говоришь так потому, что его не знаешь!

— А ты знаешь, Публий?

— Да, я знаю. Я знаю!

— Вот что, Публий! — сказал я ему холодно и сухо. Я умею, когда нужно, как ножом отрезать. — Ты можешь знать, что тебе угодно. Но что знаешь, — знай про себя. Я узнавать таких учений, за которые полагается казнь, не желаю. Понял? Видишь, — вон ликтор с прутьями! Понимаешь?

Приказал жене, чтоб она с Публиевой женой прекратила знакомство. И дети чтоб не играли с детьми Публия.

Кто бережет себя, того берегут боги.

Так-то!

Пусть люди, выдумывающие новые религии, отправляются к зверям.

Я запрещенных учений не знал, не знаю и знать никогда не буду!

В третий раз я жил во времена Крестовых походов.

Трудные были времена.

Но жить можно.

Умному человеку всегда жить можно.

Бароны грабили.

Но бароны меня, я — мужика.

Так оно и шло.

На всем свете так. Рыба ест червя, человек — рыбу, а червь — человека. И все сыты!

Барон с меня, я — с мужика.

Глядишь:

— Переложил!

Полцехина еще в мою пользу осталось.

Не без удовольствия даже время проходило.

Турниры.

Мы — бюргеры. На турниры не ходили.

Но интересоваться — интересовались.

Сегодня одному барону на турнире голову вдребезги. Завтра другого копьём насквозь. Послезавтра третьего мечом пополам.

— Бароном меньше!

За турнирами следили с интересом. Как вдруг пошел кругом говор. Как море, всколыхнулось все.

— Святая земля! Иерусалим! Сарацины!

У меня тоже в семье приняли самое горячее участие. Жена, дочери на плащи кресты шили. Сын хлеб, которого не доест, на сухари сушил.

Разве мы не христиане! Я речи говорил.

Каждый почти вечер на площади:

— Разве не возмутительно?! Сарацины Святой землей владеют!!!

Епископ даже меня хвалил:

— Ревностен!

Я как все.

И вот двинулись крестоносцы.

Пришли к нам в город. Разместились по нашим домам. Стан вокруг города разбили. Едят, пьют, оружием звенят, духовные стихи поют.

— Мы за святое дело идем! Все ничего. Но когда у меня овцу зарезали:

«Для крестоносцев, что на святое дело идут», — тут извините!

— Палестину освобождай. Но зачем мою овцу трогать?

Тут мне и пришло в голову:

— Благочестиво ли? Крестовый поход этот самый? Кто попустил сарацинов Святою землю владеть? Господь. Все от Него. Что ж мы, в гордыне своей, сильнее Его, что ли, хотим быть? Желаем, чтоб Святая земля была освобождена, — что мы должны делать, как добрые христиане? Господа Бога молить, молебны служить, свечи ставить. Услышит наши молитвы — восхощет, освободит. А то: «Мы сами освободим!» На свои силы полагаться да чужих овец резать? Христианское ли дело затеяли? Согласно ли со смирением?

Разумеется, я эти мысли на площади не высказывал. На площади бывают и незнакомые люди. Кто же с незнакомыми людьми разговаривает?

А так говорил дома с друзьями. Никлаусу сказал, соседу. Никлаус даже подпрыгнул:

— Верно! Удивительно благочестиво рассуждаешь!

Да и пошел на площадь во все горло кричать. Никлауса растерзали.

Не кричи во все горло!

Мысль кроту должна быть подобна. Втайне, втихомолку, незаметно работать. Тогда она и сильна. А вылез крот наружу, — тут кроту и конец.

Меня и архиепископ похвалил. При всей публике.

— Вот Фохт! Не нечестивому Никлаусу чета! У него овцу зарезали, — а и то ничего не говорит!

— Я, — говорю, — ваше преосвященство, ежели у меня мысль сомнительная и явится, — я ее в тайниках моей души держу. Как в тюрьму запираю. Иногда друзьям расскажу. Ведь и узников из тюрьмы пускают погулять. Но чтобы совсем ее на

свободу выпустить! На площади! На улицы! Ведь это все равно что разбойника пустить на свободе по городу бегать.

— Так вперед всегда и поступай!

Принял благословение и похвалу со смирением. Проповедником сделался. К крестоносцам речи держал:

— Спешите, летите, воинство небом благословенное! Ждет, томится по вас Святая земля! Изнывают святыни под властью неверных! Спешите, поспешайте!

Пусть убираются.

Может, их там сарадины перережут!

И что ж бы вы думали?

И тут я оказался прав.

Не успели они до Палестины дойти — все погибли!

Тут я, я первый, окрестил их на вечные времена:

— Сволочью Петра Амьенского!

Удивительное дело!

Какому-то Петру Амьенскому позволяют народ булгачить, войска собирать, на войну идти, города в убыток вводить, чужих овец резать. Чего начальство смотрит? Видел я этого Петра Амьенского.

Пустынник как пустынный. Ничего особенного!

— Босой! Босой!

Да и я сапоги сниму — босой буду. Нашли чему радоваться!

Засадить бы его сразу за появление в общественном месте в неприличном виде — никаких бы и Крестовых походов не было. И овцы у добрых людей были бы целы.

— Крестовые походы! Крестовые походы!

Никаких и Крестовых походов не было. Просто — попущение начальства.

В предпоследний раз я жил в Париже. В конце 18-го века.

Натерпелся.

Помню один денек:

— 10-е августа.

1792 года.

Всю ночь не спали.

В полночь набат ударил. И всю ночь над Парижем стоял. По улицам факелы, передвигаются отряды. Национальная гвардия. «Граждане» с пиками.

— С пиками!

Вы только подумайте!

Утром, — слышим, — пальба.

— Ну, ну! Как они там из пик в ответ стрелять будут?

А как грянула пушка, мы все за голову схватились.

— Погибло народное дело!

Еще пушка, еще!

Как? Так рисковать судьбой всей нации?

С голыми руками, «с пиками», — извольте ли видеть, «с пиками»! — на пушки лезть!

И кто все поднял?

В нашем же доме жили Люсиль Дюмулен и madame Дантон.

— Вот чьи мужья!

Я всегда любил наци. Для меня нация выше всего.

— Свобода, равенство, братство! И вот теперь все это гибнет.

Пушка!

— И из-за чего?! Из-за кого! Граждане? Ка-

кой-то несчастный писака, возомнивший о себе! Заика, дрянь! Какой-то адвокатишка без практики! Им нечего терять!

Пушка!

— А?! Вы спрятались, сударыни!

Обе дамы сидели ни живы ни мертвы. Дантонша, та совсем в обмороке лежала. Дюмуленша, вся в слезах, еще кое-как держалась.

Пушка!

— А? Вы страдаете? Ваши сердца обливаются кровью за ваших мужей? Как же мы должны страдать? Как наши сердца должны обливаться кровью за страну? За нацию? За свободу? За равенство? За братство? Все, все погибло!

Пушка!

Нет, вы вообразите себе наглость этих дам.

К соседям присылают:

— Нет ли чашки кофе для madame Дантон!

Тут уж меня взорвало.

Пушка!

— Гражданки! Граждане! В древнем, в доблестном Риме граждан, которые навлекли на отчизну такое бедствие, и их семьи лишили бы огня и воды! В Риме, с которого мы все должны брать пример гражданской доблести! Не давать этим дамам кофе.

Пушка!

Наши дамы было разорвать их хотели.

Я остановил:

— Гражданки, не надо! Зачем? Мы их просто свяжем и передадим королевским комиссарам, по начальству. Те уж знают, что с ними сделать!

Пушка!

И вдруг все смолкло.

Ужасные полчаса.

И вдруг бегут люди, кричат:

— Свобода! Свобода!

Оказывается — ошибка.

Мы думали, что это из Тюльери из пушек палят. А оказывается, пушки-то были у наших.

Это наши стреляли. Наши!

Вот была радость!

Я плясал.

А через час вдруг подъезжает карета.

— Здесь живет гражданка Дантон, супруга гражданина министра юстиции?

Разумеется, мы не дали гражданке Дантон идти в карету.

Разумеется, донесли ее на руках.

Я имел счастье передать гражданке Дантон чашку черного кофе в карету.

Пусть выпьет дорогой.

Ничего, что у меня чашка пропадет. Такое событие! Да она и не из сервиза.

А гражданке Люсиль Дюмулен я имел удовольствие поднести цветы.

Не знаю уж даже, откуда у меня и цветы взялись.

Словно нарочно в квартире выросли.

Гражданку Дюмулен я видел еще только раз.

В трудную минуту ее жизни.

Когда ее провозили на казнь.

Она ехала в подвенечном платье.

— К своему Камиллу!

Мне это тогда не понравилось.

— По-моему, так ехать на казнь даже неприлично!

Это значит афишироваться.

Я тогда же сказал об этом соседям.

Я не привык скрывать своих мыслей.

Что говорю, то и думаю.

— Зачем такая реклама?

Ну, что такое был Дюмулен?

Журналист как журналист. Ничего особенного.

Теперь мне жить, прямо скажу, трудно.

На две газеты должен подписываться.

На «Товарища» был подписан и на «Новое Время».

«Товарищ» — для души. «Новое Время» — для знакомых.

Я человек семейный.

Семейному человеку без «Нового Времени» нельзя.

«Новое Время» — что на дверях дощечка:

— Застрахован в обществе «Якорь».

У меня всякий народ бывает.

Пусть видят, — на столе «Новое Время»

— Что? Выкусили?

Для души выписывал «Товарища»

Хорошо писали!

Но когда «Товарища» закрыли, я, конечно, осудил:

— Порядочных органов и так мало. Какое же право они имели, с общественной точки зрения, рисковать? Рисковать газетой? С печатным словом, господа, надо обращаться бережно!

Разве я не прав?

Подписываться на газету на год, и вдруг через два месяца...

Но я, конечно, не об этом.

Не в подписных деньгах дело, а в принципе.

Честный орган печати — его хранить надо. Освободительное движение нуждается...

Батюшки, пока размышлениям предавался, кошелек из кармана свистнули.

— Вот вам и ваше освободительное движение!

Вокруг ИСКУССТВА





Шляпин в «Мефистофеле»

(Из миланских воспоминаний)

Представление «Мефистофеля»

начиналось в половине девятого.

В половине восьмого Арриго Бойто разделся и лег в постель.

— Никого не пускать, кроме посланных из театра.

Он поставил на ночной столик раствор брома. И приготовился к «вечеру пыток». Словно приготовился к операции. Пятнадцать лет тому назад «Мефистофель» в первый раз был поставлен в «Скала».

Арриго Бойто, один из талантливейших поэтов и композиторов Италии, долго, с любовью работал над «Мефистофелем».

Ему хотелось воссоздать в опере гетевского «Фауста» вместо рассиропленного, засахаренного, кисло-сладкого «Фауста» Гуно.

Настоящего гетевского «Фауста». Настоящего гетевского Мефистофеля.

Он переводил и укладывал в музыку гетевские слова.

Он ничего не решался прибавить от себя.

У Гете Мефистофель появляется из пуделя.

Это невозможно на сцене.

Как сделать?

Бойто бьется, роется в средневековых немецких легендах «о докторе Фаусте, продавшем свою душу черту».

Находит!

В одной легенде черт появляется из монаха.

15 лет тому назад «Мефистофель» был поставлен в «Скала».

Мефистофеля исполнял лучший бас того времени. 15 лет тому назад публика освистала «Мефистофеля». Раненный в сердце поэт-музыкант с тех пор в ссоре с миланской публикой.

Он ходит в театр на репетиции. На спектакль — никогда.

Мстительный итальянец не может забыть.

«Забвенья не дал бог, да он и не взял бы забвенья». Он не желает видеть:

— Этой публики!

Затем «Мефистофель» шел в других театрах Италии. С огромным успехом. «Мефистофель» обошел весь мир, поставлен был на всех оперных сценах. Отовсюду телеграммы об успехе.

Но в Милане его не возобновляли.

И вот сегодня «Мефистофель» апеллирует к публике Милана.

Сегодня пересмотр «дела об Арриго Бойто, написавшем оперу «Мефистофель».

Пересмотр несправедливого приговора. Судебной ошибки.

В качестве защитника приглашен какой-то Шаляпин, откуда-то из Москвы.

Зачем? Почему?

Говорят, он создал Мефистофеля в опере Гуно. А! Так ведь то Гуно! Нет на оперной сцене артиста.

который создал бы гетевского Мефистофеля, настоящего гетевского Мефистофеля. Нет!

На репетиции Бойто, слушая свою оперу, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Мне кажется, в этой опере есть места, которые не заслуживают свиста!

Он слушал, он строго судил себя.

Он вынес убеждение, что это неплохая опера.

Но спектакль приближается. Бойто не в силах пойти даже за кулисы.

Он разделся, лег в постель, поставил около себя раствор брома.

— Никого не пускать, кроме посланного из театра!

И приготовился к операции.

* * *

Так наступил вечер этого боя.

Настоящего боя, потому что перед этим в Милане шла мобилизация.

* * *

Редакция и театральное агентство при газете «Театр» полны народом.

Можно подумать, что это какая-нибудь политическая сходка. Заговор. Лица возбуждены. Жесты полны негодования. Не говорят, а кричат.

Всех покрывает великолепный, «как труба», бас г-на Сабаллико:

— Что же, разве нет в Италии певцов, которые пели «Мефистофеля»? И пели с огромным успехом? С триумфом?

Г-н Сабаллико ударяет себя в грудь.

Восемь здоровенных басов одобрительно крикают.

— Я пел «Мефистофеля» в Ковенгартенском театре, в Лондоне! Первый оперный театр в мире!

— Я объездил с «Мефистофелем» всю Америку! Меня в Америку выписывали!

— Позвольте! Да я пел у них же в России! Все басы, тенора, баритоны хором решили: «Это гадость! Это гнусность!»

— Кто же будет приглашать нас в Россию, если в Италию выписывают русских певцов? — выводил на высоких нотах какой-то тенорок.

— Выписывать на гастроли белого медведя! — ревели баритоны.

— Надо проучить! — рявкали басы.

У меня екнуло сердце.

— Все эти господа идут на «Мефистофеля»? — осведомился я у одного из знакомых певцов.

— Разумеется, все пойдем!

Редактор жал мне, коллеге, руку. По улыбочке, по бегающему взгляду я видел, что старая хитрая bestия готовит какую-то гадость.

— Заранее казнить решили? — улыбаясь, спросил я.

Редактор заерзал:

— Согласитесь, что это большая дерзость ехать петь в страну певцов! Ведь не стал бы ни один пианист играть перед вашим Рубинштейном! А Италия — это Рубинштейн!

Директор театрального бюро сказал мне:

— Для г-на Скиаляпино¹, конечно, есть спасе-

¹ Так итальянцы читали фамилию «Шалапин».

нье. Клака. Купить как можно больше клаки, — будут бороться со свистками.

Мы вышли вместе со знакомым певцом.

— Послушайте, я баритон! — сказал он мне. — Я Мефистофеля не пою. Мне ваш этот Скиаляпино не конкурент. Но однако! Если бы к вам, в вашу Россию, стали ввозить пшеницу, что бы вы сказали?

Секретарь театра «Скала» сидел подавленный и убитый:

— Что будет? Что будет? Выписать русского певца в «Скала»? Это авантюра, которой нам публика не простит!

* * *

Супруге Ф.И. Шаляпина в его отсутствие подали карточку:

«Синьор такой-то, директор клаки театра «Скала».

Вошел «джентльмен в желтых перчатках», как их здесь зовут. Развалился в кресле.

— Мужа нет? Жаль. Ну, да я поговорю с вами. Вы еще лучше поймете. Вы сами итальянская артистка. Вы знаете, что такое здесь клака?

— Да. Слыхала. Знаю.

— Хочет ваш муж иметь успех?

— Кто ж из артистов...

— Тенор, поющий Фауста, платит нам столько-то. Сопрано, за Маргариту, — столько-то. Другое сопрано, за Елену, — столько-то! Теперь ваш муж! Он поет заглавную партию. Это стоит дороже.

— Я передам...

— Пожалуйста! В этом спектакле для него все. Или слава, или ему к себе в Россию стыдно будет

вернуться! Против него все. Будет шиканье, свистки. Мы одни можем его спасти, чтобы можно было дать в Россию телеграмму: «Successo colossale, triumpho completto, tutti arii bissati».

Заплатит... Но предупреждаю: как следует заплатит — успех... Нет...

Он улыбнулся:

— Не сердитесь... Ха-ха! Что это будет! Что это будет! Нам платят уже его противники. Но я человек порядочный и решил раньше зайти сюда. Может быть, мы здесь сойдемся. Зачем же в таком случае резать карьеру молодого артиста?

И Спарафучилле откланялся:

— Итак, до завтра. Завтра ответ. Мой поклон и привет вашему знаменитому мужу. И пожелание успеха. От души желаю ему иметь успех!

На следующий день в одной из больших политических газет Милана появилось письмо Ф. И. Шаляпина.

«Ко мне в дом явился какой-то шеф клаки, — писал Шаляпин, — и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это и не в наших нравах. Я привез публике свое художественное создание и хочу ее, только ее свободного приговора: хорошо это или дурно. Мне говорят, что клака — это обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой».

* * *

В галерее Виктора-Эммануила, на этом рынке певцов, русские артисты сидели отдельно за столиками в кафе Биффи.

— Шаляпин кончен!
— Сам себя зарезал!
— Как так? Соваться, не зная обычаев страны.
— Как ему жена не сказала?! Ведь она сама итальянка!

— Да что ж он такого сделал, — спросил я, — обругал клакеров?

— Короля клакеров!!!
— Самого короля клакеров!
— Мазини, Таманьо подчинялись, платили!
А он?

— Что они с ним сделают! Нет, что они с ним сделали!

— Скажите, — обратился ко мне один из русских артистов, — вы знакомы с Шаляпиным?

— Знаком.

— Скажите ему... от всех от нас скажите... Мы не хотим такого позора, ужаса, провала... Пусть немедленно помирится с клакой. Ну, придется заплатить дорожке. Только и всего. За деньги эти господа готовы на все. Ну, извинится, что ли... Обычай страны. Закон! Надо повиноваться законам!

И он солидно добавил:

— *Dura lex, sed lex!*

— С таким советом мне стыдно было бы прийти к Шаляпину!

— В таком случае пусть уезжает. Можно внезапно заболеть. По крайней мере, хоть без позора!

Певцы-итальянцы хохотали, болтали с веселыми, злорадными, насмешливыми лицами.

Вся галерея была полна Мефистофелями.

— Ввалился северный медведь и ломает чужие нравы!

— Ну, теперь они ему покажут!

— Теперь можно быть спокойными!
Один из приятелей-итальянцев подошел ко мне:
— Долго остаетесь в Милане?
— Уезжаю сейчас же после первого представления «Мефистофеля».

— Ах, вместе с Скиаляпино!
И он любезно пожал мне руку.
«Король клаки» ходил улыбаясь, — демонстративно ходил, демонстративно улыбаясь, — на виду у всех по галерее и в ответ на поклоны многозначительно кивал головой.

К нему подбегали, за несколько шагов снимая шапку, подобострастно здоровались, выражали соболезнование.

Словно настоящему королю, на власть которого какой-то сумасшедший осмелился посягнуть.

Один певец громко при всех сказал ему:

— Ну, помните! Если вы эту штуку спустите, — мы будем знать, что вы такое. Вы — ничто, и мы вам перестанем платить. Зачем в таком случае? Поняли?

Шеф клаки только многозначительно улыбался.

Все его лицо, глаза, улыбка, поза — все говорило:

— Увидите!

Никогда еще ему не воздавалось таких почестей, никогда он не видел еще такого подобострастия. На нем покоились надежды всех.

* * *

— Слушайте, — сказал мне один из итальянских певцов, интеллигентный человек, — ваш Скиаляпино сказал то, что думали все мы. Но чего никто не решался сказать. Он молодчина, но ему свернут голову. Мы все...

Он указал на собравшихся у него певцов, интеллигентных людей, — редкое исключение среди итальянских оперных артистов.

— Нам всем стыдно, — стыдно было читать его письмо. Мы не артисты, мы ремесленники. Мы покупаем себе аплодисменты, мы посылаем телеграммы о купленных рецензиях в театральные газеты и платим за их помещенье. И затем радуемся купленным отчетам о купленных аплодисментах. Это глупо. Мы дураки. Этим мы, артисты, художники, поставили себя в зависимость, в полную зависимость от шайки негодяев в желтых перчатках. Они наши повелители — мы их рабы. Они держат в руках наш успех, нашу карьеру, судьбу, всю нашу жизнь. Это унижительно, позорно, нестерпимо. Но зачем же кидать нам в лицо это оскорбление? Зачем одному выступать и кричать: «Я не таков. Видите, я не подчиняюсь. Не подчиняйтесь и вы!» Когда без этого нельзя! Поймите, нельзя! Это так, это заведено, это вошло в плоть и кровь. Этому и посильнее нас люди подчинялись. Подчинялись богатыри, колоссы искусства.

Этому вашему Скиаляпино хорошо. Ему свернут здесь голову, освищут, не дадут петь, — он сел и уехал назад к себе. А нам оставаться здесь, жить здесь. Мы не можем поступать так. «Вы покупаете аплодисменты! Вы в рабстве у шайки негодяев!»

— Да и что докажет ваш Скиаляпино? Лишний раз все могущество шайки джентльменов в желтых перчатках! Они покажут, что значит идти против них! Надолго отобьют охоту у всех! Вот вам и результат!

Эти горячие возражения сыпались со всех сторон.

— Но публика? Но общественное мнение? — возразил я!

— Ха-ха-ха! Публика!

— Ха-ха-ха! Общественное мнение!

— Публика возмущена!

— Публика?! Возмущена?!

— Он оскорбил наших итальянских артистов, сказав, что они покупают аплодисменты!

— Общественное мнение говорит: не хочешь подчиняться существующим обычаям — не иди на сцену! Все подчиняются, что ж ты за исключение такое? И подчиняются, и имеют успех, и отличные артисты! Всякая профессия имеет свои неудобства, с которыми надо мириться. И адвокат говорит: «И у меня есть в профессии свои неудобства. Но подчиняюсь же я, не ору во все горло!» И доктор, и инженер, и все.

— Но неужели же никто, господа, никто не сочувствует?

— Сочувствовать! В душе-то все сочувствуют. Но такие вещи, какие сказал, сделал ваш Скиаляпино, — не говорятся, не делаются.

— Он поплатится!

И они все жалели Шаляпина:

— Этому смельчаку свернут голову!

* * *

Мне страшно, прямо страшно было, когда я входил в театр.

Сейчас...

Кругом я видел знакомые лица артистов. Шеф-клаки, безукоризненно одетый, с сияющим видом именинника, перелетал от одной группы каких-то подозрительных субъектов к другой и шушукался.

Словно полководец отдавал последние распоряжения перед боем.

Вот сейчас я увижу проявление «национализма» и «патриотарства», которые так часто и горячо проповедуются у нас.

Но почувствую это торжество на своей шкуре.
На русском.

Русского артиста освищут, ошिकाют за то только, что он русский.

И я всей болью души почувствую, что за фальшивая монета патриотизма это «патриотарство». Что за несправедливость, что за возмущающая душу подделка национального чувства этот «национализм».

Я входил в итальянское собрание, которое сейчас казнит иностранного артиста только за то, что он русский.

Какая нелепая стена ставится между артистом, талантом, гением и публикой!

Как испорчено, испакощено даже одно из лучших наслаждений жизни — наслаждение чистым искусством!

Как ужасно чувствовать себя чужим среди людей, не желающих видеть в человеке просто человека!

Все кругом казались мне нелепыми, дикими, опьяненными, пьяными.

Как они не могут понять такой простой истины? Шаляпин — человек, артист. Суди его как просто человека, артиста.

Как можно собраться казнить его за то, что:
— Он — русский!

Только за это.

Я в первый раз в жизни чувствовал себя «иностранцем», чужим.

Все был русский и вдруг сделался иностранец.

В театр было приятно идти так же, как на казнь.

Я знаю, как «казнят» в итальянских театрах.

Свист — нельзя услышать ни одной ноты.

На сцену летит что попадет под руку.

Кошачье мяуканье, собачий вой.

Крики:

— Долой!

— Вон его!

— Собака!

* * *

Повторять об успехе значило бы повторять то, что известно всем.

Дирижер г-н Тосканини наклонил палочку в сторону Шаляпина.

Шаляпин не вступает.

Дирижер снова указывает вступление.

Шаляпин не вступает.

Все в недоумении. Все ждут. Все «приготовились».

Дирижер в третий раз показывает вступление.

И по чудному театру «Скала», — с его единственным, божественным резонансом, — расплывается мягкая, бархатная могучая нота красавца-баса.

— Ave Signor!

— А-а-а! — проносится изумленное по театру. Мефистофель кончил пролог. Тосканини идет дальше.

Но громовые аккорды оркестра потонули в реве:

— Скиаляпино!

Шаляпина, оглушенного этим ураганом, не соображающего еще, что же это делается, что за рев, что за крики, выталкивают на сцену.

— Идите! Идите! Кланяйтесь!

Режиссер в недоумении разводит руками:

— Прервали симфонию! Этого никогда еще не было в «Скала».

Театр ревет. Машут платками, афишами. Кричат:

— Скиаляпино! Браво, Скиаляпино!

Где же клака?

Когда Шаляпин в прологе развернул мантию и остался с голыми плечами и руками, один из итальянцев-Мефистофелей громко заметил в партере:

— Пускай русский идет в баню.

Но на него так шикнули, что он моментально смолк.

С итальянской публикой не шутят.

— Что же «король клаки»? Что же его банда джентльменов в желтых перчатках? — спросил я у одного из знакомых артистов.

Он ответил радостно:

— Что ж они? Себе враги, что ли? Публика разорвет, если после такого пения, такой игры кто-нибудь свистнет!

Это говорила публика, сама публика, и ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, когда говорила правда, когда говорил художественный вкус народа-музыканта.

Все посторонние соображения были откинута в сторону.

Все побеждено, все сломано.

В театре гремела свои радостные, свои торжествующие аккорды правда.

* * *

Пытки начались.

Прошло полчаса с начала спектакля. Арриго Бойто, как на операционном столе, лежал у себя на кровати. Звонок.

— Из театра.

— Что?

— Колоссальный успех пролога.

Каждые полчаса посланный:

— *Fischio* повторяют!

— Скиаляпино овация!

— Сцена в саду — огромный успех!

— *Esso il mundo* — гром аплодисментов!

Перед последним актом влетел один из директоров театра.

— Фрак для маэстро! Белый галстук! Маэстро, вставайте! Публика вас требует! Ваш «Мефистофель» имеет безумный успех!

Он кинулся целовать бледного, взволнованного, поднявшегося и севшего на постели Бойто.

— Все забыто, маэстро! Все искуплено! Вы признаны! Публика создалась в ошибке. Все забыто! Забыто, не так ли? Идите к вашей публике. Она ваша. Она вас ждет!

— А Мефистофель? — спрашивает Бойто. — Это не такой, каких видели до сих пор? Увидали, наконец, такого Мефистофеля, какой мне был нужен? Это гетевский Мефистофель?

— Это гетевский. Такого Мефистофеля увидели в первый раз. Это кричат все.

— В таком случае я завтра пойду посмотреть в закрытую ложу.

И Бойто повернулся к стене:

— А теперь, дружище, оставьте меня в покое. Я буду спать. Я отомщен.

Неясные времена

(два романа)

К читателю. Прилагаемые произведения представляют собою два отрывка из двух романов. Первый — из аристократической жизни — принадлежит перу «постоянного читателя газет» мещанина Сидорова, и написан им, как говорит автор в предисловии, «на основании догадок, толков и наблюдений над свершающимися фактами общественной жизни». Другой роман, рисующий деревенскую жизнь, принадлежит перу графини Зизи Загорецкой. В предисловии, написанном голубыми чернилами на японской бумаге, говорится, что «роман этот, представляющий точную фотографию современной крестьянской жизни, направлен ко благу отечества и написан на основании личных летних наблюдений, рассказов одного бывшего штаб-ротмистра, а ныне земского начальника, а также постоянного чтения журнала «Гражданин». Оба эти отрывка войдут со временем в наш колоссальный, необъятный по размерам труд, который будет носить название:

«Как русские понимают друг друга».

I

В аристократических сливках

(роман мещанина Сидорова)

В 12 часов дня в роскошных покаях графа Закулды-Закулдайского сидели гости, ели ломтями ананасы и пили большими стаканами шампанское.

— Господа, — воскликнул, поднимаясь с места, граф Егозин, — позвольте провозгласить тост! За скорейшее возобновление крепостного права!

— Ура! — дружно грянули все присутствующие и полезли чокаться с графом.

— Да, любезнейший граф, — сказал князь Болтай-Болдаревский, — конечно, в возобновлении крепостного права единственный путь к спасению России. Но не следует забывать о другой, весьма важной реформе, которая должна сопутствовать. О введении всеобщего, повсеместного и ежечасного дранья. Лоза! Лоза, — говорю я, — вот орудие. От розги произрастет то дерево жизни, которое покроет тенью благополучия родную Русь!

— Ура! — крикнули было присутствующие, но их остановил князь Тугоуховский-младший.

— Да! Но не разучился ли наш распущенный народ пороться? Не потерял ли он привычки?

— Не потерял! — с живостью воскликнул граф Егозин. — Не потерял! Напротив, народ только и жаждет, чтоб его пороли! Со мной был случай...

— Неужели вас? — с испугом воскликнула княжна Кики.

— Не меня, а я! — внушительно отпарировал граф. — Гошу я в деревне и куда ни пойду, мужик

за мной, погорелец. У меня в деревне, надо вам сказать, березовый лес чудный. Ходит за мной и канючит: «Березки бы мне, ваше сиясь!» Не могу я в толк взять: чего ему от меня нужно? Но вдруг меня словно осенило. «Эврика!» Завел я его в лес, разложил и всыпал. И что ж вы думаете? Успокоился! Встал, почесался, сказал: «Здорово». Сам признал, что ему это здорово. И побежал стремглав поделиться радостью с семейством. С тех пор он больше не нищенствовал. А к высшим преисполнился такого благоговения, что, как завидит меня издали, бросается бежать сломя голову других о моем приближении оповещать!

— Да, но земство! Земство! — воскликнул барон Гамбринус. — Земство — вот наша язва. Земство, которое ходатайствует об окончательном упразднении порки!..

— Какое это земство? — с удивлением спросила Мими.

— А вот которое о дорогах заботится. Дороги строит.

— Ах, это! — рассмеялась княжна. — Его надо упразднить. Кузен Поль отлично говорит. Вы знаете, он «вице». У него уж и проект готов. Земские собрания разгонять при помощи пожарных!

— Как так пожарных? — заинтересовалось все общество и даже перестало пить шампанское.

— А так! Как соберутся земские в собрание, окружить дом пожарными и пустить воду из брандсбоев в собрание. И разгонять не надо, — сами разбегутся.

— Но кто ж тогда с дорогами будет возиться? — наивно спросила баронесса Нини. — Такое неприятное дело!

— Поль говорит: «мы». У него и на это проект готов. Он «вице», но когда его сделают «самим», он говорит: «Прикажу, чтоб крестьяне не смели в город ездить. Чего им там делать? Пусть дома сидят и землю пашут. Вот и не нужно будет никаких дорог». Просто, хорошо и экономия.

— Все это так, — меланхолически воскликнул князь Репов-Морковский, — все это так! Но у нас есть ближе враг, которого надо упразднить. Суд присяжных так называемый! Суд, где говорят людям: «Убей мать твою, и отца твоего, и детей твоих, и мужа твоего, и всех ближних твоих — и приходи к нам, оправдаем!» Суд, где проповедуют: «Убей!», «Укради!», «Прелюбодействуй!» Вот язва! Вот что надо упразднить прежде всего.

— Да! Упразднить! И, кроме того, пересмотреть уложение! Теперь его пересматривают, но разве это пересмотр? — воскликнул граф Забодай-Бодаевский. — Пересмотреть и вместо всякого суда ввести просто смертную казнь. Вешать просто и вешать за ребро!

— За ребро! Это очень стильно — за ребро! — протянула графиня Додо и вытянула свои ножки в ажурных чулочках.

— Да, но прежде всего надо упразднить школы, — пискливым голосом воскликнул юный графчик Подскребыш-Закатальский, — школы упразднить!

— Какие?

— Всекие!

— Я не понимаю даже, — воскликнула, пожав плечами, баронесса Лили, — зачем грамота, когда нечего читать? Что может мужик прочесть в наших так называемых толстых журналах? Я поняла

бы еще, если б мужиков учили французской грамоте. Там хоть есть литература!

— *Ca viendra!* — успокоил ее на самом лучшем французском языке Тугоуховский-младший и, обратившись к сидевшему тут же монахскому посланнику, шутливо спросил его:

— Ты что же сидишь, как кикимора? Что скажет Европа, если ввести такие реформы для русского народа?

— Русский народ — свинь! — улыбнулся тот. Еуроп нишево кафарить не будет. Сэки, дюша мой, зделай твае одолженные!

Все рассмеялись, бодро допили шампанское и поехали всей компанией к Палкину, где и спросили двухрублевый обед.

II

Простонародье

(роман княжны Зизи Загорецкой)

Было 11 часов утра. Только что вставший пьяный мужик Никита Бегемотов бил свою жену Анисью и говорил странные и непонятные слова.

Многострадальная пьяница-женщина после двадцать второго удара спросила:

— За что ж ты меня бьешь?

— Кого люблю, того и бью! — отшутился Никита. — Пошла стряпать! Сейчас к нам придут гости. Ты что нынче готовишь-то?

— Курицу с рисом! — ответила Анисья.

— Самый лучший способ, как дешевле всего приготовить курицу, такой: взять у соседа поти-

хоньку курицу, ощипать ее живую и положить в самовар. И чай «вкуснее», и курица уварится.

В это самое время в избу вошел мужик Аким.

Войдя, он, конечно, не перекрестился, потому что у Никиты, который учился в земской школе, образов в избе не было, а в так называемом переднем углу висел портрет Фердинанда Лассалья.

Вошедший Аким и Никита ударили, по грубости нравов, друг друга по уху, меряя силу, обругались самыми ужасными словами, и между ними произошел следующий шуточный разговор:

— Водку пьешь?

— Пью.

— В трактир ходишь?

— Хожу.

— Подати платишь?

— Замолол!¹

Все расхохотались, и Аким с Никитой в ожидании завтрака выпили ведро водки и пошли развлекаться жестоким обращением с животными.

Они вырвали ногу бегавшей курице, завязали узлом хвост корове, выломали четыре особенно выдававшихся ребра у бедной старой лошади и повесили за задние ноги собаку, привязав к ее морде за хвост кошку, так что весь двор наполнился адским ревом, и они не слышали, как подъехал уездный земский начальник взыскивать подати.

Аким и Никита немедля убили уездного земского начальника, спрятали труп в солому и пошли завтракать.

— Подкрепим свои силы, — сказал Никита, —

¹ Разговор записан с буквальной точностью со слов кузена Вово, отлично знающего деревню.

и потом составим прошение, что мы голодающие, и поедем к соседнему помещику рубить его лес!

— Отлично! — смеясь, сказал Аким. — Но как же мы поедем назад в темноте? Это далеко!

— А мы подожжем его усадьбу! — захохотал Никита.

— Ура! — воскликнул Аким и стал пить водку. Так живет русский народ!!!

С подлинным верно.

Вчера я получил странную книгу.

Формат — трехугольный.

В ней 36 страниц, из которых 30 — пустые.

Сначала я думал, что это какая-нибудь книжка для записи белья, отдаваемого прачке, но, перелистав, увидел, что в ней там-сям разбросаны литературные произведения.

Она издана на необыкновенно толстой китайской бумаге, вероятно, очень дорогой; вместо брошюровки связана желтыми шелковыми шнурами и насквозь продушена какими-то чрезвычайно крепкими, чрезвычайно сладкими и вместе с тем противными духами.

Вы можете сколько вам угодно мыть руки — от этих духов не отмоетесь.

Раз вы дотронулись до книги — все погибло.

Чего бы вы ни коснулись рукой, — все пахнет этими чрезвычайно сильными, сладкими и противными духами.

Ваше платье, ваш письменный стол, ваши бумаги.

Книга носит название:

ЧЕТВЕРТЬ НАМЕКА
(Литература будущего)

На обороте ее напечатано:

«Издано в количестве 36 экземпляров, из них 25 рассылаются истинным знатокам и любителям поэзии. Остальные 11 поступают в продажу. Цена книги теперь 1000 рублей. Через 10 лет она будет стоить 50 копеек, потому что такова будет вся литература».

Так как не у всякого может найтись в данную минуту свободная тысяча рублей, чтоб купить эту книгу, я позволю себе ее перепечатать.

Четверть намека

(Литература будущего)

Предисловие

Многоуважаемый читатель! Совсем не уважаемый читатель! Дорогой читатель или, быть может, просто каналья-читатель! Почему я знаю, кто ты, читающий в эту минуту, далекий, неизвестный, загадочный сфинкс?!

В этой книге нет слов, — она написана звуками. Из тридцати шести страниц только на шести кое-что напечатано, — и ты скажешь:

— Пустая книга!

Ты глуп. Ты едешь очаровательной, чудной дорогой. Куда ни погляди, — дивные виды. Сначала ты смотришь с удовольствием, с увлечением, с восторгом. Потом утомляешься. Не глядишь. Не замечаешь самых красивых видов. Ты пресыщен ими. Ты объелся ими. И ты, равнодушный, проходишь, не замечая, мимо самых красивых пейзажей, как мимо великолепного окорока ветчины после сытного обеда. Тьфу!

Но ты едешь по Сахаре. Пустыня, пустыня, пустыня. Не на чем остановить глаза. И вдруг...

И вдруг на песке лежит бантик. Голубенький бантик среди пустыни! Как он попал сюда? Кто б это мог быть? Когда? Откуда? Зачем?

И твое воображение рисует тебе ряд картин. Молодая девушка... Ее похитили бедуины... Она боролась... Она сопротивлялась... Ее увлекли в пустыню... Безумный бег коней... Разметавшиеся волосы девушки, которую держат поперек седла... Бантик, вырванный ветром из волос...

И, быть может, в эту, в эту самую минуту темно-бронзовый бедуин, в белом тюрбане, сверкая зубами, наклоняется к бледной белокурой девушке, полуживой, которая лежит, разметавшись, под пальмой. Он касается ее бледных губ своими черными, запекшимися, сухими, огненными губами... Брр!..

Как работает твоя фантазия! Ты уже художник, ты поэт! Ты рисуешь в своем воображении, ты сочиняешь, ты творишь!

Настоящая книга сделает тебя, тебя самого, художником, поэтом!

С книгами ведь то же. Ты читаешь первую, вторую, третью страницу с интересом, с увлечением, смакуешь. Затем ты объелся книгой, объелся мыслями, объелся словами. И равнодушно, едва замечая, проходишь мимо лучших, быть может, мыслей, не замечаешь удачнейших выражений.

Нет, проголодайся, перелистывая пустые страницы, и пусть твоя наголодавшаяся фантазия нарисует тебе целую картину по обрывку слова, который ты встретишь.

Дразнить и не утолять голода — вот лучший способ доставить наслаждение.

Не требуй ничего реального. Даже слова. Слово уже реально.

Только звуки. Ничего, кроме звуков... Ничего!

Цель писателя-художника — создать картину, вызвать настроение. Мы достигаем этого, не прибегая к словам. Одними звуками!

I

Осенний дождь в усадьбе

(Элегическая поэма)

Кап... Кап... Кап... Кап, кап, дррр. Кап, кап, фррр. Кап, кап, мррр... Кап, кап, кап... Кап, кап, тюк, кап, кап, так. Кап, кап, тюк. Бррр... Кап... Кап... Кап, кап, кап, кап, кап, кап...

Примечание. Возьмите это произведение и прочтите его вслух, вечером, один в комнате. Прочтите раз, два раза, десять раз, тридцать, сорок, сто раз. И вам станет так скучно, скучно... Вам представится усадьба, затерянная среди темных и мокрых полей. Осень. Вечер. Вы один. Мелкий осенний дождь барабанит в окно. И у вас даже явится мысль:

— Черт его знает, не застрелиться ли?

Какой из до сих пор известных, великих художников слова достигал таких результатов и производил такое впечатление? А?

Особенно хорошо читать элегию ввосемьмером. Вы садитесь вокруг чайного стола и начинаете повторять:

— Кап, кап, дррр...

И вот, спустя час, вы начинаете чувствовать действительно невыносимую тяжесть. словно вы в имении, в усадьбе. Заперты вместе. А кругом моросит и дребезжит по окнам мелкий осенний дождь. И вы начнете с ненавистью смотреть друг на друга. словно вы адски надоели друг другу. Каждому из вас делаются противны физиономии других. У вас вдруг явится желание схватить полоскательницу и бросить ее в лицо соседки, захочется кусаться, драться, ругать всех. Тут можно чтение этого стихотворения и прекратить.

II

Удар грома при совершенно ясном небе

(Весеннее стихотворение в прозе)

Брудрррарах-тах-тах!

Примечание. Стихотворение это читается мужчинами. Желая прочитать в обществе это стихотворение, вы одеваетесь во все черное, делаете печальное лицо и идете в гости. Там вы говорите хозяйке дома, что у вас невыносимо болят зубы, и садитесь в самый угол гостиной. Вы сидите весь вечер, молча, отнюдь не принимая участия в разговорах, — так что в конце концов все забывают даже о вашем существовании на свете. И вот, когда наступает пауза в разговоре, — минута общего молчания, тишина, — вы вдруг срываетесь с места, делаете шаг вперед и изо всех сил кричите:

— Брудрррарах-тах-тах!

Благодаря чрезвычайно удачному подбору согласных, это восклицание ваше производит совер-

шенно такое же впечатление, как удар грома среди совершенно ясного неба. Иллюзия полная. Сидящие на низеньких пуфах падают на пол. Дамы лишаются чувств. Кто-то разбивают вазу. У многих вылетают чашки из рук. Все бледны, все испуганы.

Тогда вы, конечно, смеясь, объясняете, в чем дело. И хозяйка благодарит вас за доставленное, не совсем обыкновенное, удовольствие.

NB. Следует остерегаться читать это стихотворение при дамах, находящихся в интересном положении. А впрочем, ничего! Пусть их!

III

Тайна

(Нечто загробное)

Никто никому никогда ни про что нигде и никак.

Примечание. Читать эту поэму следует в полночь. Гасят огни, все присутствующие садятся в кружок, берутся за руки и упорно молчат. Вы гробовым голосом произносите с расстановкой:

— Никто... никому... ни про что... ничего... никогда... нигде... и... ни... как...

Впечатление угнетающее. Чудится присутствие какой-то тайны. Дамы просят, чтоб поскорей зажгли огонь. Когда зажигают, многие уверяют, что видели даже, как по комнате «что-то мелькнуло».

Таково содержание этой странной книги.

Мне прислали ее со следующим письмом:

«М. г.! Вы прочтете и скажете:

— Декадентство!

Теперь все смеются над декадентством. Вон театральное общество даже маскарад устраивает 3-го февраля в Мариинском театре и будет издеваться над декадентами. Пусть!

Но все же победим мы! Мы! Как вы презрительно зовете:

— Декаденты.

Во-первых, это не декадентство, а импрессионизм. Желание вызвать впечатление — и только. И посмотрите вы на литературу, на живопись, на скульптуру. — разве не к тому же идет? Да! Да! Да! Эта книга, которая теперь является такой редкостью, через 10 лет каких-нибудь будет самым обыкновенным явлением. Других книг и не будет. Вся литература будет только такая.

Смейтесь, — мы все-таки победим!

Трагедия наизнанку

— Это великолепно, что Отелло

задушил Дездемону!

Я с удивлением взглянул на мою хорошенькую соседку по креслу.

— Что-о-о-с?!

— Я нахожу превосходным, великолепным, неподражаемым, что все кончилось так благополучно.

— Бла-го-по-луч-но?!

— Как нельзя более. В трагедиях все благополучие состоит в том, что герои в пятом акте умирают. Бог знает, в какую бы пошлость превратилась их семейная жизнь, если б этого не случилось! В жизни все, что не трагедия, — комедия! Средины не существует. И вместо возвышенной трагедии мы имели бы, быть может, самую обыкновенную комедию...

Черт возьми, это мысль!

Вообще удачные мысли рождаются только у женщин.

Доказательство налицо.

Женщинам пришла самая удачная мысль в свете: выходить замуж.

Тогда как мужчинам принадлежит самая неудачная: топиться.

Однако слова хорошенькой соседки не дают мне покоя!

Что, если бы с Отелло, с Гамлетом не случилось трагедии и все кончилось «благополучно»?!

Отелло

Яго не клеветал. Отелло не задушил Дездемону, а следовательно, и не зарезался. Он преспокойно губернаторствует на острове Крит.

Дездемона в качестве губернаторши устраивает приемы.

V АКТ

Сцена представляет спальную Дездемоны. Ночь. Отелло на цыпочках входит и гасит свечу. Он желает быть незамеченным: известно, что черного мавра в темноте разглядеть никак невозможно. Отелло снимает саблю и проч., взбирается по лесенке на постель, но задевает Дездемону.

Дездемона (вскакивая, будто просыпаясь).
Кто здесь?

Отелло (шепотом). Это я, душечка! Я! Твой Отельчик!

Дездемона. Зажгите свечу! В темноте не видно вашего черного лица. Я должна с вами поговорить!

Отелло. Но, душечка...

Дездемона. Без разговоров! Зажгите свечу, говорят вам!

Отелло. Изволь, душечка! Напрасно ты только сердисься! Это нехорошо для твоего цвета лица.

Дездемона. Он еще смеет говорить о цвете лица! Посмотрели бы на себя, какой у вас цвет лица! Как только что вычищенный сапог!

Отелло (*слегка обидевшись*). Но, душечка, у тебя же были глаза, когда ты выходила замуж.

Дездемона. Мы все слепы, пока девушки. Мы прозреваем, когда выходим замуж. К сожалению, это достается нам слишком дорогой ценой. Ценой лучшего, что мы имеем!.. Где вы были до сих пор? Извольте отвечать!

Отелло. Но, душечка, ты не должна же забывать, что я все-таки губернатор острова Крита. Дела...

Дездемона. Скажите, какой усердный служака. Губернаторские дела по ночам. Я думаю, пили критское вино в обществе каких-нибудь...

Отелло. Но, душечка...

Дездемона. Молчите! Вы низкий, вы гадкий, вы черный человек!

Отелло. Я черный человек?

Дездемона. Да-с, вы-с! Не беспокойтесь, я знаю все ваши шашни! Я знаю, как вы ухаживали когда-то за madame Яго! Мне Яго все рассказывал!

Отелло. Но Яго же известный клеветник!

Дездемона. Все черные — низкие люди, кроме вас. Вы один белы как снег! И я могла увлечься этой ваксой, этим сапогом, этим трубочистом! Прав был папаша, когда говорил, что вы меня околдовали, опоили. И за все, за все — какая же награда? Черная неблагодарность?! Впрочем, чего же и ждать от негра?

Отелло. М-ме Отелло, вы забываетесь! Я не негр, я мавр!

Дездемона. Все равно, вы сажа! И для этой-то сажы я всем пожертвовала! Ему принесла в жертву молодость, красоту, положение в свете, родство, для него бросила прекрасную, веселую Венецию и

должна прозябать на каком-то острове Крите! Променять положение в свете на положение среди моря!

Отелло. Но вы не должны забывать, что благодаря мне вы теперь губернаторша!

Дездемона. Большая честь! Когда я могла быть m-me Родриго, венецианской патрицианкой! Потрудитесь сию же минуту говорить, где вы были? *(Наступая на него.)* Где вы были?

Отелло *(утирая платком катящийся с него градом пот)*. Мамочка, я...

Дездемона. Платок, чей платок?! Чей, я вас спрашиваю, платок?! Платок с женской меткой? Чей платок!

Отелло *(окончательно растерявшись)*. Мамочка...

Дездемона. О, крррови мне, крррови! Я его за муки полюбила, а он меня надувает... Платок! Чей платок?

Отелло. Мам...

Дездемона. Так вот же вам! *(Размахивается и дает Отелло такую безешку, что у него из носа показывается кровь, даже из шкапа раздается «ой».)*

Отелло *(подскакивая к шкапу)*. А, здесь кто-то крикнул!

Дездемона. Не отворяйте шкап, вы перемнете мои платья!

Отелло. Нет, врите, сударыня! У вас правда «кричащие» платья! Вы любите наряжаться! Но все-таки «ой» платья кричать не могут! *(Отворяет шкап, оттуда выходит Кассио и становится на вытяжку.)*

Отелло. Кассио?!

Кассио. Так точно.

Отелло. Здесь, и в этот час! Так, значит, прав был Яго, когда намекал... А я-то, черный дуралей, ему не верил. Потрудитесь сказать, милостивый государь, как вы очутились ночью в шкапу моей жены?!

Кассио. Я шел к вам по делу...

Отелло. Ночью по делу!..

Кассио. По делу, не терпящему отлагательства! Ведь вы же занимаетесь делами по ночам? Только что сами изволили говорить.

Дездемона. Да, сам только что говорил!

Отелло. А вы уж и подслушали?

Кассио. Нечаянно. Я пришел по делу и решил подождать вас. А чтоб вы чего-нибудь не подумали, застав меня здесь, спрятался в шкаф.

Отелло. Гм... И вы, значит, все слышали?

Кассио. Все...

Отелло. И... и... аплодисмент?

Кассио. И аплодисмент!

Отелло. Гм... Как это нехорошо прятаться по чужим шкафам. Но в чем же, скажите, состоит ваше неотложное дело?

Кассио. Я хотел просить у вас место старшего лейтенанта!

Отелло. Гм... да... вот что... И это неотложно?

Кассио. Да, я хотел бы уж проснуться старшим лейтенантом.

Отелло. Хорошо... Просыпайтесь!.. Я согласен... Я назначаю вас старшим лейтенантом!

Кассио. Покорнейше благодарю! Спокойной ночи, м-те Дездемона! Спокойной ночи, г. Отелло! *(Идет к двери.)*

Отелло *(останавливая его)*. Но то, что здесь произошло, между нами.

К а с с и о (поднимая руку). Клянусь!
О т е л л о. И аплодисмент?
К а с с и о (ударяя себя в грудь). Могила! (Ухо-
дит.)

ЗАНАВЕС.

Но еще печальнее кончился бы

Гамлет

Гамлет не придавал никакого значения явлению тени, обратился к придворному медику, принял *cali bromati*, нервы успокоились, и тень больше не появлялась. Он женился на Офелии. Прошло три года.

Сцена изображает апартаменты Гамлета. Гамлет сидит и читает. Входит Офелия.

О ф е л и я. Опять за чтением! Скажи, пожалуйста, что это ты вечно читаешь?

Г а м л е т. Слова, слова, слова!

О ф е л и я. Ужасно глупый ответ! (Пожимает плечами.) Думаешь, что остроумно? Нисколько! Я пришла к тебе, чтоб попросить денег на новое платье.

Г а м л е т. Вы наряжаетесь! Бог дал вам одно лицо, вы делаете себе другое!

О ф е л и я. Довольно-с! Оставьте ваши рацеи про себя! Вы только и делаете, что ходите да всем рацеи читаете! Всему Эльсинуру надоели! До чего доходите! Когда некому рацеи читать, сами с собой разговариваете! Вчера еще вас видели в галерее, вы ходили, руками размахивали, сами с собой что-то говорили! Стыд! Ведь вас принимают за сумасшедшего!

Г а м л е т. Я размышлял над вопросом: для души великой что лучше, что благороднее: быть или не быть?

О ф е л и я. Глупый вопрос! Вечно вы размышляете! Даже противно! Ничего не делает, только размышляет! Тряпка какая-то, а не человек!

Г а м л е т (качая головой). И я любил тебя, Офелия.

О ф е л и я. И напрасно делали!

Г а м л е т. Любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!

О ф е л и я (вздыхая). Я, слава богу, знаю эту вашу братскую любовь! Тогда зачем же вы женились бы, если любите братской любовью! Правду мне говорил мой папенька...

Г а м л е т. Этот старый дурак мне надоел. Лыстивый, низкопоклонник, лезет с глупыми разговорами!

О ф е л и я. Потрудитесь не оскорблять моего папеньку. Он почтенный старик, его все при дворе уважают. Даже ваш дядя король, который в тысячу раз поумнее вас...

Г а м л е т. Король умнее меня! Какую слепотою глаза твои покрыло небо?..

О ф е л и я. Да-с! Поумнее! Он вот король, а вы с носом остались и в принцах состоите! Я не позволю вам оскорблять моего папеньку! Он для меня все на свете! У меня нет маменьки.

Г а м л е т. Да-с, слава богу, хоть тещей вы меня не подарили! Этого только и недоставало! Зато тестюшка... «Низкопоклонник-тесть».

О ф е л и я. Еще раз вам говорю, не смейте оскорблять моего отца! Помните, что за него есть кому вступиться. Лаэрт, мой брат...

Г а м л е т. Сорванец, мот, по уши в долгах, ваш

братец вот у меня где сидит, сударыня! Человек, который только и делает, что тянет деньги с сестры. А я должен платить за кутежи брата своей жены!

О ф е л и я. Он ведет себя соответственно своему званию и положению! Хоть бы у него поучились, как вести себя. А то ведь стыд, срам, позор! Принц Дании, который проводит свое время в компании актеров! Ставит любительские спектакли! Устроил во дворце какую-то школу драматического искусства.

Г а м л е т. Я люблю искусство!

О ф е л и я. Так и подносите букеты, венки, корзины, браслеты, а не режиссируйте в любительских спектаклях! Недостает, чтоб вы еще залезли в суфлерскую будку! Да это ли еще! С кем знакомство свел! С могильщиками! Шатается по ночам по кладбищам, носит оттуда какие-то кости!

Г а м л е т. Это был череп Йорика!

О ф е л и я. Вы сами шут гороховый! Вы не умеете вести себя в приличном обществе! Хотя бы взяли пример с Розенкранца или Гильденштерна!

Г а м л е т. Розенкранц! Гильденштерн! Ваши «адъютанты». Я знаю, сударыня, что вы изволите делать им глазки. Придворные куклы, умеющие только кланяться да шаркать ногами!

О ф е л и я. Да, они умеют вести себя в обществе! Я вас предупреждаю. Если вы еще раз позволите себе остроту, вроде той, какую вы сказали тогда на спектакле: «Позвольте прилечь у ваших ног»...

Г а м л е т. Я тогда был еще женихом!

О ф е л и я. Тем хуже! Я вас предупреждаю, будет плохо! Вы привыкли там, будучи студентом, отпускать шуточки гризеткам. Здесь другое общество! Потрудитесь быть поприличнее, сидеть на

своём месте, а не валяться на полу, как вы это обыкновенно делаете!

Г а м л е т. Я не иду на спектакль!

О ф е л и я. Нет-с, пойдите! Вы своим поведением огорчаете королеву, вашу матушку, беспокоите вашего дядю, отравляете жизнь моему отцу, заставляете краснеть моего брата! Вы посмешище для Розенкранца, Гильденштерна, для Озрика! Вас даже последний могильщик — и тот считает сумасшедшим! Вы будете на спектакле и на балу, который даёт король в Валентинов день по случаю прибытия Фортинбраса. Вы должны быть и вести себя вполне прилично, чтоб рассеять эти слухи. Вы будете на балу короля...

Г а м л е т (*пожимая плечами*). Что я Гекубе, и что Гекуба мне!

О ф е л и я. Вам не о Гекубе говорят, а о короле. Вы обязаны быть!

Г а м л е т. Спектакль! Бал! Пир в Эльсиноре! «От похорон осталось много блюд»...

О ф е л и я. Можете философствовать, сколько вам угодно, но потрудитесь выдать мне деньги на платье. Я не хочу всю жизнь щеголять в беленьком платьице! Это вы, если вам угодно, можете ходить постоянно весь в черном, как факельщик! А я не желаю! Деньги на платье и на цветы! Вы знаете, я люблю цветы. Деньги!

Г а м л е т (*доставая бумажник*). О, женщины, ничтожество вам имя!

О ф е л и я (*беря деньги*). И вы еще смеете говорить о женщинах! Когда вы сама баба! Баба! Баба! Баба! (*Уходит.*)

Г а м л е т. Здесь, в Дании, поневоле выучишься пить! (*Увидав входящего Горацио.*) Есть много ве-

щей на свете, друг Горацио, которых не следовало бы делать умным людям. Например, жениться. Не так ли?

Горацио. Вы совершенно правы, принц!

Гамлет. Он думает играть на моей душе, как на рояле. Выпьем с горя, Горацио!

Горацио. Выпьем, принц!

ЗАНАВЕС.

* * *

Черт возьми, моя хорошенькая соседка была, пожалуй, права, когда сказала, что самое лучшее в трагедиях — это то, что герои вовремя умирают!

Женщинам иногда приходят в голову очень умные вещи.

Иногда!

Воспоминания об А.П. Чехове

Я не был лично знаком

с А. П. Чеховым. Тем не менее это не мешало мне быть поклонником его действительно выдающегося таланта.

Я видел Чехова три раза в жизни, и эти «три встречи» оставили во мне неизгладимый след.

Первая встреча произошла в Ялте.

Это было в 1900 году, не помню уж, которого именно числа, но отлично помню, что была теплая, прекрасная погода.

Мы возвращались с водопада Учан-Су: я, моя жена и две свояченицы — в четырехместной коляске.

Я с младшей свояченицей сидел впереди.

Проезжая Ауткой, кучер сказал, показывая пальцем:

— Вот дача г. Чехова. А вон и они сами.

Мы приказали остановиться и подошли к ограде дороги.

Сад дачи писателя расположен несколько ниже дороги, так что терраса и дорога находятся на одном уровне, и притом на расстоянии всего несколько саженей.

А.П. Чехов сидел на террасе, вероятно, со знакомыми.

— Который из них Чехов? — спросил я у кучера. Он указал пальцем на человека с небольшой бородкой.

— Но он вовсе не так худ! — воскликнула моя жена.

— Ну, нет, знаешь! — возразил я. — Он выглядит очень плохо!

И, к сожалению, я оказался прав. Чехов немедленно же поднялся с места и сказал своим знакомым:

— Пойдемте лучше в комнаты.

Было, как я уже говорил, очень тепло.

Но, очевидно, даже и теплая ялтинская погода была свежа для писателя, силы которого были уже надломлены! В другой раз я видел Антона Павловича в Москве, в божественном театре.

Не помню уж, что в тот вечер шло, — но я увидел Антона Павловича в чайном буфете.

Он сидел за столиком один и, как показалось мне, меланхолично мешал в стакане ложечкой.

Я остановился около стола и стал смотреть на дорогого писателя.

Антон Павлович посидел с минуту, потом негромко сказал:

— Человек!

Заплатил 20 копеек и ушел, так и не выпив чая.

Помню, я тогда еще подумал:

«Очевидно, и слабый чай ему вредно пить на ночь!»

Наконец, последняя наша встреча была вскоре после знаменательного представления «Вишневого сада» — в «Славянском Базаре», за завтраком.

Чехов меня не узнал!

И когда он со своими знакомыми остановился

вблизи моего стола, выбирая столик для себя, я громко сказал сидевшему со мной приятелю:

— А вот Чехов!

Антон Павлович спросил у метрдотеля:

— Нет ли столика, знаете, в другом конце зала?

Но в другом конце зала свободного стола не оказалось.

Счастье мне благоприятствовало, — Антон Павлович сел за столик рядом с нашим.

Как сейчас помню, он спросил себе наваги.

Я нарочно громко сказал приятелю:

— А видел ты «Вишневый сад»? Какое чудное произведение! Я не был, потому что билет трудно достать. Но непременно собираюсь, и даже с женой!

Антон Павлович не стал есть наваги.

Даже такой нежной рыбы — и то не мог есть.

Так он плох был в это время.

Это написано наскоро, потому что перо падает из рук. Но на всякий случай сообщаю вам эти сведения, — может быть, они пригодятся для характеристики незабвенного писателя.

* * *

К воспоминаниям приложена визитная карточка:

— Иван Иванович Иванов. Граммофонист.

Мистер Крэг сидел верхом

на стуле, смотрел куда-то в одну точку и говорил, словно ронял крупный жемчуг на серебряное блюдо:

— Что такое «Гамлет»? Достаточно только прочитать заглавие: «Гамлет»! Не «Гамлет и Офелия», не «Гамлет и король». А просто: «Трагедия о Гамлете, принце датском». «Гамлет» — это Гамлет!

— Мне это понятно! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Все остальное неважно. Вздор. Больше! Всех остальных даже не существует!

— Да и зачем бы им было и существовать! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко.

— Да, но все-таки в афише... — попробовал было заметить г-н Вишневский.

— Ах, оставьте вы, пожалуйста, голубчик, с вашей афишей! Афишу можно заказать какую угодно.

— Слушайте! Слушайте! — захлебнулся г-н Станиславский.

— Гамлет страдает. Гамлет болен душой! — продолжал г-н Крэг, смотря куда-то в одну точку и говоря, как лунатик. — Офелия, королева, король, Полоний, может быть, они вовсе не таковы. Может

быть, их вовсе нет. Может быть, они такие же тени, как тень отца.

— Натурально, тени! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко.

— Видения. Фантазия. Бред его больной души. Так и надо ставить. Один Гамлет. Все остальное — не то есть, не то нет. Декораций никаких. Так! Одни контуры. Может быть, и Эльсинора нет. Одно воображение Гамлета.

— Я думаю, — осторожно сказал г-н Станиславский, — я думаю: не выпустить ли, знаете ли, дога. Для обозначения, что действие все-таки происходит в Дании?

— Дога?

Мистер Крэг посмотрел на него сосредоточенно.

— Дога? Нет. Может идти пьеса Шекспира. Играть — Сальвини. Но если на сцене появится собака и замахаает хвостом, публика забудет и про Шекспира, и про Сальвини и будет смотреть на собачий хвост. Пред собачьим хвостом никакой Шекспир не устоит.

— Поразительно! — прошептал г-н Вишневский.

— Сам я, батюшка, тонкий режиссер! Но такой тонины не видывал! — говорил г-н Станиславский.

Г-н Качалов уединился.

Гулял по кладбищам.

Ел постное.

На письменном столе положил череп.

Читал псалтырь.

Г-н Немирович-Данченко говорил:

— Да-с! Крэг-с!

Г-н Вишневский решил:

— Афишу будем печатать без действующих лиц.

* * *

Г-н Крэг бегал по режиссерской, хватался за голову, кричал:

— Остановить репетиции! Прекратить! Что они играют?

— «Гамлета»-с! — говорил испуганно г-н Вишневский.

— Да ведь это одно название! Написано: «Гамлет», — так Гамлета и играть? А в «Собаке садовника», что ж, вы собаку играть будете? Может быть, никакого Гамлета и нет?!

— Все может быть! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Дело не в Гамлете. Дело в окружающих. Гамлет — их мечта. Фантазия. Бред. Галлюцинация! Они наделали мерзостей — и им представляется Гамлет. Как возмездие!

— Натурально, это так! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Надо играть сильно. Надо играть сочно. Надо играть их! — кричал мистер Крэг. — Декорации! Что это за мечты о декорациях? За идеи о декорациях? За воспоминания о декорациях? Мне дайте сочную, ядреную декорацию. Саму жизни! Разверните картину! Лаэрт уезжает. Вероятно, есть придворная дама, которая в него влюблена. Это мне покажите! Вероятно, есть кавалер, который вздыхает по Офелии. Дайте мне его. Танцы. Пир! А где-то там, на заднем фоне, чрез все это сквозит... Вы понимаете: сквозит?

— Ну, еще бы не понимать: сквозит! Очень просто! — сказал г-н Немирович-Данченко.

— Сквозит, как их бред, как кошмар, — Гамлет!

— Я думаю, тут можно будет датского дога пустить? — с надеждой спросил г-н Станиславский.

Мистер Крэг посмотрел на него с восторгом.

— Собаку? Корову можно будет пустить на кладбище! Забытое кладбище! Забытые Йорики!

— Ну, вот. Благодарю вас!

Г-н Станиславский с чувством пожал ему руку.

Г-н Качалов стал ходить на свадьбы, посещать Литературный кружок, беседовать там с дантистами, — вообще, начал проводить время весело.

Г-н Вишневский спрашивал встречных:

— Какие еще в Дании бывают животные? Мне для Станиславского. Хочется порадовать.

Г-н Немирович задумчиво поглаживал бородку:

— Неожиданный человек.

Мистер Крэг даже плюнул.

— Чтоб я стал ставить эту пьесу? Я? «Гамлета»? Да за кого вы меня принимаете? Да это фарс! Насмешка над здравым смыслом! Это у Сабурова играть. Да и то еще слишком прилично!

— Да, пьеса, конечно, не из удачных! — согласился г-н Немирович-Данченко.

— Бессмыслица! Ерунда! Сапоги всмятку! Пять актов человек колеблется, убить ли ему Клавдия, — и убивает Полония, словно устрицу съел! Где же тут логика? Ваш Шекспир, — если он только существовал, — был дурак! Помилуйте! Гамлет говорит: «Что ждет нас там, откуда никто еще не приходил?» — а сам только что своими глазами видел тень своего отца! С чем это сообразно? Как можно такую ерунду показывать публике?

— Конечно! — сказал и г-н Станиславский. — Но мне кажется, что если на сцену выпустить дат-

ского дога, — появление собаки отвлечет публику от многих несообразностей пьесы.

— И гиппопотам не поможет! Нет! Хотите играть «Гамлета» — будем играть его фарсом! Пародией на трагедию!

Г-н Вишнеvский говорил знакомому генералу:

— А вы знаете, ваше превосходительство, ведь Шекспира-то, оказывается, нет!

— Как нет, мой друг?!

— Так и нет. Сегодня только выяснилось. Не было и нет!

Г-н Немирович-Данченко ходил, зажав бороду в кулак.

— Парадоксальный господин!

* * *

— Друг мой! — кинулся мистер Крэг.

Г-н Немирович-Данченко даже вскрикнул. Так Крэг схватил его за руку.

— Какую ночь я провел сегодня! Какую ночь! Вчера я взял на сон грядущий книгу. Книгу, которую все знают! Книгу, которой никто не читает, потому что все думают, будто ее знают! «Гамлет»!

Мистер Крэг схватил г-на Немировича-Данченко за плечо.

— Какая вещь! Так каждый день смотришь на свою сестру и не замечаешь, что она выросла в красавицу! Первая красавица мира!

Мистер Крэг схватил его за ногу.

«Буду весь в синяках!» — подумал с отчаянием г-н Немирович-Данченко.

— Какая вещь! Эти слова: «Быть или не быть?» А? Мороз по коже! Или это: «Ты честная девушка,

Офелия?» А? Ужас-то, ужас?! Нет, вы понимаете этот ужас?!

— Кому ж и понять! — сказал г-н Немирович-Данченко, становясь подальше. — Шекспир!

— Гений! Гений! Давайте репетировать «Гамлета»! Сейчас! Сию минуту! День и ночь будем репетировать «Гамлета»! Ни пить, ни есть! Давайте ничего, ничего не делать всю свою жизнь, только играть «Гамлета». Без перерыва! Играть! Играть!

— Про собаку разговору не было? — осведомился г-н Станиславский.

— Владимир Иванович, как же теперь, — полюбопытствовал с тревогой г-н Вишневский, — насчет Шекспира? Есть Шекспир или нет Шекспира?

— Вот вопрос! — пожал плечами г-н Немирович-Данченко. — Как же Шекспиру — и вдруг не быть?

— Ну, слава богу!

Г-н Вишневский облегченно вздохнул:

— А то, знаете, привык к Шекспиру, — и вдруг его нет. Прямо словно чего-то недостает.

Г-н Станиславский крутил головой.

— Большой энтузиаст!

* * *

Мистер Крэг посмотрел на вошедших к нему господ Немировича-Данченко и Станиславского с глубоким изумлением.

— Чем могу служить, господа?

— Да мы насчет «Гамлета»! — сказал г-н Немирович-Данченко.

Мистер Крэг переспросил:

— Как вы сказали?

— «Гамлета».

— «Гамлет»?! Это что же такое? Город, кушанье, скаковая лошадь?

— «Гамлет»! Пьеса Шекспира!

— Кто ж это такой, этот Шекспир?

— Боже мой! Драматург!

— Н-не знаю. Не припомню. Не слышал. Может быть. Что ж он такое сделал, этот господин, про которого вы говорите?

— «Гамлета» написал.

— Ну, и господь с ним! Мало ли пьес пишут!

— Да, но вы... ставить... в нашем театре...

— Извините, господа! Кто-то написал какую-то пьесу. Кто-то зачем-то хочет ее играть. Мне-то до всего этого какое дело? Извините, господа! Я думаю сейчас совсем о другом!

И мистер Крэг погрузился в глубокую задумчивость.

— Капризный у человека гений! — погладил бороду г-н Немирович-Данченко.

— Придется вместо «Гамлета» на сцену просто датского дога выпустить! — вздохнул г-н Станиславский. — Не пропадать же догу

А г-н Вишневский так даже заплакал:

— Господи! Я-то всем знакомым генералам, графам, князьям даже говорил: «Гамлет»!

Писательница

(из воспоминаний редактора)

Вас желает видеть г-жа Маурина.

Ах, черт возьми! Маурина...

— Попросите подождать... Я одну секунду... одну секунду...

Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел... Вернее — вылетел.

— Ради самого бога, простите, что я вас заставил...

Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бедно одетая. Все на ней висело, щеки висели, платье висело.

Я смешался. Она тоже.

— Маурина.

— Виноват, вы, вероятно, матушка Анны Николаевны.

Она улыбнулась грустной улыбкой.

— Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина. Автор помещенных у вас рассказов...

— Но позвольте! Как же так? Я знаю Анну Николаевну...

— Та? Брюнетка? Она никогда не была Анной Николаевной... Это... это... это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте...

Она была растеряна. На глазах стояли слезы.

— Вы позволите мне сесть?

— Ах, конечно... Прошу... прошу... Простите, что я раньше...

— Нет, ничего! Ради бога, не беспокойтесь... Позвольте мне вам рассказать... Не сердитесь... Рассказы писала я... Вот, видите ли, мне хотелось печататься... Не только для гонорара, нет. Мне казалось, что у меня есть что сказать. Я много пережила, почувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала три рассказа и отнесла в три редакции. Может быть, это были недурные рассказы, может быть, плохие. Я не знаю... Они... они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, мне говорили, что вы заняты, «через неделю!» Наконец, ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его не читали!

— Сударыня, этого не может...

— Этот рассказ был потом напечатан у вас же! — ответила она тихо и печально. — Тогда мне в голову пришла мысль... быть может, очень нехорошая... быть может, очень-очень дурная... Я... В тех же меблированных комнатах жила молодая девушка, гувернантка без места, очень красивая... Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной и... простите меня... талантом которой вы так заинтересовались. Она также сидела без средств, и я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она — носить мои рассказы от своего имени... Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует... Особенно когда такой портрет! Я посмотрела на нее: рос-

кошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег! Ничего! Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека! Ни одного слишком вольного слова! Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через три дня. Только и всего! И все рассказы были приняты. Боже мой! Это так естественно! Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка! Сначала в особенности — рассказы бывали не совсем удачны, и некоторые господа редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью! Вычеркивали, но как осторожно, с каким сожалением: «Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое». Она мне обыкновенно рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись: «Как вы, такая молоденькая, — и откуда вы все это знаете?» Простите меня, ради бога! Это ваши слова. Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости: «Откуда у вас такие мысли?» Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке! Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма! Это придавало ей только интерес. Ей и «ее» рассказам! Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы, — простите меня, — много смеялись. Она очень весело, я не так... Но все-таки, смейтесь надо мной, — от похвал у меня кружилась голова. Как замечали

всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово! Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали рублей двести в месяц. Сто я отдавала ей, сто брала себе. И все шло отлично. Как вдруг... На прошлой неделе та Анна Николаевна поступила в кафешантан.

— В кафешан...

— В кафешантан. Там ей показалось веселее, и предложили больше денег. Я умоляла ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще полгода — мы стали бы зарабатывать 500—600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умоляла ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла: «Там веселее!..» Что мне оставалось делать! Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно: сегодня одна Маурина, завтра другая... Да и к тому же... не сердитесь на меня... я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают уж мне право выступить с открытым забралом... С некрасивым лицом... Не гневайтесь же на меня за маленькое разочарование.

— Я... я, право, не знаю... все это так странно. Такая нелитературность приема...

Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить.

— Не говорите мне! Не говорите! Я уж слышала это! В одной уж редакции меня почти выгнали. «Нелитературный прием! Расчет на какие-то посторонние соображения! Это не принято в литературе!» И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к... моим рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещичку. Это в том

роде, который вам у нее особенно понравился. Ей вы читали в три дня. Мне можно зайти через неделю?

— Помилуйте... зачем же через неделю... уверяю вас, вы ошибаетесь...

— Не сердитесь!

— Я прошу вас зайти через три дня. Через три дня рассказ будет прочитан!

— Может быть, лучше через...

— Сударыня, повторяю вам: через три дня рассказ будет прочитан. Имею честь кланяться!

Через три дня я получил через секретаря записку:

«Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня, я зайду еще через неделю. Уважающая вас Маурина».

Такая досада, черт возьми! Непременно надо было прочитать, — и забыл!

Затем... Я уж не помню, что именно случилось. Но что-то было. Осложнения на Дальнем Востоке, затем недород во внутренних губерниях — вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей. Положительное отсутствие времени. При спешной, лихорадочной газетной работе... Потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти...

Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной. Вечером я встретился с редактором.

— Кстати, а у вас Маурина пишет?

— А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?

— Да?

— И премило пишет, премило. Конечно, немно-

жечко по-дамски. Длинноты там, отступления. Приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прямо не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прямо, — войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая. Детское личико. Чудная блондинка.

— Ах, она блондинка?

— Блондинка. А что?

— Так... Ничего...

Поэтесса

(рассказ одного критика)

— К вам г-н Пулеметов.

Пулеметов! Пулеметов! Где я слышал эту фамилию?

— Попросят принять их на одну минутку. Говорят, что по очень важному делу.

— Хорошо. Проси.

Влетел господин. В нем было что-то виляющее. На лице было написано:

— Не убий!

Он схватил меня обеими руками за руку.

— Ради бога, простите, что отнимаю у вас время... Не задержу, не задержу!.. Очень, очень рад познакомиться. Давно хотелось. Всегда с таким удовольствием... Мы ваши ужасные поклонники. В особенности жена! Прямо влюблена. Утром, знаете, как только проснется, еще в постели, первым долгом: «Где он?»... Это про вас, а не про что-нибудь другое.

— Очень, очень благодарен. Очень лестно...

Г-н Пулеметов захихикал.

— Вы знаете, я уж даже ее ревную к вам. Ей-богу!

— Очень вам благодарен. Чем могу?

Г-н Пулеметов посмотрел мне в глаза с любовью.

— Простите за нескромный вопрос! Вы женаты?

— Н-нет.

— А дети у вас... Ах, виноват! Что я!.. Впрочем, я надеюсь, что вы с вашей фантазией! Вы сумеете войти в положение беременной женщины!

— Постараюсь. В чем дело?

Г-н Пулеметов посмотрел на меня с мольбой:

— Вы получили сегодня стихотворения моей жены?

— Ах, да, да, да! Как же, как же! Получил книжку, получил! Вот, вот! Очень благодарен!

Г-н Пулеметов посмотрел на меня с тревожной мольбой:

— Вы не успели их еще прочитать?

— Всего два часа тому назад!

— Прочтите!

Мне показалось, что у него на глазах выступили слезы.

— Вы мне позволите сказать все откровенно, как на духу! Я вас не задержу! Я вам скажу, как родному отцу! Моя жена беременна и выпустила стихи!

Г-н Пулеметов схватился за голову:

— Вы понимаете, это будет наш первенец! Бог даст мальчика, бог даст девочку. Но это будет первенец. Мы восемь лет женаты — и у нас не было детей! Первенец! Первенец! Дайте мне воды! Я напьюсь! Вы извините меня, что я так волнуюсь!

— Сделайте одолжение! Сделайте одолжение!

Я дал воды. Г-н Пулеметов выпил, стуча зубами о стакан.

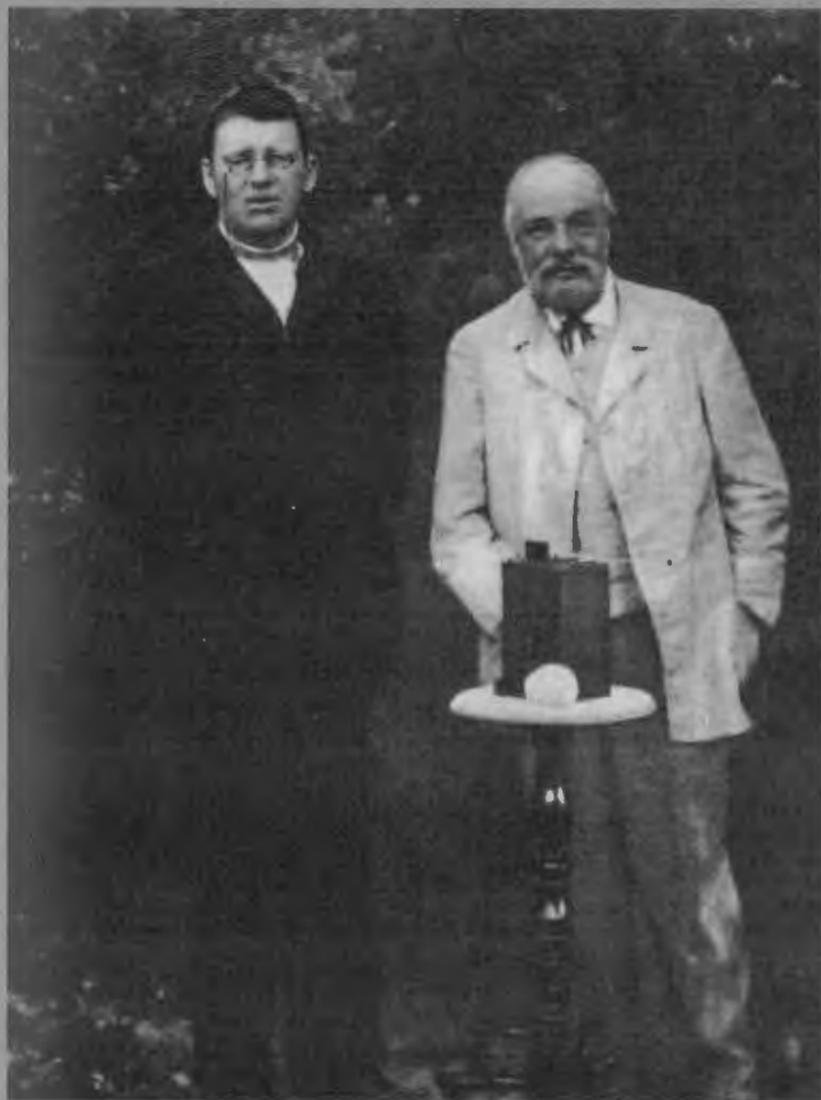
— Благодарю вас. Она такая слабая. Доктор говорит: «Малейшее волнение...» А она выпустила



В. М. Дорошевич, 1910–е гг., уже известный московский журналист — король фельетонов



В. М. Дорошевич с женой— актрисой
К. В. Кручининой. Фотография 1901—1903 гг.



В. М. Дорошевич и В. М. Лавров.
Фотография 1890-х гг.



Москва. Газетный переулок. Фотография 1900-х гг.

А. В. Амфитеатов,
соратник и друг
Дорошевича,
мемуары о котором
публикуются в этом
томе



В. А. Гиляровский —
близкий приятель
В. М. Дорошевича,
не раз писавший о
нем, в том числе
и в книге мемуаров

ТАТЬЯНИНЪ ДЕНЬ

ВЪ МОСКВѢ.



Все знаменитые литераторы, художники и фельетонисты
Москвы, изображенные художником Н. П. Чеховым для
журнала «Будильник»

САТИРИКОН

1944

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

№ 5



Юбилейный номер,
посвященный
В. М. Дорошевичу.
Шарж Н. Ремизова

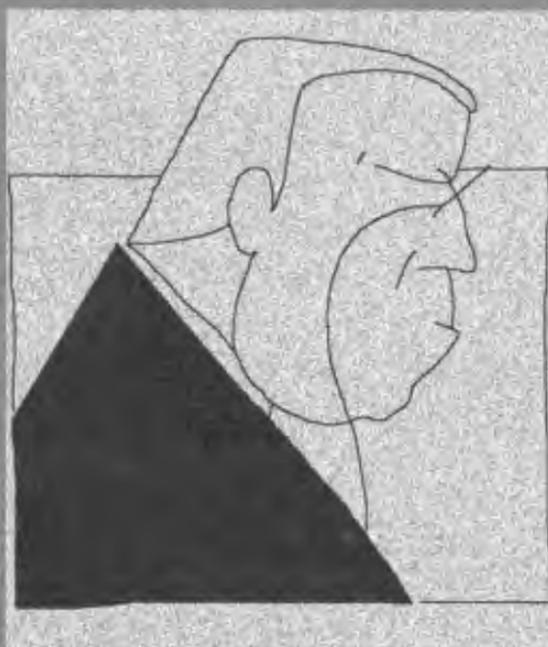


Рисунок художника
В. М. Каррика



Обложка книги фельетонов
Дорошевича
«Легенда о происхождении одесситки».
Издательство «Земля и фабрика»,
1927.
Художник Константин Елисеев

стихи. Первый неблагоприятный отзыв — и она сбросит!

— Как сбросит?

— Младенца сбросит! Не донесет и сбросит! Ради бога! Когда будете писать, имейте это в виду. Она сбросит!

— Д-да... Дело, знаете, серьезное.

— Ужасное дело!

— Знаете... Я лучше... Я лучше остерегусь... Я лучше совсем ничего писать не буду!

Г-н Пулеметов вскочил, как будто под него подложили горячий уголь.

— Ради самого бога!!! Да вы ее убьете! Она только вашего отзыва и ждет! Она говорит: «Мне решительно все равно, что другие напишут! Мне важно только, что он!» Это про вас! Сегодня нет отзыва, завтра нет отзыва, послезавтра нет отзыва, — она умрет! Скажет: «Значит, я дрянь! Мои стихи дрянь! Обо мне даже слова сказать нельзя!» Она умрет! Доктор говорит: «Малейшее, малейшее волнение»... Ради бога! Не ради себя прошу, даже не ради нее! Ради ребенка! Не погубите ребенка!

— Извольте... извольте... Хорошо... хорошо... Постараюсь... Такой случай...

— Благодарю вас! От всего сердца благодарю вас. Когда?

— Н-не знаю... как-нибудь на днях...

— Не откладывайте! Ради ребенка! Не откладывайте! Сегодня еще ничего, а завтра уж она начинает волноваться: «Ах, он обо мне ничего не сказал! Он обо мне ничего не сказал! И не скажет! Книжка не понравилась!» А доктор говорит: «Ма-

лейшее волнение». Она от ожидания сбросит! Нельзя ли на завтра?

— Право, не знаю...

— Ведь жизнь человеческая! Дорогой! Жизнь человеческая! Если бы вы ее видели, она такая... Последние, последние дни! Вы понимаете, в это время...

— Хорошо, напишу! На завтра!

— Дорогой! Благодарю вас! Позвольте вас поцеловать! Вы меня извините, что я плачу! Когда будете писать, помните о ребенке! Помните о ребенке! Больше ни о чем не прошу, помните о ребенке!

Он вымочил мне лицо слезами, поколол бородой и ушел.

Впрочем, он еще раз вернулся, сложил молитвенно руки, сказал мне с порога:

— О ребенке! Только о ребенке!

Всхлипнул — и исчез.

Собственно говоря... черт знает, что такое...

Гнусно, однако, заниматься чем бы то ни было, когда в руках держишь человеческую жизнь!

— Иван! Завтракать я сегодня не буду. Можешь сам все съесть. У меня дело! Не принимать никого. Черта, дьявола — никого! Понял? Отец родной придет из гроба — и того не принимать! Занят очень важным делом. В доме не стучать и не кашлять.

Я взял книжку г-жи Пулеметовой.

В ней было 762 стихотворения.

Через четыре стиха я сидел за письменным столом.

— «Родная литература»...

Ловко ли — «родная».

«Родная»... «роды»... Дама в этакое положение. Пожалуй, увидит намек. Скажет:

— Откуда знает?

Догадается, что муж приходил просить, рассказал. И сбросит.

Зачем «родная»? Просто «русская».

— «Русская литература обогатилась новым вкладом».

Зачем вкладом? Не надо вкладом! Просто книгой.

— «...новой хорошей книгой».

Хорошей? А не повредит это младенцу: просто «хорошей».

Слабо! Обидится и сбросит!

— «...новой замечательной книгой». «Замечательной». Гм... слово-то такое! Его теперь иронически стали употреблять. И выдумали, черт их возьми, эту иронию. Все слова перепортили!

Как ребенок примет это слово?

Просто, вместо «замечательной», поставлю «превосходной». «Превосходной» — младенцу не повредит.

— «...новой превосходной книгой...»

«Новой»? Значит, и до нее были превосходные книги? Значит, превосходных книг много? Не надо «новой». Просто:

— «Обогатилась превосходной книгой нашей талантливой поэтессы...»

Нашей «высокоталантливой поэтессы». Замаслить, замаслить младенца. Младенцу это хорошо.

— «Местами отсутствие рифмы...»

Мне показалось, что в углу запищал мертвый ребенок.

— «Всюду блестящая рифма...»

Младенец перестал пищать.

— «Изумительная по красоте форма, глубокое содержание...»

Это для родительницы хорошо.

У меня начинались галлюцинации. Мне казалось, что я не пишу, а делаю труднейшую операцию. Я боялся дотрагиваться до бумаги. Вдруг сейчас из бумаги побежит младенческая кровь.

Что-то застонало сзади меня.

По комнате прошел Никита из «Власти тьмы» и проговорил:

— Захрустели косточки-то... захрустели...

Потом появился на кресле Ирод, засмеялся и исчез. Вокруг меня лежали младенцы.

Я боялся пошевелиться. Пошевелюсь — и всех передавлю.

— «Со времен Пушкина, Лермонтова мы не встречали таких стихов».

Сбрасывает! Сбрасывает!

— «Со времен Алексея Толстого, Некрасова».

А не обидится она, что я Некрасова с ней сравниваю? Женщина в таком положении. Вон Некрасова!

— «Байрона, Альфреда Мюссе...»

— «Событие в русской литературе...»

— «Чудный дар...»

— «Приветствуем...»

— «Дай бог, чтоб и впредь!..»

Эту ночь я не спал. Я лежал в холодном поту. Зубы у меня стучали.

Возьмет корректор да вместо «чудный» и поставит «нудный».

И сбросит!

Я молился, когда мне подали газету, и сказал:

— Иван! Разверни мне газету, — я не могу!

Во всех газетах, до одной, без исключения, бы-

ли огромные статьи о сборнике стихотворений г-жи Пулеметовой.

Все писали восторженные статьи! Один сравнивал ее сонеты с сонетами Петрарки. Другой писал, что небо глядится в ее стихи и всю природу заставляет в них глядеться. Третий восклицал:

— «Не верится, чтоб это была женщина! Вот была бы жена для Пушкина!»

Вчера я встретил г-на Пулеметова в театре. Он летел сияющий. Полосатенькие брючки на нем весело играли. Сюртук сверкал шелковыми отворотами. Он меня заметил:

— А! Почтеннейший! Очень рад вас видеть! Все не удосужился как-то зайти вас поблагодарить! Очень, очень мило написано.

Он ласково кивал мне головой.

— Ну, а дома у вас? — заикнулся я.

У г-на Пулеметова сделалось удивленное лицо.

— Что дома? Как дома? Дома ничего!

— Супруга ваша, кажется, была...

— Ах, это!

Г-н Пулеметов махнул рукой.

— Прошло. Совсем прошло!

— То есть... виноват... как собственно...

— Вообразите, оказалось, что все на нервной почве! Нервная беременность. Это бывает. Теперь, знаете, эпидемия какая-то. Все дамы нервно беременны! Оказалось пустяками! Фальшивая тревога, фальшивая тревога! — успокаивал он меня. — Я рад, однако, что критика нашла в жене такой талант. Вы читали? Во всех газетах! Восторженнейшие отзывы! И, главное, на другой же день! Сегодня книга вышла, а завтра же все газеты при-

ветствовали! Что-то небывалое! Словно сговорились! Идет книга! Удивительно! На днях второе издание. Это жене очень поддержало, придало ей сил. Эти пожелания, эти настояния критики продолжать, продолжать. Жена теперь пишет пьесу. Вот посмотрите! В этот сезон не успеет, конечно. Но месяцев через девять так, через десять...

Пари, что к первому представлению Г-жа Пулеметова опять забеременеет.

Поезд летел по Швейцарии.

Две русские дамы в купе познакомились и говорили: о судьбе.

— Вы из каких же Марковых? — спросила блондинка, полная. — Из бумагопрядильных?

— Бумагопрядильные нам сватья. Я за ситце-набивным замужем! — ответила брюнетка.

— Фамилия хорошая. Давно?

— Два года будет.

— Счастливы?

Помолчали.

— Вы мне так с первого же разу симпатичны, что готова вам всю свою судьбу выложить.

— Вы мне тоже. И я перед вами.

— «Поищемся», как у нас бабы в деревне говорят, когда в гости друг к другу приходят.

Словно чем-то далеким, родным на них пахло. Обе рассмеялись.

— Поищемся!

— Какое же счастье? Я женщина с темпераментом, гимназии Бракенгейма два класса кончила, а он что? Ножницы! Купоны стрижет да революцию ругает. Ругает революцию, а сам крестится: «Теперича, как Лодзи из-за революции матушки ка-

пут, — наше, московское дело в шляпе!» Ругается да копейку на аршин прибавляет! Только и занятый. «Проклятушие стачки! Да из-за их вся заваль, слава богу, хорошею ценой пройдет!» Клянёт да опять полкопейки набавляет. Клямши, полмиллиона в карман положил! Кругом тоже все: клянут, да наживают. А ни для души, ни для тела — ничего. Говорю — ножницы! Ему аршины резать да купоны стричь. Поцелуй даже купоном зовет. Не тьфу? «Дозвольте, говорит, Агнеса, с ваших губ купон в счет любви сорвать?» Это он меня так, «Агнесой», зовет, я настояла. Чтобы не Аннушкой. Какое житье? Известно, сказано: «буржуазное». Какой вкус может быть? Вырвалась теперь за границу. Еду. Пущай там один аршины меряет! А вы?

— Мы Вывертовы.

— Из посудных Вывертовых?

— Н-нет... Мой муж...

Полная блондинка замялась.

— Родом я тоже по купечеству. Но мой муж — поэт! Из писателей.

Брюнетка даже подскочила.

— Тот самый Вывертов?

— Тот самый.

— Декадент?

— Декадент.

— Самый известный?

Блондинка, начавшая было конфузиться, ожила.

— Он, он.

— Еще его, кажется, Макс Волошин описывал. В «Ликах творчества»? Как они еще в древней Александрии на каком-то празднике, заголимшись, при всех бегали?

— Этот самый.

— Ах, душенька, я в вашего мужа, — не бойтесь! — влюблена. Какой необыкновенный мужчина. Ему две тысячи лет. Он сириец?

— Говорит, сириец.

— Как же! Как же! Я статью Макса Волошина о вашем муже наизусть помню. «У Вывертова на лице золотая, египетской работы, маска, а в волосах еще остался пепел от всеожжения. Ему две тысячи лет. Я помню, мы познакомились с ним в Александрии и, сбросив рубашки, к изумлению жрецов, принялись прыгать через жертвенник на священном празднике в честь бесстыжей богини Кабрарормы. Сила сохранилась в омертвевших ногах Вывертова и теперь. Он и сейчас прыгает, бесстыже прекрасный и оголенный, через жертвенники, к великому ужасу жрецов». Как не знать! Вот, должно быть, интересно. Нынче об этой части... о житейской... только одни декаденты и думают! Другие все про политику да про политику! Только и слов: «партия» да «лидер». Никто о приятном не думает. Одни декаденты. От внутренних страстей не токмо что на женщин, на мужчин внимание обращают. Читаешь, — все женское естество переворачивается.

Брюнетка подвинулась ближе и понизила голос:

— Неземные, я думаю, восторги доставляет. Счастливая вы! За декадентом!

Блондинка отвечала со злобой:

— Из-за этого самого я за него и пошла! Из-за чего же? Читаю его стихи, на стену лезу. Девушка я была рыхлая и двадцати двух лет. Мочи моей нет — стихи его читать. «Ввинчивает» да «вывинчивает». Тьфу! Непонятно, а душу мутит и кровь в

голову бросает. Познакомилась. Женихом был, — зубами скрежет. — «Я, говорит, тебя вельзевуловым сладострастным мукам подвергну. Ты, говорит, Прозерпиной у меня будешь. Ты про Прозерпину когда слыхала? Которую Плутон, бог ада...» Да как скажет: «бог ада», — глаза растарашит, — смотреть страшно. «Которую Плутон, бог ада, в свое подземное царство увлек. Я, говорит, тебя преступной любовью любить буду. На адском огне сожгу!» Ну, и пошла.

— А родители как?

— Мать три раза проклинать собиралась. «Я, говорит, на него в полицию». У нас, по купечеству, вы знаете, как у детей чувство. — родители всегда первым делом в полицию. «Нельзя ли предмет неподходящего чувства в 24 часа из города выслать?»

Брюнетка грустно кивнула головой.

— «Голоштанник! — маменька кричит. — Экспроприатор! К купеческому приданому подбирается!» Однако он их напугал: «Ежели вы, говорит, свое ненужное благословение дать не желаете, я, говорит, и так вашу дочь обещу. Обесчестимся и предо всем миром своим позором наслаждаться будем. Верно, говорит, Поликсена?» Он меня Поликсеной звал по-древнему. А я реву: «Верно! Обесчестимся. Желаю в вечных муках с декадентом жизнь свою кончить! Благословите, маменька!» — «На муки?» — мать плачет. «На муки любо-страсть!» — он-то говорит. Плюнула мать, благословила. Из опасения, чтоб я, все одно, с ним неистовым тайнам не предалась. «Ваше, — маменька говорит, — сударь, счастье, что покойника

в живых нет. У покойника кулак был. У меня кулака нет, — владейте дочерним приданым!»

— Ах, как увлекательно! Поэма!

— Как же! Он же еще кобенился. В церкву не хотел ехать. «Я, говорит, желаю венчаться пред лицом сатаны! Чтобы дьяволы радовались! А венчать меня, говорит, должен любострастник и профессиональный отцеубийца!» Такие ужасы говорил. «И чтобы положил он, говорит, на меня свою мерзкую печать! А молебны чтобы пели Каину, святому братоубийце, и Иуде Искариотскому». А я-то от таких слов пуще! Еще бы! Посудите сами. За Вельзевула замуж выйти! Кому не любопытно? Насилу уговорили, чтобы в церкву. «Ну, что вам, говорят, Оскар Уальдович»... Он по паспорту-то и во святом крещении Петр Семенович, но сам себя Оскар Уальдовичем прозвал. Для безобразия. В честь аглицкого безобразника, может, слышали?

Брюнетка кивнула головой.

— Кто же про Оскара Уайльда нынче не слышал? Покойник — первый человек!

— Вот, вот! Мои-то родные насилу уломали: «Что вам, Оскар Уальдович, стоит? Для видимости! Скрозь церковь пройти?» — «Как же, говорит, я в церковь пойду, ежели я иконоборец?» Что было! Одначе, как маменька решительно объявила, что без этого ни дочери, ни приданого не выдаст, согласился. Захотел страшно: «Извольте, говорит, племя трусливых червей! Свершу сей кощунственный акт. Но только знайте, говорит, что я кощунствую». Что было! Маменька, по старой привычке, обыкновенно бал и вечерний стол устроила. Он музыкантам «danse macabre» — покойницкий танец — велел играть. В простыне плясал. Будто бы

саван! Таково страшно пальцами шелкал — кровь холодела! За здоровье Вельзевула за ужином пил. И «вечную память» и нам, и маменьке, и всем гостям провозглашал. Духами я всегда душилась хорошими. Настоящими французскими. Не желает. «Хорошенький запах, кричит, тьфу! Я этих нежененьких ароматиков не выношу! Буржуазией, говорит, воняет, земное! Адских зловоний мне!» Ну, откуда я ему адских зловоний возьму? В парадной спальне... Маменька по-старому. Парадную спальню устроили... В парадной спальне серой велел накурить. Ночью бегали, аптекаря будили, серы в порошке покупали. «Это, говорит, мне ад напоминает. Жгите». Чуть не задохлась.

— Ну? Ну?

Брюнетка «горела».

— Ничего не «ну». Утром встал, сельтерской воды выпил. «Принеси, говорит, мне твои бумаги!» Принесла, что в приданое выдали. «Это, говорит, у тебя, Аксинья...» А раньше Поликсеной звал! «Это у тебя, говорит, в каких бумагах приданое лежит?» — «В харьковских, говорю, земельных!» — «Это, говорит, Аксинья, не лафа. В харьковском земельном все ялтинские дачи заложены. А в Ялте, — знаешь? — стала революция, дачи до основания жгут. Надоть, говорит, все на облигации Петербургского кредитного общества перевести. — В Петербурге домов жечь не будут!» Так мне, скажу я вам, тогда под сердце подступило. Бумаги-то несла, — дрожала. «Что он, декадент, с ними делать будет?..» А он... Лучше бы он тогда их драть или жрать зачал. Все одно, отняла бы. Ну, съел бы одну, две акции. Не разорил бы. Но, по крайности, хоть было бы необыкновенно! А то муж как муж.

Взял ножницы, и которые мамаша, — в своем волнении, — вышедшие купоны остричь позабыла, пообстриг. Вы говорите, ваш муж — ножницы! Вы, извините меня, моя милая, ножниц не видали! Оскар — вот это ножницы. В книжку, — книжки у него были, говорит, из человеческой кожи, на переплете Вельзевул изображен во всем его безобразии, — в эту самую книжечку все бумаги переписал и номера проставил. Память какая! Всякому купону свой срок помнит! Придет срок, — сейчас в вельзевуловой книжечке справится, проверит, и купончик так ровнехонько обстрижет. Папенька, покойник, — на что купоны обожал, — никогда так аккуратно не резал. Маменька теперь в нем души не чаёт!

Она вздохнула:

— Да нешто маменьке с ним жить?!

— Так и живете? — спросила брюнетка.

— Какая жизнь! Первым долгом себе легавую собаку купил. «Это, говорит, очень томно, чтоб легавая собака своя была!» Чисто из участка писарь, — первое удовольствие себе собаку купить. Лакея взял, который бы его брил каждый день чисто-начисто. А прежде ходил Вельзевул Вельзевулом, — таким я его и полюбила. А бритый-то он мне на что? Бритых-то и без него выбирай было — не хочу. И в довершение граммофон себе завел, «Тонарм». «Чудесное, говорит, изобретение!» Лежит себе целый день на диване, а «Тонарм» ему арию Таманьо во все горло дует. А «буржуазия», говорил!

Граммoфон — не буржуазия? Поди покури ему теперь серой!

— Скажите! Иметь деньги и жить без удоволь-

ствия... С деньгами надо жить с удовольствием. Тяжело вам?

— Прежде, бывало, стихи читать примется, в такое волнение придет, что под руку попадет — вдребезги. Канделябр — канделябр об ковер, надкаминные часы — надкаминные часы об пол. Известно, чужое, не жалко. Маменька ему выговаривать примется: «Нешто можно?» Адски хохочет: «Мещане! Я им сердца жгу, а они: «Канделябр!» Да другой канделябр об пол. В доме не было мужчины, — мог себе позволять. «Все, кричит, изничтожу! Голыми будете! Голые, тогда и насладимся!» А теперь... Попробовал один приятель, стихи читаючи, в волнение прийти, — канделябр в картину запустил. «Полицию!» — кричит. Насилу уговорила скандала не поднимать, с полицией не мараться. «Протокол, кричит, составлю! К мировому подам! Сборник стихов на складе у подлеца опишу и продам! Все до копейки взыщу!» Едва умолила. Велел с лестницы вдохновенного спустить. Тем и ограничился.

— А стихи — почитать! — какие пишет!

— Пишет. «Желаю славы я», — говорит. И даже теперь в круглом формате сборники издавать собирается: «Надоели, говорит, четырехугольные книги. Мещанство!» А что до жизни касается, — мои ножницы, верьте, матушка, ваших ножниц стоят. Ваши-то еще лучше. К деньгам привыкли. А мои новенькие, стригут чище. Купон увидят — дрожат с непривычки. Тьфу!

— Но все-таки есть интересные приятели. Можно утешиться... А у нас что? Опаскудел ситце-набивной, утешься, пожалуй, с железником. Тот

тебе про аршин, а этот про гвозди. То же на то же менять. Охоты даже нет.

— И-и, голубушка! Приятели! Декаденты! По книжкам-то они все декаденты значатся. Вы Задержихина фамилию, чай, слышали?

— Это который с мужчинами... Даже говорить неудобно... Про себя все печатает?

— Вот, вот! С письмоводителем, говорит, губернского правления жил. Вы только подумайте! Письмоводителя везде как жену представлял. Так везде и был принят. «У меня, говорит, Иван Иванович об одном только жалеет: что детей у нас нет!» Ужасались все: «Верхов разврата человек достиг!» А увидал у меня подругу Пашу Залетаеву, — невеста, фабрика за ней, — сразу от своей веры отрекся. «Вы, говорит, меня другим человеком сделали!» Жениться — и никаких. «А не то, говорит, еще в худших пороках, чем прежде, погрязну. Детей резать стану и кровь, как квас, пить. И все, скажу, через вас. Осрамлю!» Сдурела Паша, пошла. «Обновлю, говорит, этакий тигр!» А тигр-то теперь цельный день в фабричной конторе сидит, на счетах щелкает, не вытащишь его оттуда. Тигр — и на счетах! Ну, посудите! Муж как муж. Я так думаю, что и письмоводитель-то был так, для знаменитости. Ничего и запрещенного промеж них не было. Так, для славы про себя в газетах писали. Художники еще! Смотрит, стонет: «Серенькое тут, сереньких тронуть!» Картины пишет — ничего не поймешь. Гора не гора, небо не небо. Не то слон, не то море! Людей с четырьмя ногами рисует, декадент! А глядишь, с богатой купчихи портрет, устроился, пишет. И декадентства никакого, — полторы тысячи! Да еще во время сеансов предло-

жение руки и сердца делает. «Не то, говорит, я вам лицо масляной краской вымажу — в жизнь не отойдет!» Ходил тут к рыбнику одному, — большой рыбак, икрой занимается, не одни промыслы имеет, — тоже художник один. Из декадентов. «Ах, говорит, у вас глаза до чего испанские, позвольте зарисовать!» А потом взял да рыбака в виде тореадора на картине и изобразил. Рыбак же картину и купил. Чтоб не выставил. Какая рыбаку охота перед всей публикой супротив быка фигурировать? Звону бы что пошло! Висит теперь тореадор у рыбака в кабинете. На пять тысяч любитесь. Пять тысяч за картину дал, и то через полицмейстера.

— Почему через полицмейстера?

— Знаете, у купечества обычай: как трудные обстоятельства — сейчас к полиции. Старая привычка. Полицейстер вступился: «Все равно, говорит, я вам этой картины выставить не позволю, найду, что революционная». Красный флаг у тореадора-то. Ну, и взял пять тысяч, согласился, а без этого десять просил. Да не пронялся декадент. Нешто пройметесь! Новую угрозу рыбаку сделал. «Я вас, говорит, с шестью ногами изображу!» — «Почему с шестью ногами?» — «А потому, говорит, что вы мне так представляетесь. Я вас так вижу!» Ну, тут рыбак прямо пригрозил. «Я, говорит, ведь и до сыского отделения дойду!» Отвалился.

— Скажите!

Брюнетка сидела, положив руки на колени и с видом растерянным.

— А я так в декадентов верила!

— Всякий поверит, — с жаром воскликнула блондинка, — ежели человек сам про себя пакости

рассказывает, как не поверить! А только заметьте, — где декадент на виду, там беспрерывно в глубине сцены купец прячется. Декадент завсегда при купце состоит. Без купца декадента не бывает. Такое у нас положение. Журнал декадентский. Кто издатель? На купеческие деньги. Выставка, — кто меценаты? Купцы. И каждый декадент, заметьте, тем кончает, что на богатой купчихе женится. Просто для молодых людей способ судьбу свою устроить.

— Ужли каждый?

— А которому не удастся, — на купца фальшивый вексель напишет. Пишет, пишет декадентские стихи, а потом, глядишь, на вексельном бланке чужую фамилию и подмахнул.

— О господи, — вздохнула брюнетка, — а я думала — антихристы!

— Женихи, а не антихристы. Я так думаю, голубушка, что есть декадентство это самое не что иное, как просто к купечеству подход.

И обе смолкли.

Спускались сумерки, и на свете становилось так серо, серо.

— М^{ебя, болвана, не спросились!}

Ты душу из меня, негодяй ты этакий, вынуть хочешь? Душу? — кричал Иван Иванович.

Петр Сидоров, сапоги бутылками, стоял — к-к-ка-налья! — отставив ногу и «довольно спокойно» говорил:

— Ругаться есть воля ваша, потому как вы губернатор и человек военный. А только и я как, стало быть, председатель местного отдела «Союза русского народа» позволить не могу...

— Я «Анатэму» тебе запретил. Сделал удовольствие. Теперь ты до «Демона» добираешься, борода твоя...

— Да бога-то, твое превосходительство, помнить надоть. Аль его совсем из России выселить?

— Ты голоса не возвышай!

— И возвыщу, потому я говорю по-божьему. Черное слово поминать грех али нет? А тут черт, — прости меня господи, — цельный вечер перед глазами торчит. И какие слова говорит! Андрееву в лоб не влетит. Вы поглядеть извольте!

Петр Сидоров помуслил палец и открыл либретто.

— «И будешь ты царицей мира». Нешто возможно?

— Ну, это переделать можно. «И будешь ты губернаторшей мира», — петь будут.

— «Ты хочешь послушанья, а не любви. Любовь горда, горда, как знанье». На галерке гимназисты сидят. А вы им этикие мысли во все горло внушаете? Да он, постреленок, пойдет завтра классному наставнику нагрубит. Почему? В театрах пели, чтоб не слушаться, этаким манерам, ваше превосходительство, юношество воспитываете? Вы что же? Бомбу на себя готовите?

— Гимназистам можно запретить посещение оперы.

— А ангела куда вы денете? Ангела можно на посмешище выводить? Чтоб их демоны переспаривали.

— Ангела нет. Врешь. Есть «добрый гений»!

— В газетах пишут: «Г-жа Толстоногова — приличный ангел». А? «Приличный ангел»! Да ведь за этикие слова повесить мало!

— Газету можно закрыть!

— Ангела не закроете. Баба лет сорока. Ей бы по всему, что у ее видать, в купеческом доме в кормилицах быть. А она в этом виде ангела представляет. Через это большой поворот в религии может выйти.

— Надо сказать, чтоб передали певице потоньше.

— Да ведь как тонка ни будь, все же женскую прелесть видать будет у подлой! Дальше взглянуть извольте. Действие второе. Князь только что угоднику помолился, а его татары и зарезали.

— Да ведь кавказский князь! Что тебе? Революционеров жалко?

— Не в князе дело. А что ж это? Помолился, и зарезали? Бесплезность молитвы святым угодицам доказывается? А желаете вы, мы сейчас на представление всем отделом явимся? Патриотическую манифестацию сделаем. «Не смей убивать князя! Потому он угодику помолился!»

— Ну, ну!

— Опять на фамилию извольте внимание обратить. Куда гнуть! «Синодал» — фамилия. Это какие же такие намеки? Синодальная молитва, стало быть, до бога не доходит, позвольте вас спросить?

— Фамилия действительно опрометчивая. Мы его в Гегечкори переделаем.

— Чтоб Гегечкори богу молился? Нешто возможно? Опять, последнее действие. Где? Женский монастырь! Обитель! И вдруг — мужчина! Целуются! Нет, уж как вам будет угодно. Этаким морали на обители допускать не можем. Пушай Тамара эта на курсы идет — там и целуется. А обители на смех выставлять не дадим.

— Да ведь классическое произведение! Черт!

— А нам наплевать.

— Да ведь кто написал?!

— И это нам довольно известно. Что г-н Лермонтов Столыпиным родственником приходился. Потому и написал. Ежели он министру сродственником приходится, так ему и этаким вещи писать возможно: «Бог?» — «На нас не кинет взгляда: он занят небом, не землей». К министрам-то прислуживаетесь, а про бога забыли, ваше превосходительство? Очень даже хорошая корреспонденция в «Русское знамя» может выйти: «До чего дошло при Столыпине прислуживанье господам министрам».

— Да ведь на казенной сцене играют! Дуботол! Идол! Ведь там директора для этого!

— Это нам все единственно. Нам еще не известно, какой эти самые директора веры. Тоже бывают и министры даже со всячинкой!

— Ты о министрах полегче!

— Ничего не полегче. Министры от нас стерпеть могут. Потому, ежели какие кадюки или левые листки, — тем нельзя. А нам можно. Наши чувства правильные. Мы от министров чего? Твердости! Ну, и должен слушать. А только я вам прямо говорю. Ежели, как мы, стало быть, постановили, «Демона» вы не снимете, — извините, ваше превосходительство, в «Земщине» вас процыганить придется.

— То есть как это?

— Очень просто. Вот, мол, и губернатор! С немкой в незаконной связи находится и сам в хлысты перешел. Толстых баб ангелами выставляет.

— Запрещу. Иди. Ска-а-тина!

— Прощенья просим. Премного благодарствуйте.

Через два часа его превосходительство говорил очень худому человеку, оперному антрепренеру.

Говорил сердито, но стараясь на него не смотреть:

— Ну, время ли теперь «Демона» петь? Ставьте «Аскольдову могилу». Чем не опера?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Удивляюсь я вам, господа! Откопаете вы всегда что-нибудь этакое... не современное!

На афишных столбах висели анонсы: «По непредвиденным обстоятельствам вместо объявленной оперы «Демон» дана будет известная, знаме-

нитая опера «Аскольдова могила». А в первом же акте... Неизвестный, выйдя из лодки, орал, махая руками:

Люди ра-а-атные не смели
Брать все да-а-ром на торгу...

В партере раздался звон шпор.

Ротмистр расквартированного в городе драгунского полка Отлетаев, звеня шпорами и гремя шашкой, демонстративно вышел из театра.

— Оскорбление чести мундира.

Опера «Аскольдова могила» была снята с репертуара:

— Ввиду того, что в ней затрагивается военное сословие.

В театре открылся кинематограф. А местная газета уведомила:

«В следующем году наш оперный театр будет сдан интендантству и переделан на вещевой склад».

ПОВЕСТИ





Нашествие иноплеменников

(страничка из русской истории)

Посвящается
гг. «смелым предпринимателям»

I

Благодетели своего отечества

Еще каких-нибудь 6—7 лет

назад вы могли видеть ежедневно в самом центре Парижа, на площади Оперы, за столиками Cafe de la Paix, — словно насевших мух, — целыми стаями российских предприимчивых людей, в розницу торговавших своим отечеством.

Первое, что вас поражало в них, — это:

— Как они швыряются городами!

Только в остроге, вечером, после поверки, когда камеры заперты, скучно, тоскливо и в полутьме начинаются рассказы и воспоминания, в разговоре у бродяг можно услышать о таком непостоянстве.

Чтоб так швырялись местностями.

— А! Иван Иванович! Вы откуда?

— Два дня был в Лондоне. А вы?

— Сегодня вечером еду в Брюссель. Завтра утром назад. Послезавтра в Лондон, оттуда на два дня в Петербург, — и сюда.

— В прошлом месяце был четыре раза в Петербурге, шесть — в Лондоне и восемь — в Брюсселе.

— Думаю на минутку в Берлин проехать!

От разговоров их брала оторопь.

— Сегодня у меня решительный разговор со здешними капиталистами. Так — так так, а тянуть нечего. У меня группа бельгийцев есть. Просятся. 16 миллионов предлагают. А у вас?

— Моя, батенька, группа на мелкие дела не идет. Англичане! Шесть миллионов фунтов. Меньше не идут.

— Вам, собственно, большая группа нужна?

— Нет. Мне немного. Так, миллиона на два.

— Ну-у! Это и пачкаться не стоит! Затеять что-нибудь, так миллионов на двадцать!

— У меня группа капиталистов с 28 миллионами.

— Моя группа миллионов на 50!

Мне почему-то всегда вспоминалась при этих разговорах далекая юность.

Мы жили где-то на чердаке: я, прозаик, два поэта да еще один молодой человек, не писавший, но просто бежавший от родителей.

В одной комнате.

Все, что можно было заложить, было заложено. Квитанции на заложенные вещи — перезаложены. А квитанции на перезаложенные квитанции — проданы.

Единственный предмет роскоши, который оставался у нас, — колода карт.

Хотели и ее продать кухарке.

Но в колоде не хватило одной карты.

— Червенной десятки. Амурная постель! Какое ж удовольствие и гадать без такой карты!

Кухарка не купила.

С утра кто-нибудь брал колоду.

— Ну, ставь!

— Сколько там за мной?

— Шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи пятьсот тридцать семь рублей. Будем считать для ровного счета семь. А то умноженье!

— На пе. Шестерка.

— Шестерка бита. За тобой четырнадцать миллионов.

— Валет. Угол.

— Бит. 52 миллиона.

— На пе.

Расплачиваясь после миллионных разговоров за выпитый кофе, одни платили сами и наличными деньгами. Другие говорили:

— Ну, сегодня вы за меня заплатите! Менять не хочется.

Третьи конфиденциально подзывали гарсона:

— Запишете с прежними. Сколько там?

— С сегодняшним будет 27 франков, monsieur!

— Считайте тридцать.

— Merci, monsieur. Merci bien, mon prince!

Что продавали из своего отечества эти люди «с группами»?

Разное.

Концессию на постройку конно-железной дороги, внезапно открытые в Тульской губернии золотые россыпи, угольные копи, железную руду, подъездные пути с правительственной гарантией, великолепно оборудованные заводы, обеспеченные казенными заказами, необозримые леса.

Все.

Что только можно было продать в отечестве своем.

Кому это принадлежало?

Только не им.

Все эти земли, руды, леса, заводы принадлежали городам, крестьянским обществам, другим частным лицам.

Только не им.

Спасибо, месье. Спасибо большое, мой князь.

Когда человек являлся продавать что-нибудь группе иностранных капиталистов, на вопрос: «Кому это принадлежит?», можно было смело ответить:

— Кому угодно, кроме одного человека. Кроме него.

Кого, кого только не было в этой предприимчивой толпе, говорившей о миллионах и торговавшей своим отечеством?

Были люди с звонкими именами, но были и с такими, что по всем требованиям благопристойности давным-давно следовало бы хлопотать о перемене фамилии.

Были люди с остатками знатности, но были и с остатками хамства, и из одного хамства состоявшие.

Были такие, которых, несомненно, вы видали раньше в балете, в первых рядах, горячо обсуждавшими в антрактах.

— Трускина 3-я хорошо заносит. Но не тверда в пируэте!

Но были и такие, глядя на которых, вы долго думали:

— Где я это лицо видел?

Не то у Кюба за завтраком, не то на скамье подсудимых? Лица неопределенные. То, что называется:

— Корректные.

И только.

Все они имели одно общее.

Все эти люди, продававшие по частям свое отечество, были из Петербурга.

Впрочем, при взгляде на двоих, троих из них у меня, грешным делом, мелькнула мысль:

— Кажется, я их на Сахалине видел!

По наведенным справкам, впрочем, догадка оказалась преждевременной.

Еще не были.

Если бы кто-нибудь незаметно подошел к такой компании людей, говоривших о вопросах «государственной важности», и врасплох крикнул бы:

— Прокурор!

Я уверен, что девять десятых этих господ моментально спрятались бы под стол.

Через минуту, они, конечно, с достоинством бы вышли из-под стола и сказали:

— Как глупо так шутить! Мы думали — пожар.

II

Герой

Один из этой стаи славных малых преимущественно пред всеми привлек, приковал мое внимание.

Это был высокий, жигулястый малый, с беспокойными глазами.

Глаза его постоянно бегали по всем предметам вокруг, даже по стаканам, — ну, что стакан может стоять? — и мягко и с теплотою останавливались на серебряных ложках.

Его глаза бегали по цепочкам, по булавкам, по

пальцам рук у собеседников, словно отыскивали перстни.

И когда вы при нем вынимали не только золотой, но даже серебряный портсигар, вам становилось как-то неловко.

Вы видели, что он устремленными глазами взвешивал ваш портсигар, брал его, в душе уже шел в ссудную кассу, закладывал...

Такой это был предприимчивый человек!

С бумажником, с деньгами, даже с самыми незначительными, с ним было жутко разговаривать.

У него сверкали прямо какие-то рентгеновские лучи из глаз.

Вы чувствовали, что сквозь сукно, подкладку, кожу он пересчитывает деньги в вашем бумажнике.

И вам становилось даже щекотно. Ну, прямо трогает у вас в левом боку.

Не знаю, как другие.

Но мне, когда приближался этот господин, всегда казалось, что последняя стофранковая бумажка свертывается у меня в кармане, как береста на огне.

Так предприимчив был его взгляд.

Когда я увидел его в первый раз, — на меня вдруг нахлынули воспоминания.

Огромные, развесистые платаны Капуцинского бульвара вдруг почему-то съежились и превратились в мелкие колючие ели.

Запахло вереском.

Тайга...

Шум экипажей, голосов смолк. Мертвая, мертвая тишина...

Только дятел где-то стучит.

Стук... стук...

Словно гроб заколачивают.

От компании предприимчивых людей с «группами» вдруг лягнул стук кандалов. (Они просто рассчитывались с гарсоном и звякали франками.)

И затерянная в тайге Онорская тюрьма.

У открытых дверей канцелярии скамья, на которой порют арестантов, — «кобыла». Палач и длинные, как удочки, розги.

За столом канцелярии смотритель и доктор.

— Бродяга Иван Непомнящий!

К столу подходит вот этот самый молодой человек с беспокойными глазами, полураздетый.

Глаза бегают вокруг, с предмета на предмет, и кажется, уж тащат со стола чернильницу.

— Подвергался телесным наказаниям?

— Никак нет, ваше выскобродие!

— Карпов, потри.

Надзиратель Карпов берет суконку и трет Непомнящему спину.

— Пробовал! — усмехается надзиратель. Мы глядим.

На покрасневшей спине вдоль, поперек, крест-накрест белые полосы, — следы «заданных» розог.

— Обывалый. Иди, ложись!

Я зажмуриваю глаза. Противный, ужасный свист розги, рассекающей воздух.

— Позвольте вас...

Молодой человек с беспокойными глазами шел на меня с моим знакомым.

Он улыбался мне.

Узнал?

Я готов был кинуться к нему, схватить его за руку.

— Удалось? Бежали? Освободились из того

ада? Поздравляю! Как я счастлив видеть вас здесь, среди жизни! Ведь это воскресение! Настоящее воскресение из мертвых!

Но мой знакомый успел отрекомендовать:

— Позвольте вас познакомить. Г. Каталажкин, известный предприниматель!

Какие, однако, бывают сходства!

А он стоял передо мной, улыбающийся!!

Сквозь карман считал взглядом деньги в моем бумажнике, шарил мелочь в моем кошельке. Посмотрел (так мне показалось), который час на моих часах.

И улыбнулся еще раз, успокоительно.

Словно хотел сказать:

— Немного! Но не трону!

Обрадованный, я спросил почти с умилением:

— Устраиваете большое предприятие?

Он отвечал голосом, полным достоинства и снисходительности:

— Рудное дело и устройство подъездного пути. Кончаю с группой из французских и бельгийских капиталистов.

— Миллионное дело?

— Тридцать четыре.

Он сказал это удивительно просто. Почти до очаровательности.

III

Исключительная страна

Возле биржи, в одном из шикарнейших ресторанов, где есть солидный и деловой люд, в кабинете сидела за завтраком «группа» капиталистов.

Французы и бельгийцы.

С биржи, — как это всегда бывает на парижской бирже, — неслись шум, гам, крики, — казалось, вопли. Словно там действительно грабили, душили, резали, снимали рубаху друг с друга.

За завтраком, под такой странный аккомпанемент, было оживленно.

Французы и бельгийцы жрали.

Жрали устрицы, жрали столовыми ложками зернистую икру, — нынче зернистую икру столовыми ложками только и жрут, что в Париже, — жрали филейчики соли в белом вине с креветками, с шампиньонами, трюфелями, жрали истекающий кровью шатобриан с дутым, розовым, пухлым картофелем, сыры, землянику.

— Позвольте соуса беарнез?

— Хорошо ли это для желудка?

— Превосходно.

— Здесь хорошо едят!

— Каждый день здесь завтракаю. Желудок работает идеально.

— Красного вина для желудка.

— Благодарю. Я белого. Это прочищает

— Земляники! Ускоряет пищеварение.

— Рокфору?

— Боюсь, тяжело. Для моего желудка бри.

Они жрали, словно протапливали машины.

И на этот жирный, гладкий, лоснящийся народ жутко было смотреть.

Все равно что в паровозном депо ходить мимо паровозов.

Казалось, вот сейчас эти огромные машины протопятся, разведут пары, свистнут, наедут — и останется от тебя один дрызг.

Было в них что-то угрожающее.

Даже глаза горели, как ночью фонари на курьерском паровозе.

Г. Каталажкин сидел среди них веселый, радостный, возбужденный.

Он сыпал ответами во все стороны.

На него глядели со всех сторон пристально, в упор, в него впивались глазами.

Другой бы сдох под такими взглядами.

Во всяком пристальном взгляде читалось:

— Жулик ты или не жулик? Скажи по совести!

А он вертелся на месте, радостно поворачивался к тому, кто его спрашивал, весело улыбался и, не успевали задать вопрос, посылал ответ.

Так посланный с поручением лихой охотник-казак, вырвавшись за линию, крутится и вьется на быстром скакуне под выстрелами неприятельских батарей.

Его заметили, по нем целят; направо, налево с визгом шлепаются гранаты.

А он, пьяный от своей удали, гарцует, крутится, дразнит.

И седой есаул издали, глядя в бинокль на удальца, и любитесь им и бранит, приговаривая при каждой шлепнувшейся гранате:

— Ах, подлец!.. Вот подлец!..

Г. Каталажкин сыпал ответами.

И все выходило у него просто, как палец, ясно, как день.

— Земля? Чья земля? Конечно, не моя, mon cher monsieur.

Он раздражался хохотом, всех заражавшим.

— Земля разных владельцев. Частных лиц, го-

родов... Как достать? А принудительное отчуждение?!

И снова раздражался всех заражавшим хохотом.

— Почем сдадут крестьяне руду? По сколько хотите! Поскольку вы хо-ти-те! Что хотите, то дадите!

— Как? У них есть «мир». Община! Коммуна! Ха-ха-ха!

Он снова гремел хохотом, так странно сливавшимся с криками, воплями, доносившимися с биржи.

— Два ведра водки, — пишут приговор, какой хотите!

И он восторженно, почти вдохновенно воскликнул:

— Вот куда вы идете, messieurs!!!

И мне казалось, что я не в 1897 году сижу и не в Париже. Что теперь 862 год.

И что кругом не группа французских и бельгийских капиталистов, а сидят варяжские князья.

И перед ними куражится бойкий выпивший новгородец-посол. И похохатывает:

— Земля-с велика-с ж, обильна-с, а порядку в ней нету-с! Хе-хе!

И бьет об пол шапкой:

— Приходите и владейте! Одно слово!

Но как ни пьян, — добавляет:

— Только, ваше высокоблагородие...

Я уверен, что русский человек тогда и изобрел:

— Ваше высокоблагородие!

Как же иначе было звать начальство?

— Только, ваше высокоблагородие, меня при сем не забудьте. Будьте настолько милостивые!

Подали кофе и ликеры. И только тогда кто-то капиталистов вспомнил спросить:

— А законы?

— Законы?!

Лицо г. Каталажкина сделалось даже сверхъестественно нагло. Как ни капитальны были люди, сидевшие за столом, но г. Каталажкин обвел их прямо бесстыдно удивленным взглядом. Словно хотел воскликнуть:

— Ну и к дуракам же я попал!

— Законы! — удрученно и со вздохом повторил капиталист.

— Законы?

Г. Каталажкин прищурился.

— Вы, monsieur, меня видите?

— Вижу! — с удивлением отвечал капиталист.

— Ну, так вот!

Г. Каталажкин помолчал секунду и dokonчил просто и спокойно:

— Ни разу в жизни по закону не поступил и ни разу в жизни со мной по закону поступлено не было!

Все не захохотали, а загрохотали. А мне вдруг опять вспомнилась Онорская тюрьма...

Надзиратель Карпов потер бродяге Непомнящему суконкой спину:

— «Пробовал!..»

Г. Каталажкин снисходительно посмотрел на капиталиста, сомневавшегося насчет законов.

Впрочем, и тот теперь имел вид сконфуженный:

— Ловко ли? При русском человеке такой разговор завел?

И только так, для очистки совести, пробурчал:

— Но ведь у вас есть законы?

— Есть! — отвечал г. Каталажкин твердо и непоколебимо. — Есть!

И, обведя присутствующих торжествующим взглядом, продолжал:

— Но что есть законы? Законы суть острые и неприятные колючие шипы, среди которых расцветают благоухающие розы — исключения!

— Monsieur Каталажкин! Вам какого ликера прикажете? — почти подобострастно предложил один из капиталистов.

— Зеленого шартреза. Закон, messieurs, это отличительный огонь, это бакен, это маяк, поставленный на опасном месте! Он предупреждает! Он говорит смело идущему мореплавателю: «Здесь мель. Здесь камень! Не лезь! Расшибешься! Не иди прямо, а юрхни в исключенье. Обойди!»

— Messieurs. Здоровье monsieur Каталажкина! — в восторге воскликнул капиталист, сомневавшийся было насчет законов.

Он задышался, он захлебывался:

— Здоровье, здоровье monsieur Каталажкина.

Все чокнулись и посмотрели на него с сожалением:

— А ты давеча этакое вдруг сморозил? А!

Г. Каталажкин нагел с секунды на секунду.

— Merci, господа! — величественно кинул он. — Простите меня, но, идя к нам, вы кажетесь мне детьми! Вы — настоящие дети! Которым нянька наговорила: «Городовой! Городовой! Вот придет городовой и посадит тебя в мешок!» И вы представляете себе городского, мирного городского, в виде какого-то чудовища! «У-у-у...» Ха-ха-ха!

Все смеялись с виноватым видом:

— Действительно, мол, маху дали!

— Законы есть везде. У вас и у нас. Но что такое ваш закон? Что-то вроде английского полис-

мена. Стоит этакая дубина посреди самой бойкой улицы в Сити. По улице мчатся туда, назад. Мчится финансист, у которого огромное предприятие. Каждая минута может стоить миллион. Мчится доктор оказывать помощь смертельно больному. Секунда может стоить человеческой жизни. Мчится кредитор за убегающим должником. Мчится супруга важного лица по визитам. Черт меня возьми, если я знаю, кто там еще и зачем мчится! А он, дубина-полисмен, поднял белую палку, — и движение вмиг остановилось. Жизнь мгновенно прекратилась. И хоть ты там что! Пусть рушатся предприятия, умирают тяжело больные, движение не возобновится, пока полисмен в синем шлеме не опустит своей белой палочки. Тфу! У нас закон — мягкий, вежливый, предупредительный городской. Он тоже поднимает руку (палочки у него нет). Он тоже поднимает руку, — и движение приостанавливается. Он крикнул: «Стой!» — но он любезным взглядом обводит толпу и умеет различать. «Стой!»

— А вы, ваше превосходительство, извольте проехать! Кучер ее превосходительства может проехать!

— Ваше высокобродие, — говорит он финансисту, — извольте торопиться по делам? Пожалуйста, проезжайте!

— Кучер его высокобродия, вперед! А остающимся он грозно кричит:

— Стой! У их высокобродия такие дела, какие вам и в лоб-то не влетят! Им надоть!

Он отличил уже и кредитора, гонящегося за должником.

— Ради бога, голубчик! Вот сейчас хватит в бо-

ковой переулоч, — ищи-свищи его потом! Случай такой экстренный!

— По случаю экстренного случая можете проехать!

И снова кричит он грозно остальным:

— Стой! Они не в очереди!

Доктор обращается:

— Больной может умереть...

— Ежели больной... Извозчик, можешь проехать. Пожалуйста!

Г. Каталажкин лукаво прищурил глаза и подпер руками бока.

— Кто же вам мешает сказать, что вы тоже доктор, и будто вас ждет умирающий больной? Сказали, и вас пропустят. В виде исключения!

Я был на юбилее Сары Бернар. Таких оваций Сара Бернар не видела.

Все повскакали с мест.

Лица капиталистов сверкали теперь восторгом.

Видимо, всякий из них решил «выдать себя за доктора».

А г. Каталажкин гремел среди них теперь вдохновенно, как поэт, как пророк.

— Закон — неподвижный. Закон — окаменелость. Закон — гранит. Закон — препятствие, закон, о который только и можно, что разбить себе голову. Нет, этого закона я не понимаю. Такого, *messieurs*, вы у нас не найдете! Закон мягкий, гибкий, эластичный, закон — пух! Закон, на котором можно спать! Вот то, что надо. Вот то, что вы найдете! И если мрачно, грозно, зловеще звучит неприимчивому человеку это неприятное слово: «закон!» — то как мягко, нежно, деликатно, какой чарующей мелодией звучит: «исключение!» Песнь

соловья и запах лилий в этом слове! Если слово «закон» звучит как «de profundis»¹, как «со святыми упокой» смелым и предприимчивым планам, мечтам, — то какой песнею надежды, бодрящей радости звучит это нежное, это сладкое слово: «исключение». Повиноваться законам и только одним законам. Не видеть вокруг себя ничего, кроме законов. Какая суровая доля! Это все равно, что управляться победителями, грозными, суровыми, непреклонными.

Тогда как управляться исключениями, мягкими, гибкими, податливыми... это... это — жить среди друзей. Среди друзей, готовых на всякую уступку, полных снисходительности, желания быть вам приятными, полезными. О, зачем вы, иностранцы, не знаете нас! О, зачем вы задаете такие вопросы?! — взвыл вдруг почему-то г. Каталажкин.

Капиталист, сомневавшийся было насчет законов, вскочил покрасневший, растерянный, уничтоженный, чуть ли не со слезами, кажется, на глазах.

— О, простите, sheer monsieur's! О, простите! Это, право, недоразумение! Я и сам теперь вижу, что сказал глупость! Не сердитесь!

Г. Каталажкин в знак прощения мимоходом подал ему левую руку и продолжал:

— У нас закон родится уже с исключениями, как женщина со всеми своими прелестями.

Кто-то даже «сладострастно» заплодировал.

— В законе, например, сказано: «Такую-то должность может занимать только лицо с университет-

¹ Заупокойный гимн в католической церкви.

ским образованием. Определенно и безапелляционно. «Только». Но сейчас же добавлено примечание: «В виде исключения, однако, место это может занимать и лицо, получившее достаточное, хотя бы и домашнее только образование!»

За исключение, господа!

— Гарсон, шампанского!

Кажется, даже целовались.

Когда звон бокалов смолк, г. Каталажкин продолжал растроганным голосом:

— За исключения, которые смягчают острые углы законов. «В виде исключения в интересах общественной пользы». «В виде исключения в интересах высших соображений». «В виде исключения в виду усиленных ходатайств». Какое поле, какой простор для предприимчивых умов, для смелости, для гениальности! Для деятельности, для широкой, для безбрежной деятельности, господа!

И словно пораженный открывавшимися перспективами, г. Каталажкин в каком-то изнеможении упал в кресло, и выпавший, как у толстовской «Грешницы», из его руки бокал со звоном покатился по полу.

Все кругом были столь возбуждены, что делалось даже страшно.

Казалось, что сейчас кого-нибудь разорвут в клочья.

Такая вдруг проснулась предприимчивость.

Уж и воплей и криков биржи не стало слышно. Все говорили разом, жестикулировали, захлебывались, радостно и страшно гоготали.

Они уже делили, рвали на куски район, куда звал их г. Каталажкин.

— Принудительное отчуждение!

— И у частных лиц, и у городов!

— А кто не согласится, тех в Сибирь! — воскликнул даже кто-то в поэтическом порыве.

— Землю у крестьян за сотую копейки с пуда руды!

— Нет-с, за двухсотую!

— За трехсотую!

— Два ведра водки в них влить, чтоб подписывали соглашение!

— Даже три!

— Четыре вкатить в каналей!

— А кто не будет пить водки, тех в Сибирь! — опять воскликнул кто-то в поэтическом восторге.

Французские и бельгийские капиталисты кидались среди этих восторгов к нам, русским, и до боли жали нам руки:

— О, ваша страна имеет будущее! С таким простором для инициативы! Мы к вам придем! Мы к вам придем! Исключительная страна!! Страна исключений!

Так что в конце концов явился со сконфуженным видом хозяин ресторана:

— Извините, messieurs, я, конечно, понимаю вашу радость. Но в соседних кабинетах пугаются!

Мы выходили с этого пиршества с г. Каталажкиным вместе. Он имел вид упоенный, но утомленный. И сказал только:

— Видели?

Я почти с ужасом каким-то, сам не знаю почему, воскликнул:

— Видел. Слышал. В изумлении. Не знаю, как даже вас вознаградить. Разве только откровенностью. Послушайте, Каталажкин! Ведь вы врали?!

Г. Каталажкин посмотрел на меня прямо и ясно:

— Врал.

Он полюбовался, кажется, моим изумлением и повторил так же просто, так же спокойно, так же ясно:

— Врал. Но вы думаете, на другое они пойдут?

И вдруг с каким-то неожиданным порывом он воскликнул, чуть не заскрежетав зубами:

— Они бы всю Русь, и с потрохами, с потрохами, что в земле, слопали. Да врут! Врут! Сначала я их проглочу и выплуну!

Он успокоился и кончил с гордостью, ударив себя в грудь:

— Потому что я патриот!

Не знаю почему, но в эту минуту мне снова вдруг неудержимо захотелось его спросить:

— Скажите, не видал ли я вас в Онорской тюрьме?

IV

Подозрительная личность

Со времени завтрака, за которым г. Каталажкин продавал свое отечество, прошло несколько дней.

Однажды утром ко мне явился мой приятель, южанин-помещик Петр Семенович Тюбейников.

Бледный, расстроенный, убитый.

Тюбейников был тоже «предприниматель».

Но земля, которую он собирался эксплуатировать, принадлежала ему. Обстоятельство не только странное, но даже невероятное!

В его земле, действительно, нашлась какая-то руда. В те времена тоже редкость!

Тюбейников попробовал было заинтересовать

российских капиталистов, — ничего не вышло. Плюнул и махнул в Париж.

— Звать иноплеменников.

Мы встречались в Париже несколько раз. Тюбейников ходил весело, потирал руки:

— На мази! Идет! Устраивается!

И вдруг явился с помутившимся взглядом, убитый, уничтоженный, Человека всего перевернуло.

— Что с тобой? Нездоров?

Тюбейников взглянул со скорбью и отчаянием:

— Все погибло! Все вдребезги! Ничего нет! Убит и ошельмован!

— Ну, уж и ошельмован? Кем? Как? За что?

Тюбейников развел руками:

— За что, — не знаю. Но ошельмован. Оно, положим, махну я к себе в губернию, — мне на всех этих поганцев французишек плевать! Смешно даже будет вспомнить!.. Эх, деревня!

У Тюбейникова чуть не слезы навернулись на глазах:

— Усадьба у меня на горке. Глянешь, — и перед глазами степь. Как море степь! С горизонтом сливается степь! Всю Европу бы твою подлую в этой степи утопил. Приди только! Теперь вся степь цветет, и по ней зигзагами, вавилонами, выкрутасами блестит и сверкает на солнце река. Пахнет со степи ветром, — опьянеешь. Теплом и цветами. Э-эх!

Тюбейников уронил голову на руки.

— А ты иноземцев, брат, на эту степь зовешь!

— Гнусно! Гнусно, брат! — завыл Тюбейников. — Представить не можешь, как гнусно! Расхваливаешь им наши места, словно родную сестру или жену с кем устраиваешь. Тфу! Ровно гово-

ришь: «Жена у меня, знаете, очень красива и сложения, знаете, изумительного. Не угодно ли поухаживать»? Тфу! Тфу! За это, может, мне и наказание, ошельмовали! Ошельмовали вконец! Известно, мне потом плевать на них, но теперь бы хоть в морду дать... Все бы легче!

— Ну, морда-то, брат, в Вержболове осталась. С Эйдкунена уж лицо пошло.

— Да и кому рыло бить — неизвестно.

— Дело-то в чем? Дело?

Тюбейников вздохнул:

— Дело в том, что надо неизвестно за что оплеванным к себе ехать. Ты мое это самое «предприятие» — будь оно трижды проклято! — знаешь. Нашлась руда. Нынче все на руде помешаны. «Миллионы в земле!» Произвел изыскание. Дело действительно богатейшее. У меня, брат, все как должно, без обмана. Сам влетать не хочу и других втравливать. Переговорил с крестьянами. Согласны и свои земли пустить. Доверенность мне дали. Махнул в столицы. Капиталистов заинтересовать. Приехал к одному. Человек молодой, отзывчивый. Кембриджский университет, что ли, там, кончил. В разных обществах такие речи о русской самодеятельности произносит, — страсть. Журналы философские субсидирует. Выслушал.

— Тэк-с! — говорит. — Только вы не туды-с! Нам тятенька мануфактурное дело оставили. Дело природное-с наше. Оно нас и кормит. А окромя своего природного дела, я только философию и признаю-с!

— Этакая животина! Кембриджский университет кончил, а «окромя» говорит. Да еще с хвастовством каким-то:

— Вот, мол, как у нас. Купцы природные, хоша и в английском университете баловались! Ежели бы, — говорит, — вы, например, философский журнал для разработки учения господина Ницше, али газету с истинно российским направлением — чтобы, значит, всяческая поддержка российской промышленности, — тогда мы согласны заинтересоваться. А руда. Что-с руда!

— Да ведь, говорю, российская самодеятельность!

— Российская, — отвечает, — самодеятельность ни от чего другого, как единственно от таможенных пошлин, расцвествь может. Обложите пошлиной иностранный товар, и всякая самодеятельность процветет! Мы о самодеятельности больше с этой самой точки! Потому у нас мануфактурное дело. От иностранной конкуренции потерять может!

Плюнул и поехал к старику одному. Просвещенный такой старик, меценат. Выслушал меня внимательно, одобрил:

— Это ты, — говорит, — действительно, верно! А только вот что я тебе скажу: изо всех, брат, залежей, какие только есть на свете, — самые верные — это залежи процентных бумаг. Ежели в нестораемых шкапах! Чудесно! Лежит, — а на ней сам собой купон растет. Умилительно! Чисто на цветочном кусту почка. Зреет и наливается. А поспел — срежь. Вот это, брат, руда!

Плюнул и в Петербург махнул. Там меня и обучили:

— По вашему делу надо ехать в Париж. Обратитесь к капиталисту такому-то. Он живо вам группу составит.

Приезжаю. Отправился к капиталисту. Приказали через неделю, во вторник, в 8 часов 12 минут утра прийти. Чисто Наполеон! Тфу!

Секретарь говорит:

— Только не опаздывайте. А то вы, русские, всегда с опозданием являетесь. Со временем, *messieurs*, распорядиться не умеете. Словно у вас, у русских, 48 часов в сутки.

Пришел через неделю, в 8 часов 11 минут. Через минуту выходит «сам», патрон. Толстая такая скотина. Кивнул, руки не подал, сесть не пригласил.

— Изложите, — говорит, — вкратце. — А то вы, русские, рассказывать не умеете, от Адама начинаете.

Тфу! Изложил. Услыхал «руда», стал внимательнее.

— Документы, — спрашивает, — есть? Пояснительная записка?

— Вот!

— Оставьте. Ответ на дом получите. Да только не забудьте адрес приложить. Не русский-с, не русский-с, а парижский, здешний! Где остановились, а то вы, русские...

До того он, брат, меня этим «вы, русские» допек, что я даже конфузиться начал. Словно какое преступление. Тфу!

— А то, — говорит, — вы, русские, даже в письмах адрес свой написать забываете. Куда вам, русским, отвечать, даже не знаешь.

Кивнул и повернулся.

Пошел я домой. Только не прошло трех дней — записка. От секретаря:

«*Monsieur* вас будет ожидать завтра, такого-то

числа, в 7 часов 18 минут утра. Примите уверение»...

Явился, брат, в 7 часов 15 минут. Через три минуты выходит. Улыбка до ушей и прямо мою руку в обе руки схватил. Схватил и не выпускает. Руки такие мягкие, но цепкие. Видимо, что бы в руки ни взял, выпустить не любит. Держит, жмет и греет. А в глаза, как влюбленный, смотрит и зубы оскалил:

— Ах, monsieur, — говорит, — в кабинет пожалуйте!..

И в кабинет ввел. Кабинет — головокружение. Бронза, мрамор. Картины из Салона. Прямо «просвещенный друг искусств». Во весь рост портрет работы Бенжамен Констана. Во всей его натуральной мерзости патрона изобразил. Шкафы, золотые переплеты так и горят. Словно не книгами, а золотом полка уставлена. И на видном месте, на столике, роман Поля Буржэ кинут. Раскрыт, и на заглавной странице крупными буквами: «Моему другу на добрую память от автора». Чай, сам написал!

Вынимает сигару:

— Вы курите?

Я сигар не курю. Особенно утром.

— Курю! — говорю.

— Нет, объясни ты мне, на кой черт мы перед этими иностранными капиталистами так подличаем?

— Ведь не даст он за это денег?

— Наверное, не даст.

— И я знаю, что не даст. Зачем же мы так подличаем?

— Не знаю.

— И я не знаю. Давлюсь, тошнит, а курю. Нельзя! «Сигара капиталиста!» А он сидит этак в кресле, пузо выкатил, на меня вытаращенными рачьиими глазами покровительственно смотрит, словно на идиота, которому сказать хотят:

— А ты, душенька, оказывается, не совсем уж идиот! Не ожидал! Не отчаивайся!

Смотрит на меня, скот, улыбается:

— А у вас, — говорит, — все сметы, вычисления хорошо сделаны. Совсем хорошо. Вы, русские, обыкновенно этого не умеете. Совсем, совсем не умеете. У вас, у русских, мечты. Где нужны цифры — мечты! Вы, русские, совсем не способны к цифрам, к положительному, к точному

Зло меня взяло.

— Пойдите же, — думаю, — я тебя!..

И пошел и пошел. Дело излагаю, как в государственном совете. Сам себя слушаю! Книгу — писать! Стенографу за мной записывать!

У капиталиста даже сигара потухла. Так забрало. Заинтересовался так, что даже страшно.

— Дело золотое! — говорит. — Золотое дело! Мы с удовольствием пойдем. Я и моя группа. Вам надо еще вот с кем повидаться, вот с кем. Все наши, наши группы. Капитализируем охотно. Если вам удастся их так заинтересовать, как меня. Да я не сомневаюсь.

А на меня уж восторг какой-то нашел. Чувствую, что несу. Как лошадь, несу.

«Проняло, — думаю, — французскую шельму! Будешь говорить: «вы, русские»...»

Подлое этакое чувство в душе взыграло. Слово всю жизнь в лакеях служил! Хочу себя перед ка-

питалистом с самой лучшей стороны аттестовать. Хочу — да и все.

«Покажу, мол, тебе, что не с прощельюй каким разговариваешь!»

— Теперь-с, — говорю, — когда экономическая сторона предприятия выяснена, — позвольте мне перейти к юридической!

Капиталист взглянул на меня этак, слегка с удивлением.

— Переходите, — говорит, — если вам угодно!
«Ага, — думаю, — забрало! Я тебе, брат, сейчас обосную!» И пошел!

— Осуществление, — говорю, — предприятия ни в коем случае заторможено быть не может, и никаких препятствий встретить не должно. Ибо! Ибо во всех своих частях оно вполне согласно с существующими на этот счет законоположениями. Закон такой-то, закон такой-то, закон такой-то...

Только, брат, замечаю я что-то странное. Доселе пылавшие глаза его вдруг стали гаснуть, меркнуть, покрываться как будто пеплом. Улыбающееся лицо стало окисляться. Принимать оттенок скуки.

А я-то:
— Закон такой-то гласит. Закон такой-то...

Капиталист сначала зевнул. Затем в глазах его отразилось некоторое недоумение, потом недоверие. Потом страх.

Он даже с испугом взглянул на костяной нож, который я, увлекшись, вертел в руках.

Словно хотел сказать: «Лучше положи. Забудешься и возьмешь!»

Так что я даже сконфузился и — подлец! — отложил ножик. И когда я сказал:

— Так что предприятие, как основанное совершенно на законных основаниях...

Он поднялся с места и сухо закончил:

— Конечно, все это, вероятно, очень забавно, что вы говорите. Но, извините, я и моя группа... После того, что вы изволили сказать... Вообще... Извините... Я занят, и мне анекдотов слушать некогда!

Позвонил и сказал человеку:

— Проводите monsieur!

И так сказал, что человек-подлец, когда я ему дал на чай два франка, долго вертел монету в руках:

— Не фальшивая ли?

— Не ошельмован?

— Нет, ты скажи мне, какие тут анекдоты? При чем тут анекдоты?

Тюбейников развел руками:

— Убей, — не понимаю.

— Ну, а дальше что?

— Что дальше! Ошельмован, и конец. Пошел к тем, кого он называл, из их «группы». К кому ни приду, когда ни приду:

— Дома нет!.. Занят... Никого не приказано принимать...

Прищучил, наконец, одного подлеца у подъезда. В экипаж сажился. Тут уж не отвертишься! Подскочил.

— Позвольте, — говорю, — представиться. Тюбейников!

В экипаж он скакнул:

— Ах, — говорит, — слышал! Вы, monsieur, говорят, очень забавные анекдоты рассказываете!

Но я, извините, до анекдотов не охотник... Мне некогда.

— Какие, — говорю, — анекдоты?

— Нет! Нет! Извините! Я человек занятой! И в серьезные, тем более денежные, дела с людьми, рассказывающими анекдоты, не вступаю!

И с испугом каким-то крикнул кучеру:

— Пошел!

Огорченный, убитый, уничтоженный Тюбейников пожал плечами:

— Вот ты и пойми!.. До чего дошел! В сыскную полицию обратился. Сам о себе справки наводить начал!

— Как в сыскную полицию? Зачем в сыскную полицию?

— Думаю, может, про меня кто-нибудь пакости какие распространил. Письма анонимные. Надо же разузнать, почему от меня люди шарахаются. Знаешь, у них тут, в Париже, есть частные конторы по сыскной части. Жену неверную выследить, справки о ком навести. Пошел в такую контору.

— Есть, — говорю, — тут приезжий из России, помещик один, предприниматель, Тюбейников. Остановился там-то. Имеет дела с такими-то и такими-то капиталистами. Нельзя ли мне разузнать, что это за человек. Капиталистов этих, что ли, как стороною расспросить. Что они об нем скажут?

— Извольте, — говорит, — сто франков это будет стоить. Деньги вперед.

Заплатил сто франков. Посмотрели, не фальшивые ли.

— Приходите, — говорят, — через три дня.

Прихожу через три дня.

— Готово?

— Все справки наведены.

— Ну, и что же?

Хозяин бюро конфиденциально к уху наклоняется:

— А вот что, monsieur! Если вам с этим господином придется когда встретиться, — бегите.

— Как? — говорю. — Бежать? Почему?

— Такие, — говорит, — сведения.

— Какие сведения?

— Подозрительная личность. В высшей степени подозрительная личность.

— Понимаешь, — стою, как бревном по башке звезданули.

А хозяин бюро, подлец, еще к уху наклоняется.

— По всей справедливости, — говорит, — с вас, monsieur, еще бы сто франков, по меньшей мере, следовало. От этакой опасности вас спасли, об этакой подозрительной личности предупредили!

Хотел ему в ухо дать. Но прямо в ту пору не знал, что делать. Выхожу из бюро этого, подлого, и у самого мысль: «А на самом деле, может быть, этот Тюбейников-то жулик?! Не встретиться бы!»

Понимаешь, с ума сходить начал!

Что я? Не разберу. Честный человек или впрямь подозрительная личность? Нет ты объясни мне, что это значит?!

— Положение твое действительно затруднительное. Но объяснить ничего не могу. Сам знаешь: я в этих ваших предприятиях, группах — ни бельмеса. А вот что! Есть у меня знакомый. Г. Катаджкин. Маг и волшебник по этой части. Мо-

жет, к нему пойдём? Может, он объяснит? Да ты не плачь!

И мы пошли с убитым приятелем к г. Каталажкину.

V

Наполеон

Г. Каталажкин жил в отеле «Континенталь», в угловом отделении на две улицы, где вообще останавливаются самые высокопоставленные особы.

Когда мы спросили:

— Г. Каталажкин дома?

Швейцар, на что гражданин республики, и тот, как самый урожденный лакей, картуз с головы сорвал и на отлет отставил:

— Вам удача, messieurs! Monsieur le prince как раз в эту минуту дома и изволят принимать!

И, позвонив лакея, приказал:

— К monsieur le prince!

Лакей довёл нас до первой площадки и передал другому лакею:

— Проведите к monsieur le prince!

С лестницы, навстречу нам, спускался толстый господин с оскаленными зубами.

При виде его Тюбейников вострепетал.

— Мой!

— Кто твой?

— Капиталист!

Услыхав, что лакей сказал: «к monsieur le prince», капиталист с изумлением оглядел Тюбейникова.

Словно хотел сказать:

— Такая шишгаль с такой особой может иметь дело?!

Так красноречив был его взгляд!

В коридоре второй лакей передал нас третьему, а четвертый лакей, отворив нам дверь в отделение, с благоговением сказал:

— Пожалуйста. Monsieur le prince приказал вас принять!

Г. Каталажкин, в сереньком костюмчике, бодрый и необыкновенно подвижный, в первую минуту нас словно и не заметил.

Он «отпускаял» трех французов. Все были толсты. У всех зубы оскалены. И все похожи на капиталистов.

Одному сказал:

— Можете смело ехать в Петербург. Граф предупрежден о вас и вашем деле!

Другому:

— Князь обещал оказать вам содействие. Я получил от него письмо.

Третьему:

— Ваше дело отлично. Барон заинтересован.

И когда они, пятясь и кланяясь, стали удаляться к двери, обратился к нам:

— Messieurs!..

Таким тоном, что выходявшие могли думать, что мы приговорены к смерти и явились умолять г. Каталажкина:

— Дозвольте нам жить!

Как только дверь за капиталистами закрылась, г. Каталажкин вдруг превратился в отличнейшего малого и воскликнул:

— Очень рад! Очень рад, господа! Садитесь. Курите. Как дома!

— Вот позвольте познакомить вас с моим другом Тюбейниковым.

Г. Каталажкин заглянул на него с любопытством:

— Слышал... Это вы и есть подозрительная личность?

Тюбейников подскочил на месте:

— И вы слышали?

Г. Каталажкин расхохотался самым откровенным образом:

— Весь деловой Париж про вас знает! Вас даже принимают за немецкого шпиона.

Тюбейникова чуть не хлопнул удар. Но я прервал г. Каталажкина:

— Позвольте, *monsieur* Каталажкин, чтобы мой друг сначала изложил вам свое дело.

Пока Тюбейников рассказывал свои злоключения, г. Каталажкин улыбался, покачивал головой, а когда речь зашла о том, как мой друг сам о себе в сыском отделении справки наводил, г. Каталажкин уж откровенно расхохотался:

— Сведения не совсем точные. Этот мошенник хозяин бюро плохо справлялся. Мнения о вас разделились. Одни считают вас... Позвольте говорить прямо?

— Пожалуйста!

— Одни считают вас... *pardon*¹, это не мое мнение... просто-напросто идиотом.

— Ну, это еще слава богу.

— Другие — авантюристом и мошенником.

— О, черт!

— А третьи принимают даже за революционера.

— Что?!

— Ну да! — преспокойно пожал плечами г. Ка-

¹ Извините (*фр.*).

галажкин. — По мнению французов, русский, говорящий о законах, — революционер.

Г. Каталажкин снова с удивлением пожал плечами:

— Положим, что к вам является человек, ну, хоть из Франции. И говорит, что в его стране бегают страусы. За кого вы его сочтете? За кого?

— Ну, за враня.

— Вот, видите! Людей на грабеж приглашаете и говорите о законах. Своевременная тема!

Тюбейников даже вскочил со сжатыми кулаками:

— Как на грабеж?! Когда я своих 300 тысяч вкладываю!

Но г. Каталажкин спокойно ответил, только несколько отодвинулся:

— Во-первых, потрудитесь разжать кулаки. Дело гражданское. А во-вторых, вам самое лучшее ехать домой.

Г. Каталажкин посмотрел на Тюбейникова уничтожающим взглядом:

— Ну, какой вы есть продавец своего отечества? И кто у вас отечество купит?

Он с чувством собственного достоинства ударил себя в грудь:

— Я — продавец! И у меня купят! Потому знают, у меня ни за собой ни перед собой! Ничего! А потому и делай с моим отечеством что угодно. Отдаю! Ешь! Жри! Грабы! На клочки рви! Продаю! Мне что? Мне только учредительских акции продай, — я их сейчас же реализую и вон из дела. А там делай что хочешь! Пластом свое отечество перед ними положу. Делай что хочешь! А вы? Триста тысяч своих человек вкладывает. Какую же на

него надежду можно возложить, что он грабить даст? Отечество свое продать возможно, но своих интересов, извините, никто не продаст!

Г. Кatalажкин даже расхохотался:

— Русский предприниматель! С деньгами! И о законах говорит!! И вы хотите, чтобы вас за подозрительную личность не сочли? Мне ваш капиталист с ужасом рассказывал. «Приехал, — говорит, — из России подозрительный человек, о законах говорит. Я его спрашиваю: «Какие лица за вас?» А он отвечает: «За меня такие-то законы». Это людям-то, которые убеждены, что у вас вместо законов одни лица. Запасись соответствующими лицами, и никакие соответствующие законы тебе не страшны. А вы!.. Эх, вы!!

Тюбейников вышел от г. Кatalажкина прямо потрясенный.

— Знаешь, — воскликнул он в швейцарской, — этот твой Кatalажкин либо жулик, либо Наполеон! Либо он на Россию дванадесять языков приведет, либо... либо сам дванадесять языков слопаёт!

А мне вдруг снова почему-то вновь вспомнилась Онорская тюрьма.

Надзиратель Карпов потер Непомнящему спину: — Пробовал.

VI

В кабаке

Это было дня через два в кабинете у Пайяра. Великолепный обед кончился.

Капиталистов за обедом никаких не было. Со всем напротив, были русские.

Г. Каталажкин хватил за обедом лишнее, и очень лишнее.

Он лежал теперь на диване в расстегнутом жилете. Лицо было красно, глаза налились кровью. Дышал тяжело.

— Monsieur Каталажкин, — сказал кто-то, — в театр пора. Вы, кажется, взяли билет на первое представление к Саре Бернар!

Г. Каталажкин ответил:

— Ну ее к черту! Старую тварь!

Он посмотрел на часы:

— Рано. На двенадцать у меня виконтесса заказана.

— Как виконтесса?

— Тут баба одна, этими делами занимается, — обещалась поставить. Говорит, бесстыжа потрясающе. Если действительно бесстыжа, — идет! А нет — к черту!

— Нет, какова скотина! — шепнул мне Тюбейников. — Еще и в кармане-то ничего нет, а уж смотри! Сару Бернар к черту, виконтессу какую-то «заказывает», да еще, чтоб была «бесстыжа»? А ежели деньги-то у этого скота будут, тогда что?

Не знаю, слышал ли Каталажкин. Но догадался — очевидно.

Он повернул к Тюбейникову красное, словно томат, лицо, прищурил налитые кровью глаза:

— Ругаете?.. «Законник»!.. А?.. Люблю, когда меня ругают!.. Освежает!.. А то все «pгiпce» да «pгiпce»... То ли дело: в морду, скверными словами. Чисто душ! Господа! — вскочил он вдруг с дивана и принялся застегивать жилет. — Айда в кабак, чтоб нас в лоск изругали! Кабак такой знаю, — как ругаются! Как ругаются! — повторял он с упоением.

Кругом засмеялись.

Г. Каталажкин огляделся мрачно:

— Н-не желаешь? Не надо! Один пойду.

— Я с вами!

Мне хотелось «доглядеть» г. Каталажкина. Мы пошли.

— Кабак Александра Бриана! На бульваре Mutin! Знаете, — обратился он к своему кучеру.

— Oui mon prince!¹

— А «вуй», так и пошел! — мрачно огрызнулся г. Каталажкин.

Это был один из тех монмартрских «артистических» кабачков, которые создал извращенный вкус артистических подонков Парижа.

Вместо двери — леса гильотины. По стенам портреты и маски знаменитых убийц. На люстре, сделанной из костей скелета, болтался на веревке висельник, манекен человека с синим лицом и высунутым языком.

По обычаю монмартрских кабачков нас, как и всех вновь входивших, встретили ругательнейшей песней...

Сам хозяин «артистического» кабачка, Александр Бриан, толстый огромный человек с лицом рецидивиста, с копной грязных, спутанных длинных волос, был, по-видимому, отлично знаком с г. Каталажкиным.

Хлопнул его по животу и крикнул, обращаясь ко всем присутствующим:

— Величайший мерзавец издыхающего столетия! А я думал, что тебя уж повесили! Нет на этой подлой земле справедливости!

¹ Да, мой князь! (фр.).

Г. Каталажкин улыбнулся пьяной и мрачной улыбкой.

— Повесят вместе с тобой!

— Тебя вторым! Как гнуснейшего преступника! Смотри и казись! Чем будешь отравляться?

— Шампанского!

— Дать этому негодяю три бутылки самого скверного шампанского! Ему удалось сегодня кого-то зарезать!

И хозяин перешел так же «занимать» других гостей.

— Каждый человек любит, чтоб с ним время от времени обращались как следует! — мрачно сказал г. Каталажкин и попробовал вино: — Все, что не врет, так это что вино действительно дрянь. Годбэн! — завопил вдруг он.

Из темного угла вылез здоровый малый, с волосами, падавшими по плечам, с лицом настоящего каторжника.

— Знаменитый певец! — пояснил мне г. Каталажкин.

И, кинув знаменитому певцу стофранковый билет, крикнул:

— Годбэн! A la Roguette!!

Звякнуло разбитое пианино.

Голос Александра Бриана крикнул откуда-то:

— Будешь там!

И Годбэн сильным голосом запел «последние минуты приговоренного к смерти».

«Встает заря... Я слышу стук... Там строят гильотину... Шумит толпа... Они собрались посмотреть на казнь в тюрьме Рокетт...»

В полумраке, среди орудий казни, портретов и масок убийц, — это было действительно жутко.

Г. Каталажкин улыбался мрачно, злобно и вместе с тем блаженно.

— Плеть бы еще сюда повесить. На стену? — провел он в воздухе рукой.

И снова мне, но уж тоскливо, жутко, вспомнился надзиратель Карпов...

— Пробовал...

— Подлецы! — вскрикнул вдруг г. Каталажкин и застучал кулаком по столу. — Подлецы!

— Тише вы!

— Ничего не значит! Я плачу! А кто платит — все может! Все! Сверхчеловек! Ха-ха-ха! Плачу — и могу!

— Да ведь нравы...

— Никаких нравов, когда платят! Никаких! Ничего! Вы думаете, что во Франции, — и нельзя. Все может, кто платит! Нет никаких французов, немцев, англичан, испанцев. Никого нет! Никого! Одни подлецы! Подлецы! Тот, кому платят, есть подлец, а тот, кто платит, — сверхподлец! А кому не платят, и кто не платит сам?

И г. Каталажкин захохотал. Но лицо его было свирепо. У пьяного у него лицо осунулось, и что-то зверское даже было в его выдавшихся скулах.

— Пьян я? Пьян! И горжусь! Во всем величии своего человеческого достоинства говорю: гор-жусь! гор-жусь? гор-жусь! Если б я постоянно мог в пьяном виде быть, — благороднейшая личность была бы. Подлец и пью. И потому пью, что сознаю, что подлец.

И в пьяном виде самого себя и всех подлецов презираю. И все подлецы. И если бы сознавали, что они подлецы, — все были бы пьяны. Все. Но им не

дано! А я славянскую душу имею. Каталажкин! Славянин! Сла-вя-нин!

— Ну, ты! Слишком кричишь! Ведь еще не ве-
шают! — подошел хозяин «артистического» ка-
бачка.

— Еще три бутылки шампанского! — ответил
ему г. Каталажкин.

— Славянин — и каюсь. У нас каждый подлец
кается, потому что душу имеет!! А им! — г. Ката-
лажкин ткнул пальцем в сидевших в кабачке. —
А им не дано. У славянина душа, а у всех этих,
там, у французишек, у бельгийцев, у англичан,
как их еще там, — пар! Им не дано. Еще Франциск
Сарсэ сказал: «Какая такая русская драматургия?
Вся драматургия их состоит в том, что люди дела-
ют, — делают глупости, а потом станут на колени
и начнут на все четыре стороны в ноги кланять-
ся!» Пьесы такие давали. Сначала «Грозу», Кате-
рина на коленях каялась. Потом «Преступление и на-
казание», Раскольников на коленях каялся. Нако-
нец, «Власть тьмы», Никита на колени стал и начал
каяться. Франциск Сарсэ и насмеялся. И Сарсэ —
подлец! Желаете, я, как славянин, перед всеми эти-
ми подлецами на колени стану и начну каяться?

Г. Каталажкин посмотрел на окружающих пья-
ными и зверскими глазами и помахал перед носом
пальцем:

— Перед этими Францисками Сарсэ? Ни-ко-
гда! Ни-ко-гда! Не понять им. Не дано! Перед эти-
ми подлецами? Перед под-ле-ца-ми?!

Он прямо становился ужасен.

— Бриан! Дать еще полдюжины шампанского,
потому я всех их по-русски в лоск ругаю. Всем им
дать шампанского... Вы думаете, почему все эти

французы, анонимные бельгийцы, англичане к нам идут? Залежи руды их манят? Да? Залежи беззакония — вот что их манит. Вот что им разрабатывать хочется! Вы слышали, как я им, чертям, анекдоты об «исключениях» рассказывал? Видели, какой радостью они от глубины своей подлой души трепетали? За невежество и пускай погибают! И справедливо это, и справедливо! Они о нашей стране только анекдоты знают. «Никаких законов нет», вот их представление подлое. На это и уповают! А наш Тюбейников им про законы! «Дурак ваш Тюбейников!» Они думают: «Если в моем деле заинтересован граф Икс, какой может быть закон?» Все законы отменяют, земства, самоуправление уничтожат, чтоб только дело, в котором граф Икс изволит принимать участие, дивиденды давало. Они вот на что надеются. Все, чего русское общество, русский народ, добивались, — насмарку, по их мнению, пойдет, раз интересы какого-нибудь графа Икс будут затронуты! Они презирают русское общество, русский народ. Считают их несуществующими. А? Несуществующими? Подлецы! Не богатства наши, не руду, — душу нашу, душу сожрать хотят!

И г. Каталажкин так колотил по столу, что стаканы, бутылки валились.

— Тише, Каталажкин. Тише!

— Нет, вы мне скажите! — не унимался он. — Вы мне вот что скажите! Почему французские, бельгийские капиталы устремились вдруг в Россию? Почему? Дома им делать нечего? Своих колоний нет? Потому что дома-с законность капитал заела. Куда ни сунься — на законность напорешься. Законность — как «пали» в каторжной тюрьме.

Задыхается в них капитал, по воле тоскует. На простор, вширь хочется. А капитал-то он хищен. Он могуч. Ему произвола хочется. Чтобы препятствий ему, сильному, хищному, не было. Стоит ли и сильным быть, чтобы силой своей не наслаждаться? А тут со всех сторон закон: того нельзя, этого нельзя. И кинулся европейский капитал в Россию. Они о нас анекдоты слышали. Анекдоты только и знают. Никаких, по их мнению, законов. И мы, предприниматели, им в дудку поем, назуживаем, втравливаем: «Никаких!» Капитал и думает: «Набезобразничаю! Разграблю, ежели без законов. Чего лучше!» Разгорелись глаза, — и прут. Вы на рожи-то только на их посмотрите, когда они о России говорят! Словно насиловать собираются! Ха-ха-ха!

— Весел, каторжник? — обрадовался Бриан, что мрачный гость начал смеяться.

— Полдюжины шампанского еще, и пшел! — крикнул ему г. Каталажкин. — Лют капитал и насилие любит! Я в Лондоне раз в плохих делах был. Жрать нечего. Хотел в солдаты к ним наниматься. На Трафальгар-сквер ходил, с вербовщиками говорил. Так там вот насмотрелся. В Англии оставаться, в солдатах служить, — ни одна душа не желает. А в колонии, — отбою от желающих нет. К черным-то, к коричневым людям, к покоренным, к бесправным. Еще бы! Какое тут в Англии удовольствие? Ходи всегда навтыжку. А там, в колонии! Понравилось что — возьми. Не понравилось — бей. Насилуй. Убьешь — и то ничего не будет: для поддержания престижа английского солдата виновным не признают! Понасильничать-то всякому

лестно! Так и капитал! Здесь-то что ему лестного? Со всех сторон законами окургузили. А выйти изо всяких рамок, на волю, творить что хочешь.

Вот они зачем к нам идут, господа европейцы!
Он захохотал.

— Да стой, брат! На анекдоты ловишься! Тебе беззаконие-то снится, о нем тебе рассказывают, а ты и веришь? Европейцы? А мы, брат, азиаты. Хитры азиаты! Лукавы! У них, у Европы, сила, у них капитал. А у нас, у азиатов, одна защита — хитрость! Завлечем. Наскажем сказок! Хе-хе-хе!..

Г. Кatalажкин весь как-то злобно засиял, загикал, засвистал.

— И придет час...

Пророчествовать уже начал.

— Кatalажкин! Кatalажкин! Без четверти двенадцать! Вам к виконтессе пора!

— И виконтессу к черту! Пар вместо души! Мне виконтесса с паром не нужна! Тфу! Русская ежели бы — я б взял! Русская, если так до бесстыдства должна на свидание на этакое поехать, так она хоть потом себя презирать будет. Пить начнет, во все тяжкие пустится, а то и отравится на другой день. Иначе как «подлой» себя не назовет. С той я готов. Ей жизнь постыла, а я ей своим свиданием уход из этой жизни облегчу. Последнюю каплю добавлю. Мерзостным воспоминанием отравлю. На самоубийство сил дам. Жизненный вопрос разрешу. Все-таки доброе дело. А это? Пар вместо души. Она завтра с мужем как ни в чем не бывало в оперу на первое представление поедет, и сама себя в душе будет «порядочной» женщиной считать! Европейка! Скажи-ка ей: «подлая». Рассмеется. От

глубины души — черт ее возьми! — рассмеется. Всем паром и искренно рассмеется. Потому не душа, а пар! Пар! Пар! И у всех, у вас, у чертей, пар!

И вдруг, схватив бутылку, г. Каталажкин запустил ею в первого попавшегося сидевшего господина.

Все повскакали с мест.

Раздались крики:

— Бить его!

— Бить!

— Что за русский боярин!

Но патрон «артистического» кабачка и артисты стеной стали между г. Каталажкиным и публикой.

Прислуга, обсчитав, вывела и усаживала г. Каталажкина в экипаж.

А «патрон», любезно хлопая меня по плечу, успокаивал:

— Вы, русские, ужасные пьяницы. Хороший народ для всякого ресторана, но чрезвычайные безобразники! Это ничего! Вы не беспокойтесь! Я понимаю! Я русских давно знаю. Благородный молодой человек — и только. Я второе поколение благородных русских людей вижу. Раньше приезжали в Париж прокучивать свое. И безобразничали. Теперь приезжают прокучивать чужое. И тоже безобразничают! Это ничего! Это ничего! Это у вас в привычках! У вас, у русских, такая природа.

VII

В норд-экспрессе

Через два дня я уезжал норд-экспрессом в Петербург.

Что это было за время!

В норд-экспресс за две недели нельзя было добиться билета.

Норд-экспресс был тогда «артерией, соединявшей предприимчивую Европу с естественными богатствами России».

И артерия билась полным боем.

Вагоны были полны предприимчивыми французами, анонимными бельгийцами, деловыми англичанами.

Одни летели, как разведочные отряды, на предварительные рекогносцировки. Другие двигались как уже действующая армия.

Аппетитные разговоры о России не умолкали ни на минуту.

И при виде этих, говоривших о России, французов, бельгийцев, англичан, мне вспоминался почему-то один знакомый владивостокский мичман.

Как он мне рассказывал:

— Иду на свиданье с солдаткой тут одной. В сапогах она, подлая, ходит. Но обилие мяса прямо потрясающее. И сладость предвкушаю, и думать о ней — тфу! — противно!

Во всех купе шел гогот.

— И занимаются эти русские тем, что едят. Сколько они едят! Сколько они едят!

— Во-первых, вероятно, «водки»?

— Представьте! Пьют «водки» перед обедом!

— Тс!

— Не с кофе, после обеда. А перед едой!!

— Ха-ха-ха!

— Затем «закуски».

— Говорят, «закуски» — это очень недурно.

— Они, русские, умеют делать «закуски». Затем

подают какую-то холодную вещь. Жидкое. Там... Нет! Вы вообразите себе: огурцы, рыба накрошена, лук.

— Ха-ха-ха!

— Затем поросенок с кашей!

— Хо-хо-хо!

— Затем гусь с яблоками!

— О-хо-хо-хо-хо!

И все покатывались над обжорством «этих русских».

— Они только и делают, что празднуют! — рассказывалось в другом купе. — У них всякий день праздник! Святого Ивана день — праздник. Святого Петра — праздник. Святого Николая — праздник.

— Ха-ха-ха!

Слова «князь», «граф», «барон» так и гремели во всем поезде.

— О, в вашем предприятии князь Икс заинтересован. Он записан учредителем и получает на 200 тысяч учредительских акций.

У него такие связи. Нам все разрешат!

— У нас граф Игрек. Он будет числиться одним из директоров. 24 тысячи в год жалованья. У него такие знакомства. Он что угодно выхлопочет!

— Раз у нас в деле барон Дзэт заинтересован! Что ж нам могут не разрешить, раз его интересы тут замешаны!

Знакомясь с вами, русским, в ресторан-вагоне, иностранные предприниматели первым делом спрашивали:

— Вы знакомы с графом таким-то?

— Нет.

— А с бароном таким-то?

— Тоже нет.

— С генералом таким-то?

— И с ним нет.

После этого иностранец смотрел на вас даже с недоумением:

— Как же это, мол, вы после этого можете существовать?

И отодвигался от вас:

— Должно быть, человек неблагонадежный. Ни с одним генералом не знаком!

Один иностранный предприниматель, мой сосед по купе, узнав, что я журналист, спросил:

— А почему вы, *monsieur*, не издаете свои газеты?

— Ну, знаете. На это много причин!

— Хотите? Я в дружеских отношениях с графом Икс. *Charmant gazcon!*¹ Хотите, я ему скажу?

— Позвольте! Граф Икс никакого отношения не имеет. Он просто молодой человек, ничем не занимается...

Иностранец посмотрел на меня удивленно, но с благосклонностью:

— Но у него столько знакомств! Стоит ему сказать слово. Не откажут же ему в таких пустяках. Он — граф Икс. Он все может!

Было и смешно и злость брала.

— Есть, знаете, у меня сын. Рожден не в браке, но совсем, совсем как бы и в браке. Так вот нельзя ли, чтоб он назывался как я...

Иностранный предприниматель подумал только с минутой:

— Что ж! Пусть! Я скажу барону Дзэт. *Char-*

¹ Славный малый! (фр.)

tant gazson! Стоит ему сказать слово, и вам, конечно, разрешат. Будьте покойны, я вам сделаю.

Они ехали через «заинтересованных» лиц «правити и володети» нами.

«Варяги» сияли.

А я, когда мелькнуло Вержболово, смотрел на расстилавшиеся кругом унылые родные поля и воссылал смиренную молитву серым и тусклым родным небесам:

— Небо земли русской! Ты, спасавшее нас от монголов, ты, спасавшее нас от двенадцати язык, защити, спаси и помилуй теперь от нашествия предприимчивых французов, анонимных бельгийцев, деловых англичан. Не дай сожрать нас!

И вспоминались мне слова г. Каталажкина:

— За Европою сила, за Европою капитал, у нас, у азиатов, одна защита — хитрость. Чья возьмет?

Если суждено быть грабежу, пусть судьба поможет нам ограбить тех, кто хочет ограбить нас.

А поезд несся по русским равнинам, словно лихая шайка грабителей неслась по мирным полям.

И в хохоте предпринимателей, рассказывавших друг другу анекдоты про «этих русских», слышались разбойное гиканье, молодецкий посвист и что-то похожее на:

— Сарын на кичку!

Жутко тогда было в этом поезде, и снились страшные сны. Под хохот и гогот иностранцев, предвкушавших и торжествовавших, мне снился тот же поезд.

Но на паровозе вместо машиниста стоял г. Каталажкин.

В красной косоворотке, с разбойным видом.

Пьяный и наглый.

Он все прибавлял и прибавлял ходу.

— Топи вовсю! — орал он диким голосом кочегарам.

Словно ад бушевал в топке. Г. Каталажкин открыл регулятор вовсю и с хохотом схватился за свисток.

Свисток свистал, словно вопль ужаса неся по полям.

Поезд летел с быстротой 150 верст в час.

Вагоны кидало из стороны в сторону. А в купе все продолжались хохот и гогот предприимчивых иностранцев.

— Эти русские только жрут!

— Ха-ха-ха!

— Эти русские только празднуют.

— Ха-ха-ха!

Поезд давно уже слетел с рельсов, мчался по шпалам, разрезая, кроша их.

Вагоны металась из стороны в сторону, прыгали, а в купе, упоенные, предвкушавшие, торжествующие, — никто не обращал внимания, никто не замечал.

Хохот и гогот ревели в купе.

И вдруг все это с адским шумом, грохотом, треском полетело куда-то в пропасть.

Один огромный вопль, один огромный крик гибнущих предприимчивых иностранцев взлетел к небу.

И все смолкло.

Я проснулся.

Мой сосед по купе приглаживал волосы.

— Скоро Петербург! — сказал он с таким видом, словно хотел сказать: «Скоро начнем жрать».

VIII

В Петербурге

В те времена «розничной продажи своего отечества» у Кюба было весело и шумно.

Русские предприниматели и иностранные капиталисты, — все это сидело вперемежку и пило шампанское:

— За успех общего дела!

— Ура!

— Hipp, hipp, hourra!

Шел пир.

Прятели встретили меня тысячами новостей:

— Такой-то. Помните, прогорал? Воскрес! Вон он! Иностранцам дело устроил!

— Такой-то. Помните, его описали. Банкрот! Поднялся! Иностранцам дело устроил!

Все, что было в Петербурге прогорелого, обнищавшего, промотавшегося, — поднялось и вместо арестантских рот сидело у Кюба.

— А такой-то? Ужели и он не в остроге?

— В кабинете! С капиталистами завтракает! У вас какие новости? Что в Париже?

— Происходит какой-то дележ русской земли.

Я рассказал, что видел.

Кто-то посмеялся:

— Нда-с! Темочки, батенька, недурные. Только воспользоваться нельзя!

— Но почему? Почему?

— Ну, что вы, батюшка! С ума сошли: такие лица в предприятиях заинтересованы. Разве можно? Князь Икс, граф Игрек, барон Дзэт!

— Да, во-первых, это, может быть, ложь все!

— Все говорят! Нет, батенька, вы и газету подведете.

В эту минуту подошел какой-то предприниматель:

— Господа! Поздравьте! Мое дело предрешено!

— Предрешено?

— Предрешено! А вы думаете против писать. Разве можно?

В редакциях были удручены.

— Господа! Да ведь это же грабеж! Это Панама какая-то! Об этом надо писать! Ведь эти «предприимчивые российские люди» иностранцев прямо на разбой зовут!

— Об этом нужно писать!

— Необходимо!

И все соглашались, что необходимо.

— Позвольте! Что такое? — вопил горячий редактор. — Какой такой Каталажкин? Жулик! Валить его в хвост и гриву!

Но в эту минуту вошел в редакцию хорошо осведомленный сотрудник.

— Господа, дело Каталажкина предрешено!

— Как предрешено?

— Решено разрешить и согласиться на все условия.

— Позвольте! Как?

— Вся биржа говорит. И у Кюба все знают.

— Неужели и у Кюба подтверждают?

— Мне его компаньон сам говорил.

И все вешали носы.

— Ну, раз предрешено...

— Тогда и писать к чему же?

— Бесполезно.

— Поздно.

— Да и опасно. Раз — предрешено!

И когда потом оказалось, что все эти «предре-

шения» были в девяносто девяти случаях из ста вздором, ложью, выдуманной и пущенной с целью зажать рты, напутать и заставить молчать печать.

— «Предрешено».

Это было самое лучшее средство изъять вопрос из обращения. И гг. «предприимчивые люди» широко, необузданно пользовались этим всесильным средством. Стоило пустить слух.

— «Предрешено!»

— Говорите теперь против. Попробуйте. Раз пред-ре-ше-но.

«Предрешено» — это было страшное слово. «Жупел», «металл». От которого сдавливало дыхание.

— Господа! Против этого писать нельзя! Это предрешено!

И как этой ложью пользовались! Как пользовались!

IX

Смерть Каталажкина

С тех пор прошло пять лет. Всего каких-нибудь пять лет.

Я снова был в Париже. Жил на площади Оперы, а сзади ныл голодный голос какого-то гида по гнусным местам Парижа.

— Господин, не угодно ли посетить интересные учреждения?

Он шел по пятам.

— Господин... Господин...

Этот голос казался мне знакомым.

— Адреса кокоток... Фотографические карточки...

И в голосе гида зазвучало настоящее отчаяние.

— Господин! В щелочку смотреть изволили?

Я оглянулся. Передо мной стоял... Каталажкин.

Обшарпанный, обдерганный, в вытертом пальто, порыжевшем цилиндре.

С тем же бегающим взглядом, который «трогал» все: цепочку, чуть-чуть оттопыренный карман.

На исхудалом, ввалившемся лице был написан голод, один беспросветный голод.

— Каталажкин?! Вы?!

Он отступил. Узнал.

Он глядел с испугом:

— Я — Омлетский, Омлетский — я.

— Но вы — Каталажкин! Перестаньте! Вы — Каталажкин!

Я протянул ему руку,

Он пожал ее, — сначала вытер свою о полупальто, — и ответил с настойчивостью:

— Моя фамилия — Омлетский... Каталажкин умер.

— Как? Когда? Где?

— Застрелился!

Г. «Омлетский» даже грустно вздохнул.

— Застрелился полтора года тому назад в Cafe Rich. Вот и известие о его смерти.

Он достал из кармана засаленный номер одной из петербургских газет.

— Вот черной каймой обведено. Я и каймой обводил. Прочтите. Телеграмма:

«Париж. Вчера в Cafe Rich покончил самоубийством известный предприниматель по устройству

в России иностранных компаний Каталажкин. Самоубийство это ставят в связь с крахом многих предприятий, основанных на иностранные капиталы в России. Несчастный пустил себе пулю в висок. Никакого имущества после Каталажкина не осталось».

— Мир его праху! — сказал я, отдавая г. «Омлетскому» газету.

Г. «Омлетский» бережно сложил ее, положил в карман и вздохнул:

— Я и телеграмму посылал. На последние деньги. Как документ храню. Каталажкин не существует. И все кредиторы его...

Г. «Омлетский» сложил руки и сделал благоговейное лицо:

— Все надутые им, все иностранцы, капиталисты, «группы», которые он втравил в предприятия, могут смиренно умолять Всевышнего, да ниспошет Он Каталажкину муки адовы на том свете. А на этом взять с Каталажкина нечего! Мой друг Каталажкин скончался. Существует monsieur Омлетский.

— И много вам пришлось перенести после этого события?

— После смерти незабвенного друга моего? О, много!

Он вздохнул искренно, от глубины души с неподдельной горечью.

— Самое принятие пищи стал считать далеко не ежедневным занятием! По шляпе моей видите, до чего я дошел. По пальто и по ботинкам! Раздавлен и уничтожен, как червь! Слава богу еще, что, будучи Каталажкиным, на бешеные деньги успел я основательно познакомиться со всеми мерзостя-

ми Парижа. Ныне в качестве знатока сопровождаю любознательных туристов, желающих свински провести время и изучить «современный Вавилон». Голодный присутствую при оргиях. Гид по Вавилону! Не желаете ли под моим просвещенным руководством посетить интересные уголки и тем дать заработать мне кусок хлеба, — быть может, самый честный, какой я только когда-либо зарабатывал!

— Каталажкин... виноват, Омлетский... Омлетский, перестаньте вы! Хотите, пойдем в ресторан, поболтаем.

По лицу г. «Омлетского» сверкнула радость:

— Давно не видал приличной пищи!

— Идем!

— Ведите!

Он не ел, а поглощал. Пил залпом, не отрываясь. Глотал не жуя. И во взгляде его горел такой ужас, словно он боялся, что вот сейчас-сейчас отнимут, — и такая жадность, словно он хотел съесть не только то, что было у него на тарелке, но и то, что было на тарелках у всех.

Наконец он откинулся и крикнул:

— Гарсон, сыру!

Он был сыт.

— Фу-у! Даже досадно, что насытился! Так приятно это препровождение времени!

— Ну, теперь за кофе, Омлетский, расскажите, как же все это произошло?

— Как произошло? Катастрофа, крах и треск! Столб пламени, дыма, и что же — осталось? Груда обломков. И под обломками этими погиб смелый предприниматель Каталажкин. Заваленный мусором, досками, железом, трупами загубленных

им иностранных капиталистов. И из-под обломков, трупов и прочего мусора вылез, — черт чертом, на себя не похож, — еле дышащий проводник по неприличным местам г. Омлетский. Честь имею представиться!

— Но как это случилось? Как?

Вместо ответа г. «Омлетский» захохотал.

— Вот-с, вы попробуйте теперь пойти обратиться к французскому, а особливо — ха-ха — к бельгийскому капиталисту с предложением выгодного предприятия в России!!! В полиции не бывали? Будете! Вы знаете, что при слове «русский» здесь скоро будут хвататься за карман и прыгать из окна. Хотя бы дело происходило в пятом этаже! Нет-с, вы попробуйте пойти к здешнему капиталисту! Предложите ему «вложить деньги в выгодное предприятие в России». Нет-с, вы попробуйте! Ха-ха! Вы попробуйте!

— А что?

— Увидите интересный «ряд волшебных изменений милого лица». При одном слове «Россия» побледнеет, бедняк, затрясется. А вы ему тут скажите: «В предприятии будет заинтересован граф Икс». Под стол ползет. «Окажет содействие князь Дзэт». Француз еще, может быть, только на колени бросится: «Не грабьте, monsieur! У меня семья».

Но бельгиец, тот прямо к окну кинется: «Городовой! Полиция! Вяжите!» Ха-ха-ха!

— Да в чем же дело?

— Залежей беззакония в нашем отечестве не нашли. Таких богатых, как ожидали. Вы помните, как мы их дурачили! Мы их «прийти и владеть» призывали. А им навстречу, — вдруг «закон». Как

dues ex machine¹, как статуя командора — закон! «Нельзя, законом воспрещено». Персонаж, о существовании которого и не подозревали. Слагаемое, на отсутствие которого именно — хе-хе! — и рассчитывалось. Вы ехали в Олонецкую губернию. Думали встретить, — ну, медведя. Взяли рогатину. А вам навстречу — слон! Нужно было видеть, какие рожи строились в то катастрофное время. Ха-ха-ха! Думали грабить, — самих нагрели. Человек предполагает, бог располагает. В анекдотическую страну, в страну исключений ехали, — с самими анекдот случился. «Незаконно. Нельзя». — «Как незаконно? Как нельзя? Какой может быть закон, если в моем предприятии сам граф Дзэт заинтересован. Прогорелый потомок старинного рода? Учредительские акции взял. У него знакомства! Какой такой закон у вас при таких знакомствах сильнее графа Дзэта может быть?» — «Закон. Нельзя». Тут эти все группы на нас, на Каталажских, на смелых предпринимателей бросились: «Что нам какие-то сказки рассказывают? Какие такие законы у вас вдруг проявились? Вы нам говорили, что нет никаких законов, есть одни исключения из законов». Жарко в те времена пришлось. Меня один бельгийский капиталист, на что гражданская натура, застрелить даже хотел. Три раза палил, два зеркала разбил. Плохо стреляют! Самому же потом за зеркала пришлось платить. В ресторане было! «Разорил!» — кричит. Это что ограбить-то не удалось. А я вижу, плохо человек стреляет, — говорю: «А вы по зеркалам не палите! Еще больше разоритесь!» А другой мой кли-

¹ Бог из машины (лат.).

ент, французский капиталист, тот с ума сошел. Мания преследования. Забьется под стол и кричит: «Закон! Закон!» Все везде ему закон чудился. «Преследует меня, — вопиет, — закон по пятам. Гонится. Душит. Я от закона из Франции сбежал. Потому мне благодаря закону этому самому больше двух процентов на капитал не заработать. Я в Россию от закона сбежал. А он и там очутился. Руки мне вяжет! Спасите! Закон!» Ха-ха-ха.

— Вы оттого и померли?

— Чтоб не приставали. Шарахнет еще кто-нибудь с безумных глаз из бывших клиентов, из капиталистов-то этих. А тут — умер Каталажкин. Сам застрелился. Прокляли и успокоились!

— Жарко было?

— Да-с. Вравленные капиталисты по Петербургу, как отравленные крысы, метались. «Где граф Икс? Где князь Игрек? Где барон Дзэт?» — «Как же, граф? Что ж это такое? Разве мы на то шли? Никаких насильственных отчуждений, никаких отнятий земель! Ничего не разрешают!» А граф Икс улыбается им такой светлой улыбкой. Как ангел! «Что делать, *messieurs*, закон!» — «Да ведь этот закон вас, граф, самого по карману бьет. Ведь так наши акции под гору летят! А у вас учредительские. Отмените, граф, законы. Хлопочите, чтоб отменили!» А граф удивленно так смеется: «Как же я, *messieurs*, о полной отмене законов буду хлопотать.

Да меня всякий, к кому я обращусь, за сумасшедшего примет! В моем отечестве есть законы, — и они будут! Законы полезны. А что касается учредительских акций, то я их давным-давно, еще тогда, когда вы их на бирже взмылили, все продал!»

Тут вой поднялся, тут вой! На незнакомых русских вовлеченные иностранцы кидались: «Как вы смее-те законы иметь?» Волосы на себе рвали: «Работать своими капиталами в пределах законности?! Да это мы могли и у себя дома делать! Зачем тогда было и в Россию ехать?! Зачем учредительские акции раздавать? Зачем гг. Каталажкиным бешеные деньги за то, чтоб «свели», платить?!» Очень, словом, тогда сердиты были, что ограбить не удалось! И весьма над прахом покойного и незабвенного друга моего Каталажкина сквернословили!

— Ну, да ведь и вы... то есть, я хотел сказать, ведь и ваш покойный друг Каталажкин... тоже...

Г «Омлетский» ответил с ясностью:

— Взял-с! Взял незабвенный друг. И не столько взял, сколько втравил. Тысячи взял, а на миллионы втравил! И мир его праху. Они предприимчивы, и он предприимчив. За анекдоты о России тысячи взял! За анекдоты! Шутка? А? Не гениально? Они «залежи беззакония» у нас думали разрабатывать. Грабитель, потому «с протекцией все можно». А покойный друг сам у них «залежи невежества» разработал. Сами виноваты! Не довольствуйся, будучи просвещенным человеком, о России одними анекдотами!

И он принял молодецкий вид:

— Есть на земле справедливость! Есть! И подлецы на свете для того, может быть, существуют, чтоб судьбе было чрез кого свои приговоры справедливости в исполнение приводить!

— Справедливость чрез подлецов?

— Как правосудие чрез палачей. Разве в палачи берет хороших людей? И судьба берет подлецов

для грязной работы: для исполнения приговоров справедливости!

— Ну, а теперь что?

— Что теперь?

— Так и водите иностранцев по скверным местам? От всякой другой деятельности отказались?

«Бывший Каталажкин» пожал плечами:

— Так и придется до конца дней. Ежели бы я еще китайцем или там малайцем каким был, — тогда другое дело.

— Почему китайцем? Почему малайцем?

— Стал бы европейские капиталы на грабеж в Китай или в Индокитай звать. Теперь туда стремление. Вы помните, как иностранные капиталы из России бежать кинулись? Как французы в 12-м году. Бросали все, свои акции за бесценок продавали. Только бы хоть что выручить. И все в Китай, все в Индокитай кинулось. Там строить, заводить, устраивать, копать, рыть! На официальном языке бирж это называется: «отливом европейских капиталов на Дальний Восток». А почему отлив? Почему сначала к нам бешеный прилив был, а потом на дальний восток отлив? Все это поиски капитала за беззаконием. Думали у нас «залежи беззакония» найти: «вот где можно что угодно делать». Осеклись, — в Китай ринулись: «Вот где истинные залежи беззакония. Вот где их разрабатывать! Вот где все разграбить возможно!» Ищет стесненный дома европейский капитал беззаконных стран, где бы «все можно». Ищет!

И «бывший Каталажкин» в раздумье произнес:

— Нешто голову обрить да косу отпустить?! Скулы у меня выдающиеся. Прикинутесь китай-

цем и начать европейским капиталистам свое китайское отечество продавать?!

Мы встали.

— Каталажкин! — воскликнул я. — Еще один вопрос... Каталажкин! Давно меня мучит... Вы не сердитесь...

— Спрашивайте.

— Каталажкин... скажите... не видал ли я вас... Не были ли вы... ну, словом, не были ли вы на Сахалине? Не встречал ли я вас в Онорской тюрьме?

Каталажкин задумался, подумал и ответил:

— Нет!! Не припоминаю. Нет! С положительностью могу вам ответить: на Сахалине я не был.

Он взял сорок франков, поблагодарил и пошел.

Х

Катастрофа в Китае

Настал 1900-й год. Конец века. Год всемирной выставки в Париже, торжества мира и мира¹, а вместе с тем «китайских событий» и кровавого, беспощадного, безумно-жестокое «укрощения строптивых».

Я был тогда в Лондоне.

Раз как-то один из моих знакомых англичан предложил:

— Не хотите ли отправиться сегодня в наш клуб? Предстоит кое-что любопытное. У нас будет сегодня... китайский революционер.

¹ У автора «Мира и міра», т. е. мира и человечества. — Прим. сост.

— Китайский революционер? Это не каждый день увидишь!

Англичанин с презрением пожал плечами:

— То есть это по-ихнему он революционер. А с нашей точки зрения — нагрубил просто какому-то мандарину и должен был бежать. У нас-то и мандарин-то этот известен. Больше по сообщениям «gill-blas» и других кокоточных парижских газет. «Просвещенный мандарин» бывал с какими-то миссиями в Европе и прославился тем, что любит, чтоб его кокотки били по щекам.

— Любит?

— Очевидно, особенность китайских вкусов. Он сам заявлял это корреспонденту какой-то кокоточной газеты в Париже, когда тот явился интервьюировать его по вопросу: «Доставляет ли удовольствие боль в любовных удовольствиях?» Он ответил, что очень любит, чтобы парижские кокотки хлестали его по щекам. Во-первых, это ему льстит, — с высшими представительницами цивилизации — с самими кокотками! — запанибрата. А во-вторых, он сказал: «В Китае я всех бью, а здесь меня бьют. Это доставляет мне смену и новизну ощущений». Тогда еще этот ответ «просвещенного» китайского мандарина обошел все газеты. Вот этому-то ничтожеству и нагрубил чем-то Тун-Ли. И должен был бежать. Идем. Это любопытно. Он отлично говорит по-английски и будет рассказывать о китайских делах.

В огромной читальне respectableного клуба было на этот раз целое заседание.

Сидела масса народу, и взоры всех были обращены к маленькому невзрачному китайцу в синей

кофте, с длинной косой, близорукому, в очках с толстыми стеклами.

Мы опоздали.

Беседа уже началась. Китаец отвечал теперь на вопрос:

— Откуда взялось движение боксеров?

На его желтом скромном лице не было ни малейшего смущения. Он говорил смело, и чем дальше, тем голос его звучал звонче и громче. Он обвинял. Он не оправдывался.

И все собрание, нахмурясь, слушало его. Мрачно, недовольно, грозно, как слушают люди правду.

— Вы считаете нас варварами, а мы должны считать вас благодетелями, которые несут нам блага цивилизации! — китаец улыбнулся улыбкой, в которой было столько же печали, сколько и презрения.

— Кстати! Интересно, почему вы считаете нас варварами? Потому только, что вы не знаете нашего языка и не знакомы с нашими науками? Потому что вы не умеете читать по-китайски и не знаете, что напечатано в наших книгах? Согласитесь, это похоже на безграмотного извозчика, который считает, что в книгах написаны одни глупости, потому что он не умеет читать! Но оставим это в стороне. Пусть мы варвары! Какие же блага несете нам вы? Вы — иностранцы, носители культуры, цивилизации? Вы пользуетесь самыми худшими сторонами нашей жизни и их культивируете. По вашему мнению, в Китае нет законов, а есть произвол. И на этом вы играете, спекулируете. На это все наши надежды. Вы несете в нашу страну свои капиталы, заводите грандиозные предприятия. И при этом когда-нибудь, какой-нибудь ев-

ропеец дал себе труд ознакомиться с нашими законами, задался ли вопросом: «Согласно ли то, что я делаю, с законами страны?» Да если вы зададите такой вопрос любому европейскому предпринимателю, он расхохочется. «Законы Китая!» По его мнению, в Китае полное беззаконие. Это ж его и радует, это его и привлекло. На беззаконии основаны все его замыслы, планы. Вы эксплуатируете эту дурную сторону, сторону жизни. И только ее. Вы развращаете наших мандаринов. «С ними я никаких законов знать не хочу». Попробуйте сказать любому предпринимателю, устраивающему самое эксплуататорское, самое убыточное для страны дело: «Но, милостивый государь, то, что вы предпринимаете, преступно. Это запрещено местными законами». Он вам ответит: «В моем предприятии заинтересованы мандарин такой-то, мандарин такой-то, мандарин такой-то». И вы хотите, чтобы мы были вам благодарны? Вам, которые приходят только для того, чтобы пользоваться нашим бесправием, нашим, кажущимся вам, полным отсутствием даже чувства законности? Каждое из ваших предприятий в нашей стране это — плевок чувству законности, каждое начинание — пощечина справедливости. И вас удивляет, что люди вознегодовали на вас, что они защищаются, как могут?

— Ну, ну! — раздался кругом ропот. — Защищать боксеров!

— Но хороши и мы! — с улыбкой вздохнул кто-то.

А китаец смотрел на представителей культуры, на носителей цивилизации с укором, со скорбью, с ненавистью, отвращением и непримиримой враждой.

XI

Воскресший Рокамболь

Это было полгода тому назад, весной, в Париже.

В загородном ресторане «Арменонвиль» было весело и шумно, как всегда за обедом.

Вечер выдался на редкость великолепный. Все столы были заняты.

Только один, около меня, роскошно сервированный, был пустой.

Около него стояли на страже два лакея, чтобы кто-нибудь не взял ветки сирени или великолепной махровой розы, которые ковром покрывали скатерть.

Вдруг все зашевелилось.

— Monsieur le prince!

Стоявшие на страже лакеи, как сорвавшись с цепи, бросились вперед.

Метрдотель пятился спиной и приглашал:

— Сюда, сюда, mon prince.

Шла целая компания роскошно разодетых женщин, мужчин. Впереди всех шел высокий господин, развязный, самоуверенный, нагло глядевший по сторонам. Это был... Каталажкин.

— Сюда, mon prince! Вот стол, приготовленный для вас, mon prince.

Каталажкин небрежно оглянулся кругом. Взгляд его упал на меня.

Он узнал, лицо его вдруг все засияло настоящей радостью, он кинулся ко мне и обеими руками сжал мою руку.

— Вы?!

— Каталажкин! Каталажкин, черт возьми! Прежний Каталажкин! Выше прежнего! А Омлет-

ский, — он расхохотался, — Омлетский исчез, испарился бесследно, растаял где-то в мерзкой атмосфере парижских бульваров.

— Значит, появившееся тогда известие о безвременной кончине Каталажкина было неверно? — рассмеялся я.

Он ответил хохотом:

— Это до такой степени неправда, что даже было напечатано в газетах! Вы один? Не начинали обедать? В таком случае мы обедаем вместе. Нет, нет! Отказа быть не может. Вы помните яичницу и бифштекс, которые вы стравили на меня тогда в таверне Пуссэ?

— «Стравили!» Выраженье!

— Ну, да, стравили! Потому что я тогда не ел, а жрал. И был не человек, а скот. Скот, дрожавший от самой скотской боязни: «А не помру ли я с голода?» Тфу! А все-таки та яичница и тот бифштекс были вкуснейшими в моей жизни. Я тогда давно не жрал так хорошо! И эти сорок франков, которые вы дали мне тогда! Конечно, я не решаюсь возратить вам их деньгами. Это было бы мелочно и неблагодарно. Но шампанским, но музыкой, но женщинами! Какая из тех, которые со мной, вам нравится? Эта? Та? Любая! Гарсон, еще прибор для *monsieur*. *Mesdames*, *messieurs*? Мой знакомый! Можете пить, есть, делать что вам угодно. Я буду разговаривать со старым знакомым. Это гораздо интереснее!

— Однако вы с ними...

— Все прохвосты. Не обращайтесь на них внимания! — успокоил меня Каталажкин. — Околачиваются даже не около меня, а около моих денег.

— *Monsieurs le prince!*

Толстый дирижер-румын, увидев Каталажкина, прервал в середине какой-то удивительно мелодичный вальс, подбежав, вертелся около и сгибался пополам, несмотря на свою феноменальную толщину.

— Что будет угодно приказать сыграть, mon prince?

— Брысь! — цыкнул на него Каталажкин. — Спроси у этих дам и играй, что они тебе прикажут. Итак, — он налил водки, — здоровье Каталажкина, если вы позволите, и за упокой души покойника Омлетского! Не ждали, что воскресну?

— Откровенно говоря...

— Феникс!

— Чем же вы... если это не секрет, конечно... чем же вы теперь занимаетесь?

Каталажкин ответил просто, ясно и спокойно:

— Продаю в розницу мое отечество.

— Как? Опять?

Он молча утвердительно кивнул головой.

— Кому же?

— В Америке.

— Эх, куда вас метнуло!

— Случайность! Счастливая случайность! — отвечал Каталажкин, уплетая свежую икру. — Могу сказать: как Христофор Колумб, открыл Америку. И как Христофор Колумб, совершенно случайно. Впрочем, Америку только и можно открывать, что случайно!

— Любопытно...

— Было бы узнать? Никакого секрета.

И, быстро и жадно поглощая блюдо за блюдом, он рассказал:

— Вы помните беднягу Омлетского, которого

вы из жалости накормили тогда бифштексом? Не отрицайте! Бедняга действительно ничего, кроме жалости, не мог внушать. Был голоден, околевал, и если украл, то из голода.

— Украл?

— Омлетский? Кончил тем, что украл! Самым грубым, самым грязным, самым вульгарным образом украл!.. Вы не обращайтесь на меня внимания, что я не ем, а жру. Отвратительно стал есть. Словно у меня отнимут. Тороплюсь. Это с тех пор, со времени Омлетского. Итак, Омлетский украл. Сопровождая какого-то любопытного туриста в качестве опытного гида — помните его профессию? — по скверным местам, напоил «типа» до положения риз и свистнул бумажник. Свистнул, — и прямо в закусочную. Купил пол-омара и тут же на улице слопал. До такой степени был, подлец, голоден. Нда-с, времена, чтоб их черт взял!

Каталажкин посмеялся.

— Ну-с, после такого происшествия, вы сами понимаете, в Париже оставаться было неудобно. У них насчет такого грубого присвоения собственности строго-с. Особенно ежели иностранец попался. Еще своего, француза, присяжные могут кое-как оправдать, хотя и этого почти никогда не бывает. Лучше уж убей, но только денег не бери. Это дороже! Но ежели иностранец, нет ему никакого оправдания. Потому иностранец должен сюда ездить с деньгами, а не за деньгами. В такой вере воспитаны. Словом, дело Омлетского дрянь. А тут чужой бумажник в кармане. Омлетский — скок на первый отходящий поезд — в Кале, в Англию, в Ливерпуль, на пароход и в Америку.

— Много было у вас... у Омлетского с собой денег?

— Не особенно! Пьяная каналья не любил с собой много таскать. Однако тысячи четыре франков.

— Однако!

— При американской-то дороговизне жизни? Шутите! А в Америке не украдешь. То есть украсть-то украдешь, но в тюрьме на всю жизнь похоронят. Замуравят — и умер. Тошно стало Омлетскому. Ходит: «К какому бы занятию себя пристроить?» И вот однажды, во время таких скитаний, проходит Омлетский мимо книжного магазина и в окно глазает. На окне книга: «Россия. Описания очевидца». Омлетский же говорил, и читал, и писал по-английски. Потому что прежде когда-то, в скверные годы, в Англии жывал. «Дай, — думает, — куплю книгу. Может, о России что новое прочту. Кстати, и в английском языке практика». Купил, пришел домой, начал читать и возмутился. Черт знает, что такое! Автор в Москве на торжествах был корреспондентом от нью-йоркской газеты и такое о России, в качестве очевидца, городит! Такое городит! Довольно вам сказать, что в книге картинки приложены. Фотография. Фотография черкеса во всеоружии, — подписано: «Русский дворник в Москве». Фотография какой-то опереточной певицы из малороссийской труппы. Юбка до колен и ноги в трико. Подписано: «Горничная в московской гостинице». Зло меня... то есть Омлетского взяло. Потому что был Омлетский все-таки патриот. «Надо, — думает, — этого подлеца-автора, что о России небылицы пишет, разыскать. Все поругаюсь. А то в английском языке никакой

практики нет. Да и знакомство все-таки приобрету. Хотя и через ругань. А там, может, я ему понравлюсь. В репортеры хоть, что ли, определит!» Взял и пошел. Явился в редакцию, от которой автор корреспондентом ездил. Спросил его. Выходит здоровый этакий дядя. Пожилой и вид приличный. «Что вам угодно?» — «Ваша, мол, книга?» — «Моя». — «Ну, так я русский и объясниться пришел!» Посмотрел с удивлением. «В чем же, — говорит, — дело?» — «Послушайте. Вы были в России, ведь вы видели своими глазами, что ни таких дворников, ни таких горничных нет. Зачем же такую ерунду печатать?» Как расхохочется этот самый автор. «А это, — говорит, — по требованию публики!» — «Как по требованию публики?» — «Нашей американской публики, мистер. Какой же черт, хотел бы я знать, станет книгу покупать, если о России только то, что есть, написать? У всякой публики, мистер, есть свои запросы, и всякая публика, мистер, имеет право на то, чтоб ее запросы удовлетворялись. Мы, американцы, мистер, ничего о России, кроме анекдотов, не знаем и ничего, кроме анекдотов, о ней слушать не желаем». И лишь он это сказал — Омлетский исчез.

— Как исчез?

— Изголодавшийся, растерявшийся, не знающий, что ему делать, куда сунуться, за что взяться, Омлетский мгновенно умер, исчез.

И вместо него перед американским корреспондентом стоял Каталажкин. Сам Каталажкин. Каталажкин воскрес. Гарсон, шампанского! Выпьем же за упокой души бедного Омлетского, и чтоб о нем больше не упоминать.

— За упокой его души.

— Рыбу бросили в воду! Вот где еще анекдоты о России могут иметь цену! И через месяц, милостивый государь мой, я, Каталажкин, беседовал с американскими капиталистами. — черт их обдери, — о разработке медных рудников в одной из губерний и о проведении по сему поводу подъездных путей! Капитал — 20 миллионов долларов. Знай наших! В Америке любят все en grand¹. За здоровье Америки! Hipp, hipp, hurra!

— И верили?

— Ежели я им анекдот о России рассказывал! Как же не поверить? «В чьей земле руда?» — «В крестьянской!» — «А как же достать?» — «Отнимут!» Какой-то знающий нашелся: «Там, у вас, читал я где-то, учреждение такое есть... зем... зем.. Оно не вступится?» — «Земство? Упразднят. По такому случаю упразднят!» И все американцы кругом в восторге: «Вот это по-русски». Ежели кто про закон, я им таких анекдотов наскажу! В газетах интервью со мной печатают: «Приехавший из России предприниматель. — Новое поле деятельности для Америки. — Запрет ни в чем. — Полная свобода. — Иностранец, делай что хочешь. — Новые анекдоты про Россию. — Предприятие, в котором заинтересованы князь Икс, граф Игрек, барон Дзэт». Я знаменитость. Меня все с распростертыми объятиями: «Свое отечество человек в розницу продает».

— Позвольте, да это повторение того же, что было семь лет тому назад в Париже и Брюсселе?

— Точное!

¹ На широкую ногу (*фр.*).

Каталажкин захохотал:

— Только шире, только наглее. Потому что американцы насчет нас еще более невежественны, чем гг. европейцы. Вы обратите внимание! Как за последнее время американские капиталы к нам кинулись. На нефть, на медь, на метрополитены, — на все идут. Какая уйма русских предпринимателей там орудует. Почему там? Потому что в Европе горьким опытом в эти анекдоты разучились верить, а в Америке еще верят. «Страна исключений». Городское самоуправление? Городское самоуправление для вас, в виде исключения, уничтожат. Земство? И земство, в виде исключения, для вас. Частная собственность? И частную собственность побоку! Когда-то и западно-европейские капиталисты на это шли. Но теперь, если такую вещь западноевропейскому сказать, он «увы! нет!» скажет и под стол от страха спрячется. А Америка еще не искушена!

— Но ведь и Америка, Каталажкин, горьким опытом дойдет, что все, на что ее русские «энергичные предприниматели» зовут, — анекдоты?

— Будет время — дойдет, — весело тряхнул головой Каталажкин, — а пока поживем!

Глаза его, как и встарь, беспокойно бегали с предмета на предмет и с нежной теплотой остановились на брильянтовой брошке одной из этих дам.

— Какая у нее брошка! — сладострастно шепнул мне Каталажкин. — Вот бы...

Но тотчас же расхохотался и, хлопнув меня по колену, успокоил:

— Не бойтесь. Это я так. Пока не нужно!

Джентльмены, или Новое поколение купечества

I

В недалеком будущем

Давненько я не бывал в Москве.

А приехал — прямо как писателю и подобает, — по знакомым купцам отправился.

Нынче это принято, и даже сам П.Д. Боборыкин, как в Москву прибудет, сейчас по знакомым купцам «за типами» едет.

Теперь все ездят «к купцам за типами», как прежде ездили «к купцам за товаром».

Со временем, вероятно, в пустыющих городских рядах особая «беллетристическая линия» или «типный ряд» откроется:

— Самые модные в литературе купеческие типы новейших фасонов.

И даже зазывать в этом «типном ряде» будут, как зазывали в — блаженной памяти — Ножовой линии:

— Господин, пожалуйста! Типы есть для романов, повестей, рассказов! Самые новейшие типы! Последней формации!

— К нам, господин, пожалуйста! У нас сам господин Боборыкин, Петр Дмитриевич, типы берут.

— Господин! У нас господин Немирович-Данченко покупали!

— Это какой же Немирович-Данченко? Василий Иванович?

— Никак нет-с. Те по испанской части. А братец ихний, Владимир Иванович. Допржеде они в звании «писательского брата» проживали, — вот как «купеческие племянники» бывают. А потом сами в первой гильдии драматурги вышли. Братец-то ихний Испанией завладели, — а Владимиру Ивановичу судьбой Замоскворечье дадено: «живописуй»! Пожалте-с!

— К нам, господин! Поставщики князя Сумбатова! У нас Сумбатов князь, они же Южин Александр Иванович, для «Джентльмена» купеческие типы брали-с. Очинно остались довольны! Пожалте! Благодарить будете!

— Да у вас какие же, собственно, типы имеются?

— Разные типы есть. Самый пестрый, можно сказать, купец! На всякий вкус. Вот, например, вам, может, архитектурный купец не пондравится ли-с?! Последняя, можно сказать, новинка-с.

— То есть как же это: архитектурный купец?

— По архитектурной части у него цивилизация обнаружилась.

— Да вы о цивилизации, милейший, словно о золотухе выражаетесь!

— Так точно-с! Не извольте беспокоиться. У купца оно сходственно. Как, например, золотуха: одному она в голову вдарит, у другого в ногу обнаружится. Так точно и цивилизация. У одного она в одно ударит, у другого в другое. У этого, например, она в архитектуре обнаружилась. Тятенька-то ихний в двухэтажном домике жили и даже о

том не думали, как бы мезонинчик надстроить. Да так и померли, до мезонина не додумавшись. А сынок теперича, как от дикости да от серости он уж отошел, — в архитектуру вдарился и все вавилоны строит.

— Как вы говорите? Что строит?

— Вавилоны-с. Потому никак иначе ихних построек не назовешь. Многие даже, и из ученых, архитекторы с ума посходили, на их постройки гляючи!

— Ну, уж вы и скажете: «с ума посходили»!

— Так точно-с. Потому нельзя без умопреступления на их постройки смотреть. В голове кружение-с делается. Дом не дом, крепость не крепость, кирка не кирка, — а так, вообще, — вавилон! Опять же стиль: рокока не рокока, а на рококу смахивает, хоша и древнерусского стиля как будто что-то есть. Так-с, помесь рококи с древнерусским. Весьма достопримечательный вавилон!

— Кто же этот «достопримечательный стиль», рококо с древнерусским, выдумал?

— Сами-с. Сами, своим умом дошли. «Желаю, — говорит, — в замке необыкновенном жить!» Ну и выстроили, как понеобыкновеннее. Что ж, денег-то у них было! Только чудно! С немцем тут случай вышел...

— С каким немцем?

— Из-за границы немца выписали, ученый — страх! Чтоб, стало быть, стиль определить, в каком дом выстроен. Потому здешние-то архитектора, докладываю вам, с ума сходили, а стиля назвать не могли.

— Ну?

— Привезли этого самого немца. Немец смот-

рел-смотрел — и так зайдет — посмотрит, и этак зайдет — поглядит. «Здание, — говорит, — изумительное! И не только в архитектурном отношении, но и в историческом! Ибо строил его не кто иной, как царь Навуходоносор, когда с ума сошел! Это здание охранять надо».

— Ну, и что же?

— Дали немцу пять тысяч целковых, чтоб молчал, — да в тот же день его курьерским домой и отправили, чтоб по Москве про Навуходоносора не звонил. Этому архитектурному купцу не в наши бы времена, а при построении Вавилонской башни жить. То-то бы он там делов наделал! Купец серьезный!

— Нет, уж бог с ним, с архитектурным купцом! Нет ли у вас другого чего?

— Музыкальный купец есть. Тоже вещица занятная. Или вот еще драматического купца не угодно ли-с? Самая последняя новость! Только что вышел-с. Еще ни в одном романе, ни в одной повести такого нет-с.

— Ну, а по дамской части у вас что-нибудь есть? Дамские купеческие типы имеются?

— Никак нет-с. Дамского товару не держали-с.

— Мессалин, например, из первой гильдии купчих?

— Это, пожалуйста, в перинной линии-с.

Столь велик интерес, возбуждаемый новейшим, «полированным» купечеством, что со временем непременно такая «типовая линия» специально для гг. беллетристов откроется.

Ну, а теперь пока «братьям-писателям», пишущим «самоновейших типов», приходится просто по купцам ездить.

II

Член 10 учебных обществ и замоскворецкая «плясавица»

Первым долгом к Петру Титычу Брускову заехал. Приятели: вместе в гимназии учились.

Позвонил. Выходит горничная.

— Дома Петр Титыч?

— Дома-то дома, а только они шибко заняты: книги рвут-с.

— Как книги рвет?

— Такое у них обнакновенье. Как прочтут книжку, так сейчас ее на мелкие клочки и издерут-с. А то по забывчивости могут в другой раз одну и ту же книжку прочесть. А это конфуз! Тут у них с Боклем междометие вышло. Взяли они Бокли-книгу и начали читать. Читали-читали, да вдруг как об пол изо всех сил бросят: «Что ж он, — говорят, — балбес пишет? Да я все это знаю, что он пишет! И выходит он — Бокль, после этого дурак!» И даже где-то в ученом обществе этак про Бокля-книгу выразились. Неловко-с, а на поверку-то оказалось, что они Бокля во второй раз взяли читать. Потому им и показалось, что Бокля-то пишет, это Петр Титыч и без него знают! С тех пор они и постановили себе за правило: как книгу прочтут, сейчас ее в мелкие клочки рвать. Чтоб больше не попадалась! Во избежание междометия!

— Скажите! Да и вы про Бокля знаете?!

Горничная покраснела, потупилась и кокетливо улыбнулась.

— Как же-с! Петр Титыч тут одно время-с народ просвещали-с. Позовут нас, т. е. людей, меня,

да повара, да прачку, да кучера, сами сядут, с профессором коньяк пьют и лимоном закусывают, а понамарь нам Бокля аль-бо Спенсера читает. Но только потом бросили, потому доктор им коньяк пить запретили, да к тому же они и профессора прогнали.

— Какого профессора?

— Не извольте беспокоиться, не из университета. Т.е. барин-то раньше думали, что они из университета. А на поверку они вышли профессором ксилографии, — вот что разной рукой на вексельной бумаге пишут.

— Каллиграфии?

— Вот, вот! Ей самой! И они же после при их искусстве баринову подпись на вексельном бланке подделали. Барин их и в шею! Тут и всему нашему образованию — крышка.

— Ну, хорошо. Барин книгами занят. А барыня дома?

— Вам которую? Ежели старую, так та наверну сидит и плюется. А молодая в «Стрельну» уехала.

— Что ты, матушка, мелешь? Кто плюется? Как барыня днем, одна, в «Стрельну» поехала?

— Так точно-с. На урок поехали. Учатся они там!

— В «Стрельне»?!

— В ей, в самой. Плясать по-цыганскому они обучаются. К балу себя готовят. Бал такой будет — купцы и купчихи первостатейные на манер цыган пляшут, а публика, которая состоянием поплоче, в ладоши хлопает. На это самое старая барыня в антресолях сидят и плюются. «Плясавица!» — говорят. Чудно! Тут цивилизация, а они этакие старые слова!

— Ну, ладно, матушка! Ты что-то такое болтаешь, и не разберешь. Пойди-ка, доложи своему барину, он хоть и очень книгами занят, но меня примет: старые приятели!

Петр Титыч принял меня с распростертыми объятиями.

— А, друг сердечный, таракан запечный! А я тут с книгами вожусь. Сейчас, дай только Дарвина дорвать, — мы с тобой портеру шаррахнем. Один Дарвин только и остался.

Перед ним лежала куча изодранных книг.

— Эй, Акулина! Собирай премудрости на помойницу, а нам сыпь портеру! Не велит маменька-старуха лакеев в доме держать. Во фраках они ходят, — так, говорит, на чертей похожи: «с хвостами!» Приходится, по-старому, горничными пробавляться. Ну, ты как?

— Да я что! Ты про себя расскажи. Ты что? Как? С кем?

— Я-то? Я, брат, с учеными! Пьем!

Петр Титыч даже за голову схватился.

— Страсть как пьем! Хотя удовольствия настоящего все же нет!

— Да что ж это за занятие такое: с учеными пить?! Ну, я понимаю: с цыганками пить, с певичками от Омона, но почему ж непременно с учеными?

— Наследственность. — Петр Титыч даже вздохнул.

— Наследственность? Вон даже в Дарвине, которого я только что прочитал, это напечатано: «наследственность»! Тятенька мой, царство ему небесное, как бывало на них запойная полоса найдется, все компанию поученей себя трафят: приказ-

ного, пономаря. Для тятеньки и это ученый народ был. Ну, а мне уж профессора нужны. Прогресс!

— Да неужто ж ты себе таких профессоров находишь?

— То-то и оно-то! Найдтиь трудно! Найдешь: «профессор»! И на карточке визитной значится: «профессор». А он окажется профессор-то...

— Каллиграфии?

— Это тебе Акулька сказала? Беспременно она, подлая деревня! Не может всего не выболтать. Мало я ее Боклем бил!

— Почему непременно Боклем?

— Бокль толще. Я всегда, когда кого бить, к Боклю прибегаю. Бокль — нравоучительный. Придется ее еще энциклопедией звездануть для ума.

— «Книга для наружного употребления». Так на профессоров жалуешься?

— Нет настоящего профессора! А уж как бы я тебе скажу, хотелось настоящего профессора спить. Хоть одного бы? Ведь есть же и между ними пьющие. А вот, на мой грех, не найду! А уж я бы для него, кажется, птичьего молока не пожалел! От «Яра» бы не уходил: только пей, сделай такое одолжение!

— Да зачем же тебе?

— Лестно! «Где, — спросят, — вчера был?» Да так, с профессором таким-то, имярек, опять нахлестались! «Ого, — скажут, — с каким народом они друзья-приятели». Опять же умрет профессор вскорости. Те станут спрашивать: с чего да с чего? «Все, — скажут, — пьянство с Петром Титычем Брусковым довело!» А мне и лестно: вот, мол, какие люди со мной пьют! Приятно! Эх, не то теперь время! Народу нет! Прежде, бывало! Знаменитость

на знаменитости, и все пьющие. А теперича где они, знаменитости? Выпить не с кем! Правду говорит Нордау Макс, которого я вчера разорвал: «вырожденье!» Вырожденье и есть! Прежде-то, прежде! Один вон какого музыканта спойл!

Петр Титыч назвал фамилию знаменитого музыканта, которого действительно сгубил один из московских меценатов.

— Через другого опереточный певец голос потерял! — Петр Титыч назвал фамилию знаменитого опереточного певца, действительно, потерявшего голос «через купцов». — Он хоть и опереточный певец был, а любому профессору не уступил бы. Его еще побольше, чем профессоров, знали. Потому в университете не всякий был, а в оперетке был всякий. Это было время! С кем пил? Сказать было лестно: «С таким-то? Имя! Два дня без просыпа пропить было можно, чтоб такое имя произнести! А теперь! Не то что профессора, актера не найдешь из знаменитых, чтобы выпил. Не пьет, хоть и актер!»

Петр Титыч вздохнул с сокрушением:

— Не с кем в Москве выпить! Вот как маменька, бог даст, помрут, первым долгом за границу поеду.

— Знаменитостей искать, с кем чокнуться?

— В Англии, говорят, все пьяницы. Туда и махну!

— Ну, а теперь-то маменька ведь, кажется, слава богу, еще живет?

— Живет как предрассудок!

— Пока-то ты чем же занят?

— По ученым обществам больше. В десяти ученых обществах состою. Все ищу!

— С кем бы выпить?

— Оно самое! Кончится это заседание — подой-

дешь бочком к кому-нибудь из ученых: «Меня, мол, в вашем докладе вот эта мысль об эволюции несколько поразила. Не проедемся ли к «Яру», на вольном воздухе об эволюции поговорить?»

— Ну, и что же!

— Поехал — держи карман шире! Посмотрит дико, да и все. Одному, вишь, ученое сочинение писать надо, другой завтра к лекции готовится. Скучный ученый народ пошел. Скучное время пришло. Образование мне дадено, стряпчий и пономарь меня уж не удовлетворяют как собеседники, а профессора, чтоб выпить, нет! Пить, конечно, пью, но только без удовольствия!

Мы помолчали.

— Ну, а жена как?

— Жена в «Стрельну» поехала.

— Неужели взаправду урок брать?

— И это Акулька, подлая, выболтала! Ну, подожди, языкатый черт, познакомится она у меня с энциклопедией!.. Чего ж ты удивляешься? Ну, урок брать! У кого ж и урок брать пляски по-цыгански, как не у цыган? Кажется, логично?! И ежели б ты видел, как жена пляшет! Отдай все, да мало! Кажись, не будь она мне жена, целые бы дни сидел и смотрел! Прямо — не жена, а Пашка Оглашенная! Плечами как дрыгает! Страсть.

— Да для чего же это, собственно?

— Для бала. Теперь это в большой моде. Бал, а молодые купцы и купчихи цыган изображают. Потому настоящие-то цыгане надоели. Что это?! Так! Природа! А ежели первой гильдии купчиха под цыганку работает, это уж искусство! Да ты не улыбайся! Не кто-нибудь это выдумал! Такие, брат, фирмы пляшут, ой-ой-ой...

— Да зачем это?

— Для искусства. Ну, опять же, последовательность этого требует.

— Что?

— Последовательность. Во всем должна быть последовательность. Столько лет купцы на цыган смотрели. Что из этого, спрашивается, вышло? А вот наше, мол, смотрите, — что! Купцы великолепно переняли, как цыгане пляшут, и теперь сами своими силами без цыган обойтись могут! Прежде говорили: «Купец без цыган немислим!» А теперь на-тко, выкуси! Сами почище цыган пляшем! Ну, и цыганам острастка, — видят, что и купчихи не хуже их поют и пляшут, — конкуренция! Меньше за пение драть будут. И коммерческий расчет тут есть. А главное — самолюбие, честь сословия!

— Ну, честь сословия-то при чем же?

— А как же?! Вот, мол, как мы! Что за способности в нас таятся. Что хочешь — сейчас превзойдем! Хоть по-цыгански плясать! На что все говорят: «Уж так, как цыгане, никому не сплясать!» Ан нет! Захочет купец, — лучше спляшет. Ко всему способности! А это важно!

— Отлично! Ну, а ты сам не того... не плясешь?..

— Я-то? Нет! Так, в домах, у знакомых, пляшу, а чтоб публично на балах, — мне нельзя: я член десяти ученых обществ! Жене, конечно, не препятствую: эмансипация.

— А маменька как на всю эту эмансипацию смотрит?

— Маменька — что! Маменька плюются. Сидят у себя в антресолях и плюются. Старых понятий человек! В прошлый мясоед в газете прочла, как

мою жену за цыганскую пляску разбирали во всех подробностях, — сложение и как плечами дрыгает, так с ней чуть удар не сделался. А мы это! Газетой, пуще чем аттестатом, гордимся, потому в ней мою жену весьма похвалили: и за сложение, и за то, как плечами дрыгает. «Настоящая, мол, цыганка». Это-то маменьку пуще всего в исступление и привело. «Как они смеют, — кричит, — первую гильдию в газетах трогать? Пусть бы вторую цыганили!» Потому маменька дуры-с!

— А ну, а как эта «маменька — дуры-с» возьмет да тебя за все эти «художества» наследства и лишит?

Петр Титыч усмехнулся.

— Никак этого не может быть! Завещанье вот оно, в несгораемом шкапу. Все мне!

— А другое составит?

— Невозможно. Я маменьку в попечении держу. Раз навсегда приживалкам наказано без моего ведома ни к маменьке никого, ни маменьке никуда. А то у меня — расправа короткая: словарем Ларусса по башке! И кончено. Меня из-за моей библиотеки все в доме страх как боятся!

III

Просветители

Федула Прохоровича Пахомова я застал за делами. Он беседовал с управляющим, однако, когда ему доложили, пришел немедленно.

— Милости прошу к нашему шалашу! Пожалте! Сигарочку не прикажете ли?

— Да я не помешал вам?

— Помилуйте, какая помеха! Там управляющий с фабрики приехал. Отчет сдает. Дело не секретное! Нам чего хорониться: на всю Русь дело делаем! Ежели дозволите, я при вас его и допрошу, чтоб малого-то не томить!

— Пожалуйста, не стесняйтесь.

— Живо покончим! Ну, Панкрат Данилов, докладывай, как дела!

Панкрат Данилов, степенный, но, видимо, «себе на уме» мужик, из ярославцев, по обычаю всех управляющих в таких случаях, переступил с ноги на ногу, кашлянул и ответил не без мрачности:

— Дела что! Ничего дела! Дела — слава богу!

— Фабрики что?

— Фабрики ничего: и ткацкая, и бумагопрядильная. Все обстоит как следует. Рабочие вот...

Федул Прохорович беспокожно заерзал на стуле.

— Что рабочие?

— На господина Шекспира обижаются.

— Что ж им «господин» Шекспир сделал?

— Да Шекспир-то ничего, он, может, был господин даже хороший... Только вот сочинения его... непереносимо-с!

— То есть как же это «непереносимо»? Как «непереносимо»?

— Да вы, Федул Прохорыч, не извольте гневаться. А только это правду надо сказать, что сочинениями Шекспира весьма рабочие обижены! Помилте, рабочий человек, он устанет, сами изволите знать — работа у нас на фабрике почитай что каторжная!

— Но... но!.. Уж и каторжная!

— Так точно-с, Федул Прохорыч! Человек рабочий намается, ему бы только до печи добраться, а

его вдруг господина Шекспира сочинения смотреть гонят. Очень господином Шекспиром рабочие обижены! Спать не дает!

— «Спать!» — передразнил Федул Прохорыч. — «Спать!» Веками дрыхните, черти! Вам бы все спать, а о просвещении не подумаете. Много он умного во сне увидит, рабочий-то твой! А тут все-таки Шекспир, сам Шекспир!!!

— Так точно-с. Но только два ткацких мастера, хороших мастера, через этого самого Шекспира на Алтынникову фабрику ушли. «Потому, — говорят, — там никакого Шекспира нет, и народ им не неволят: сменился, и спи сколько влезет».

Федул Прохорович даже плюнул от негодования.

— Да ведь Алтынников-то твой дрянь, мракобес, представитель темного царства, — тип, вымерший тип!

— Зачем же?! Они и теперь живут!

— «Живут!» Без тебя знаю, что «живут». Но как тип они вымерли! Да что мне с тобой о литературных делах разговаривать, ежели ты Алтынниковым восхищаешься?! По-литературному если тебя назвать, так ты ретроград. А не по-литературному ежели, так просто дурак!

— Как хотите ругайтесь, Федул Прохорыч. Вам виднее! Дело хозяйское!

— Алтынников твой только о пользе думает, а я как себя понимаю? Как на себя смотрю? Вверено мне четыре тысячи фабричных, и должен я об их просвещении заботиться! Ты бы это рабочим объяснил!

— Объяснял я.

— Ну, и что ж?

— Да они согласны. И на Шекспира согласны.

«Только пушай, — говорят, — нам Шекспира этого самого в рабочие часы засчитывают, хоть за половинную плату».

— Ишь ты!

— Или пусть хоть часик работ сбавят, «тогда мы, — говорят, — всегда Шекспира смотреть согласны!»

— Вот это вздор! Этого нельзя! — сухо перебил Федул Прохорович. — Это уж значит до капитала добираться. А я этого, знаешь, не люблю. Шекспир — Шекспиром, а капитальное дело само по себе. Да ты, — Федул Прохорович подозрительно посмотрел на управляющего, — да ты сам, я вижу, рабочих сторону держишь? Их линию гнешь? Смотри ты у меня!

Управляющий даже головой покачал.

— Помилте, Федул Прохорыч! Напрасно обижать изволите. Разве я когда рабочих сторону держал? Всегда, кажется... Оштрафовать когда — всегда оштрафую: интерес хозяйский. Но штраф штрафом, а Шекспиром-то обижать зачем же!

— «Обижать!» А ты на Савастьевской-то фабрике слышал что делается?

— Слухи ходят!

— Мольера для рабочих ставят. Что же, по-твоему, твой хозяин должен хуже Савастьевых быть? А? У них Мольер, а у меня Шекспир. Нако-ся, выкуси! Уж если пошло среди гг. фабрикантов такое течение, чтоб о просвещении рабочих заботиться, то должен я в этом течении первым быть. Вот придет к святкам Боборыкин, Петр Дмитриевич, мы ему и покажем. У Савастьевых Мольер, а у нас рабочие всего Шекспира насквозь пересмотрели! Посмотрим, кого он в романе опишет!

— Разве собирается Петр Дмитриевич к святкам? — любопытствовал я.

— Он всегда об эту пору для наблюдений приезжает. Материал собирает и новейшие течения жизни улавливает. Он теперича новейшее купечество живописует. Вот мы ему и покажем: какие мы есть просветители. Ты народу прямо скажи: кто согласен Шекспира смотреть, пусть живет. А не согласен, пусть убирается к черту. Нам невежественных элементов не нужно.

— Слушаю-с.

— Построил я им театр! — пояснил мне Федул Прохорыч. — Актеры из Москвы, которые без мест, играть ездят. Шекспир идет. И вот, видите, с какими затруднениями приходится просветительное дело делать. Дубьем их в театр надо гнать!

— Народ усталый, — вставил опять управляющий.

— Ну, ты молчи, потворщик! «Усталый!» Так Шекспир-то для чего дается? Для отдыха! Умственный отдых это!

— Оно, конечно, который человек образованный, он и на Шекспире, может, отдохнет. А который необразованный, ему б на печи сподручнее.

— Ладно!.. Прохоров пьет?

— Так точно-с. Пьет. Я вам вот, Федул Прохорыч, про него объяснить хотел. Никакого сладу с ним нет. Пьян с утра до ночи, с работы уходит, всей фабрике соблазн. А станешь говорить — фертом этак подопрется, «я, — гыть, — гамлет дамский!»

— Не дамский, а датский! Сколько раз я тебе говорил?

— Виноват-с. Не нарочно! Перепутал!

— Прохоров, — пояснил мне Федул Прохорыч, — это у меня мастер-ткач. То есть он не столько ткач, сколько шекспировед. Первый шекспировед по всему ткацкому корпусу. Личность феноменальная. Память прямо дьявольская! Страницами наизусть катает. Пьяница горчайший. Из-за Шекспира только и держу. Для славы! Он теперь что учит?

— Ателу, мавру дикую. Ужаси, как страшно кричит!

— «Ателу!» — передразнил, по своему обыкновению, Федул Прохорыч. — Еще управляющий, а «Ателу», да еще «мавру» говоришь. Ты, Панкрат Данилов, когда Петр Дмитриевич Боборыкин фабрику обходить будет, помалкивай! Стыдобушка с тобой!

— Мне что ж! Мне с ними говорить не о чем!

— А зато Прохоровым мы господину романисту нос утрем! Нда-с! Пойдет ему из Шекспира ткач монологи катать — я думаю, Боборыкин об нем, не утерпят, роман напишут. Самородок. Только, я так думаю, сопьется этот самородок и в актеры пойдет!

— Куда ж ему больше! — подтвердил и управляющий. — Будет по балаганам ломаться!

— Ну, и черт с ним! В холодную его, чтоб Шекспира учил, запираешь?

— Запираем. Нешто он без этого может?

— То-то. Я даже так думаю для эффекта пустить, чтобы когда Петр Дмитриевич Боборыкин придет, Прохорова не мастером, а простым ткачом пустить. Эффекту больше. Вот, мол, до каких недр на моей фабрике просвещенность дошла. Простые ткачи Шекспира наизусть знают! Штука!

Ну, а на бумагопрядильной кто у нас на Шекспире стоит?

— Там Малоешка Ефим, тоже мастер. Жалится очень. Времени, — говорит, — много уходит.

— Ништо! Скажи этому самому Малоешке: не будет Шекспира учить — из мастеров разжалую. Как же это возможно! В ткацком корпусе есть шекспировед, а в бумагопрядильном вдруг нет! Безобразия! А здорово ведь это выйдет?! — весь сияя, обратился ко мне Федул Прохорыч. — Бумагопрядильщик, Малоешка, — ведь и прозвище же! — и вдруг монолог «Короля Лира» махнет! Я думаю, рот Петр Дмитриевич разинет! Слава Тебе, Господи, в этом году начистоту дело поведем. На совесть торговать будем. Действительно, своих рабочих шекспироведов выставим!

— А разве в прошлом... — удивился я.

Федул Прохорыч только усмехнулся. Усмехнулся и Панкрат Данилыч.

Оба посмотрели друг на друга: «Сорвалось, мол, слово-то!»

— Ну, да уж что! — махнул рукой Федул Прохорыч. — Одно слово вылетело, — надоть все договаривать! Вам-то уж признаюсь. Не без греха в прошлом году было. А? Панкрат Данилыч? Говорить?

Управляющий только усмехнулся:

— Говорите, мол! Уж начали!

— Мы с Панкратом Петра Дмитриевича обошли маленько. Взаемство рабочего-то приват-доцента ему всучили!

Я даже на месте подпрыгнул.

— Как приват-доцента?!

— Так, неважный приват-доцентишка. Он даже и не приват-доцент, а хотел только приват-до-

центом быть. Шлющий. Без дела путался. Из себя такой невзраченький, бороденка мочалкой, — одно слово, огрызок! Подрядил я его за полтора ста целковых. Панкрат его фабричным одел, словам кой-каким фабричным, терминам, обучил. Умыться не давали две недели. Совсем вышел фабричный. И фабричный-то из паршивеньких.

— Ну? Ну?

— Ну, приходит Петр Дмитриевич за «материалами» для романа на фабрику. Он, как Эмиль Золя, когда романы пишет, во все вникать любит. Я ему и говорю: «А вот, Петр Дмитриевич, не угодно ли с типиком интересным познакомиться? Может, и пригодится. Первый нашей фабричной библиотеки читатель!» — «Пфа! — говорит. — Интересно!» И пошел промежду них разговор. Приват-доцентишка-то ему так и чешет, так и чешет. Петр Дмитриевич даже глазки открыли...

— Вытаращили глазки, это точно-с! — подтвердил с улыбкой и управляющий.

— И ничего не говорят. Только слушают, А приват-доцентишка чешет, а он-то чешет! Я сзади Петра Дмитриевича ни жив ни мертв стою. «Ну, как, — думаю, — догадается?!» А сам-то ему, приват-доцентишке, на нос все указываю, на нос!

— Это зачем же?

— А чтоб нос рукавом вытирал, — на фабричного больше похоже! Разошелся мой приват-доцентишка, нос себе рукавом утирает, а сам-то Петру Дмитриевичу и о том и об этом. Петра Дмитриевича даже сомнение взяло. «Не ожидал, — говорит, — не ожидал, чтоб за то время, пока я по Италиям ездю, русский народ до того развился и такие фрукты дарить мог! Вижу, — говорит, — что

читали вы много и сведений нахватали тьму. Ну, а позвольте вас спросить: это у вас что?» И на станок ткацкий указывает. «Станок!» — приват-дочентишка говорит. «А это?» — «А это челнок прозывается!» Панкрат Данилов, как я вам докладывал, его всей этой премудрости обучил. «А это что будет?» — «Основа!» Тут Петр Дмитриевич диву дался, слова эти на манжете записал. «Для романа, — говорит, — годится!» Оборачивается ко мне и говорит: «Мастер, должно быть, хороший?» Ну, а я-то рад, что не открылся. «Первеющий, — говорю, — мастер!» Обнял его тут Петр Дмитриевич, поцеловал, собственный портрет с надписью и полное собрание сочинений подарил. Потом еле на двух подводах привезли! Гололедица была, Петра Дмитриевича сочинения лошадям везти и неумоготу.

— Ну, и что ж из этого вышло?

— Что вышло? Стал Петр Дмитриевич после этого случая задумываться. Три дня мы тут жили — он фабричное дело во всей доскональности изучить хотел! Ходит он и задумывается. Я уж испугался даже, — думаю: «не случилось бы чего с человеком?» Не рад, что и затеял. Сами понимаете, человек нервный, и вдруг ему ткач про Дарвина! Долго ли тут! Стал уж тут я его разговаривать: «Охота, мол, вам, Петр Дмитриевич, об таких пустяках думать? Между фабричными это зауряд! Все они Дарвина читали! Об этом даже и думать не стоит!» Не знал прямо, что делать. Хотел было даже во всем чистосердечно признаться, — потому, вижу, дело плохо: человек ошеломлен и от изумления с ним неладное творится! Да, спасибо, Петр Дмитриевич сам уста разверз. «О чем, — говорю, — вы все, Петр Дмитриевич?» — «А о том, — го-

ворит вдруг, — что прогресс каков?! Давно ли я свою «Московскую легенду» писал, про то, как три купца ученую свинью слопали, — и вдруг теперь что вы наделали? Рабочие у вас Дарвина читают! А? Куда вы Россию двинули!» Да и ну меня целовать! Роман потом написал «Тягу», — и моего приват-доцентишку так в виде фабричного и выставил. А мне слава! Пошел по Москве трезвон! «Вон, какой у Пахомова рабочий выискался, — Боборыкин с него роман пишет!» Мне и лестно. И все бы хорошо, да приват-доцентишка замучил!

— Этот что?

— Получил свои полтора ста по уговору, а пятьдесят еще выклянчил. Портрет Петра Дмитриевича с собственноручною надписью на стенку повесил, — кажется, еще что-то лестное для себя вписал. Книжки, полное собрание сочинений, букинистам продал. А потом, что ни месяц, то пошел письма писать: «Пришлите, дескать, сто рублей заимообразно, а то в газетах опровержение напечатано, что был я, приват-доцентишка, фабричным загримирован и вместе Петра Дмитриевича в обман вводил». Платил!

— И много?

— С тысячу переплатил. Ну, а теперь этого не будет! Теперича мы для Петра Дмитриевича своих собственных шекспироведов приготовим. Что еще есть нового на фабрике, Панкрат Данилович?

— Да больше ничего-с, Федул Прохорыч, кроме того, что многие, по положению, вперед просят, к праздникам в деревню им высылать надоть! Это и при тятеньке вашем так водилось.

— Скажите им, чтобы Шекспира наизусть учи-

ли. Кто хоть один монолог выучит, пусть получает. Не выучит — не прогневайся.

— Федул Прохорыч, обидно!

— Ничего не обидно! Просвещение нужно насаждать! Хочет денег вперед — просвещайся. Да бабам и девкам сказать, чтоб хоть по небольшому, по одному сонету выучили. А то, сказать, — качели сломаю, и горы разметать велю. Так и объявить: кто стихи знает, пускай с гор катается. А нет — в шею! Больше ничего... Скажи еще, что на той неделе я сам на фабрике буду — и по книжке спрашивать стану, кто что из Шекспира знает. Рады фабричные моему приезду?

— Известно, хозяин... Как не рады...

— Рады, я вижу, да не очень! Тятеньке покойному, царство ему небесное, больше радовались? Ты правду говори, Панкрат Данилович, правду!

Управляющий замялся.

— Да оно...

— Говори, говори, не бойся!

— Оно, ежели правду говорить, — так точно, что тятеньке вашему, дай Господь царство небесное, место покойное, радовались побольше. Потому, сами изволите знать, у кого на англичан, главных мастеров, жалоба, у кого в деньгах нехватка — все к вашему тятеньке, когда они на фабрике бывали, шли. И всех их тятенька ваш выслушивали. А к вам — вашей милости известно — иначе как с Шекспиром не подходит.

Федул Прохорович далее плюнул.

— Ведь вот! Все о жратве, да о штрафах, да о недостатках! А нет чтоб о возвышенном, о просвещении позаботиться! Тфу!

— Народ малодушный! — как бы извиняясь, сказал управляющий.

— Сам ты «малодушный»! Ступай! Да с Шекспиром-то попрizzi их! Штрафуй, в случае чего, но чтоб Шекспира к святкам знали!

— Слушаю-с! — уныло сказал управляющий, поклонился и вышел.

— Вот какие дела-с! — помолчав, вымолвил Федул Прохорыч. — Вот какими энергичными мерами приходится вверенный нам народ просвещать.

— Диву даюсь я, — не мог я удержаться, — что это за всеобщая литературная повинность такая!

— Не возможно-с иначе, — ответил со вздохом Федул Прохорович, — такая у гг. фабрикантов линия пошла, чтобы свой фабричный народ просвещать. Один свою фабрику просвещает, а другой еще пуще. Другой пуще, а третий еще пуще. Сосед Мольера загибает, а я — Шекспира.

— Спорт какой-то!

Федул Прохорыч «воззрился».

— А хоть бы и спорт-с? Благородный спорт-с! Тут не лошади, а Шекспир! Радоваться нужно, что среди полированного купечества новейшей формации такой спорт завелся!

— Оно конечно... Только меры-то больно крутые.

— Иначе и невозможно. А Петр Великий какими мерами просвещение вводил? Не крутыми?

— Ну, не всем же, Федул Прохорыч, Петрами Великими быть!

— А почему бы и нет-с? Пример с великих людей всегда брать следует!

— Оно конечно... Только уж очень оно...

— Верьте мне, сударь. Тятенька-покойник бы-

ли из народа, и я народ знаю. Народ лодырь, но народ к просвещенью способен. Оштрафуй его, бестию, как следует, — он и просветится. А мне с моей фабрикой от других отставать не приходится. Те заботятся — и я забочусь! Да вот, не угодно ли-с, мы на фабрику проедем! Я вам таких шекспироведов покажу...

— Нет уж, зачем же!

Я взялся за шапку.

— Право бы, проехали! Я вот еще Гервинуса думаю на ткацкой фабрике ввести. Пусть читают! Не будешь читать — штраф. Оно штрафами можно с Русью все сделать! Оштрафовать хорошенько — и Гервинуса будут знать!

Я откланялся.

IV

«Лорд» Салазкин и «мистер» Курицын

К Силу Силычу Салазкину я заехал в воскресенье.

Меня встретил чисто-начисто выбритый лакей.

— Вам к кому, собственно? Ежели к леди, то они не принимают-с, заняты: англискую Библию читают. А ежели к лорду, то можно: они зевают.

— К какому лорду?

Чисто-начисто выбритый лакей осклабился.

— Это мы Силу Силыча так зовем!

— Так какой же Сила Силыч лорд?

— Это уж нам неизвестно-с, лорд Сила Силыч или не лорд. А только мы их лордом зовем, — потому за это жалованье получаем. Который человек безошибочно Силу Силыча завсегда лордом назы-

вает, — тому даже ежемесячное награждение бывает. А вон Трифон буфетчик намедни напимшись Силу Силыча из озорства купцом назвал — так его в три шеи со двора долой. Шибко Сила Силыч этого не любит!

— Ну, ладно, пойди, доложи обо мне лорду.

— Думаю, что примут-с. Хоша теперь и воскресный день. Они по воскресеньям никого не принимают — но теперича, я думаю, исключение составят. Потому никак три часа перед камином, на решетку положимши ноги, сидят. Я думаю, что им невтерпеж. Этак и зажариться недолго.

— Зачем же он по три часа перед камином сидит?

— Аглицкое-с обыкновение!

Чисто-начисто выбритый лакей не ошибся. Сила Силыч принял меня немедленно и, видимо, с удовольствием покинул свою «аглицкую» позу пред камином.

— А! Слухом слышать! Видом видать! Сколько лет, сколько зим! Оно хоть в Англии и не принято по воскресеньям в гости ходить, но старому приятелю рад!

— Да ведь мы с вами, Сила Силыч, не в Англии.

— Ничего не значит, у меня дом на самую настоящую английскую ногу поставлен. Вот, например, воскресенье. У нас по-московски принято, что либо сам в гости, либо к тебе гости. А я дома сижу — сам ни к кому, к себе никого. Потому в Англии этого ужас как избегают. Даже читать ничего не читаю, — потому у англичан и это не принято. Зеваю, зеваю, — скулу своротил зевавши, — но от английского режима ни на шаг. Спасибо, вы зашли. А то уж прямо не знал, доживу я до обеда

или нет! Тяжело быть англичанином! Присядемте! Может, не угодно ли, по-английски, к каминчику?

— Нет, зачем же! Я и здесь посижу. Да и вы, кажется, Сила Силыч...

Сила Силыч немножко покраснел.

— Знаете, другому бы, конечно, не сказал. Но вам, как старому приятелю, откроюсь: невтерпех! Сидишь это пред камином в английской позе, — ноги на решетку, — небо с овчинку кажется! Печет, черт его возьми, моченьки нет. Прямо чувствуешь, что волдыри вскакивают! А сидишь!

— Да вы бы встали.

— Нельзя: англичанин! Диву я этим англичанам даюсь — ну, чего это они вздумали, задравши ноги, перед камином сидеть? Какая приятность? Точно на горячие уголья тебя посадили. Или вот ростбиф еще — каторжная, между нами говоря, еда!

— Почему же? Иногда...

— Хорошо, как иногда. А ежели каждый день.

— Да зачем же, Сила Силыч, вам каждый день ростбиф кушать?

— Нельзя: английское блюдо. Уж раз ты англичанин — англичанином и будь. Терпи, а от английских обычаев не отставай. Я на этот счет держу ухо востро. Меня, — я так думаю, — если лорду Салисбюри показать, так и тот за чистокровного англичанина примет. Жена, например! Другой раз и хотелось бы жене «ты» сказать: голубка, мол, ты моя сизокрылая. А воздерживаюсь. «Вы» говорю.

— Почему же?

— А потому в английском языке «ты» слова нету. Там отец сыну, карапузу этакому, двух годов от роду, — и то «вы» говорит. Просвещенная нация!

Я намедни племянника драл. Деру, а сам ему «вы» говорю. Потому нет в английском языке слова «ты», — да и шабаш!

— Да ведь вы с женой-то, я думаю, не по-английски, а по-русски разговариваете?

— Ничего не значит! На английский образец. Не говорят англичане «ты», — ну, стало быть, и я не должен.

— Новенького у вас, Сила Силыч, что?

— Да что новенького! Вся надежда теперь у нас на лорда Чемберлена, потому, — сами вы знаете, — маркиз Салисбюри, — куда он годится?!

— Да я не про то! Ну ее, Англию! Оставим ее в покое! У вас, у вас, Сила Силыч, что новенького? В Москве, вообще?

— Да мне-то почему ж знать! Я, признаться, редко в Москве зимой бываю. Вы и теперь-то меня так случайно здесь застали. Я зимою на даче.

— В декабре?

— Всю зиму! Да что вы на меня так оставились?! Все английские лорды так делают, и никто им не удивляется! Все английские лорды, сколько есть, целую зиму на дачах, т.е. в загородных коттеджах, проживают, а на лето в Лондон приезжают.

— Так ведь то, Сила Силыч, объясняется условиями климата. В Лондоне зимой жить невозможно: туман целыми неделями не проходит. Потому лорды и в городе не живут. У них и сезон-то бывает летом, все балы, театры...

— Ну, уж это чем там объясняется, нам разбирать не приходится. А только ежели англичане так делают, так и должен я им подражать. Так-то! Оно иной раз, правда, зимой-то на даче «и кюхельбекерно и тошно» делается. Сидишь это перед ками-

ном, печешься. А за окном-то вьюга злится, стонет, плачет, в трубе словно воеет кто-то, да так пронзительно, да так жалобно — сердце сжимается. Даже оторопь берет! Ну, а вспомнишь, что ты англичанин, — и ничего, успокоишься. Ежели ты лорд, — так и слушай, как в трубе ветер воеет! А только, действительно, целую зиму этак выдержать трудновато! Костюмы вот меня еще допекают!

— Какие же в деревне костюмы?

— Как какие? По английскому обычаю, три раза в день переодеваюсь. Утром пиджак, в двенадцать часов редингот длиннополый, — я их себе от Пуля, из Лондона, выписываю, — чисто юбка! Ну, курить захочется — особь статья: тут я смокинг кургузый надеваю для этого случая. А к обеду фрак.

— Гости, что ли, бывают?

— Какие там гости! Вдвоем с женой!

— Так на что же фрак?

— Нельзя! По-английски-с! А во фраке, и даже в перчатках, — есть неудобно, а нечего делать, стараюсь, ем! А жена в платье декольте и во всех своих брильянтах. Как английская леди. Мы за день-то только за обедом и сходимся. Я ей поклон: «миледи!» А она мне книксен: «милорд». И руки друг другу не подаем. Так в молчании ростбиф и кушаем!

— Ну, а жена как насчет всего этого «английского дачного режима»?

— Что жена! Плачет, а покоряется. Пошла за муж за англичанина — должна и она англичанкой быть! Мы хоть и англичане, а это правило «жена да боится» — весьма помним! Потому оно нам сподручно. Жене-то, надо правду сказать, еще пуще моего приходится. Леди, — потому ее и страх берет. Уж ежели у лорда от этого трубно воя

сердце щемит, — леди-то и по давню. Все это ей представляется, что по ночам в окна разбойники лезут. На даче-то зимой живши, как не представится! Ночек не спит. Выйдет к обеду худая и бледная, лицо как из воска, — сердце радуется: настоящая англичанка!

Тут уж я не вытерпел.

— Скажите, Сила Силыч, какая же такая крайность заставляет вас всем этим «аглицким зверствам» себя подвергать: зимой на даче жить, у камина себя поджаривать и ростбифом каждый день питаться?

Сила Силыч подумал, побарабанил пальцами по столу, вздохнул и сказал:

— Стремление к просвещенности!

— Да в чем же тут просвещенность? Ростбиф, когда он в горло не лезет, есть.

— Не в ростбифе сила, а в том, чтоб англичанином быть! Вот в чем вся штука!

— Да для чего же непременно московскому первой гильдии купцу — да вдруг в англичане?

— Для чего?! А вот видите ли, сударь мой! Тяньки-то наши, царство им всем небесное, когда капиталы наживали, в серости жили. Им об этой самой просвещенности, действительно, думать было некогда. Потому они капиталом были заняты — как бы прирастить то есть. Ну, а мы, теперь, как состоим при готовых уже капиталах, то должны и о просвещенности подумать! Вот и стал я насчет просвещенности думать, как бы мне жить просвещеннее? Да и решил: «А не пойти ли мне в англичане?» Англичане — самая что ни на есть просвещенная нация. Подражай, да и кончено! Я в эту точку и устремился. Оно, что говорить, труд-

но. Возьмем хоть слабость человеческую — еду. Она у всякого человека имеется, а у купца московского — ох, как сильна! Духом-то я совсем англичанин, а желудок у меня московский. Мне из-за этого сколько искушений переживать приходится. Другой раз, как русские люди говорят, «сосет под ложечкой», желудок себе севрюжинки просит, потому он на ней с малолетства воспитан, — а я ему, как англичанину подобает, ростбифу, да с кровью! Или вот, скажем, английская утренняя еда: по-ихнему «брекфест». Не могу ни свет ни заря, спозаранку, чуть глаза продравши, бифштекс лопать. А ем. Тошнит меня — а ем. Потому захотел быть англичанином — будь им во всех смыслах! Я, может, через это желудком-то как маюсь, — ни один англичанин так не мается! А терплю, дохожу, стараюсь. Потому должен я самым что ни на есть просвещенным человеком, англичанином сделаться! И других кругом себя англичанами делаю. Упираются они, не хотят, а я на своем ставлю: я, брат, хоть и англичанин, а из московских купцов. Меня, на чем я уперся, — с того не сопрешь. Шутишь! Всех кругом себя англичанами делаю. Оно, глядишь, и образуется вокруг меня круг самых что ни на есть просвещенных людей — англичан. Жена у меня англичанкой стала; человек, которого вы видели, англичанин; кучер Терентий — англичанин, даже бороду ему сбрил и бачки отпустить приказал; лошади англизированы...

В эту минуту вошел чисто-начисто выбритый лакей и громким голосом провозгласил:

— Эсквайер пришел!

— Это еще кто? — не удержался я от изумленного восклицания.

— Это так, — небрежно заметил Сила Силыч, — родственник один, торговец бедный, ну, а все-таки у него, кроме торговлишки, делишки еще есть, — так я его приказал «эсквайером» звать. Ходит он тут ко мне, на бедность просит. Ко мне, признаться, мало кто жалуется. Из-за английского моего режима. Не выносят еще передовой просвещенности. Серости еще много. Ходили было из родственников кое-кто, да как я их обязал, чтоб к обеду во фраках всем быть, а женщины чтоб декольте, — они и плюнули. Так-таки прямо и плюнули. На порог плюнули и ушли. «Тру, — говорят, — опосля этого!» Довольно не по-английски! Один только, почитай, эсквайер Курицын и жалуется еще! Да и того недостатки ко мне гонят. На бедность канючит! Где эсквайер?

— В передней дожидаются, лорд! — без запинки отвечал чисто-начисто выбритый лакей.

— Ну, зовите эсквайера сюда!

Сила Силыч пересел к камину и ноги положил на решетку:

— Надо эсквайеру английскую позу показать!

Вошел невзрачный, пожилой человечиска. Вошел робко, остановился на пороге, посмотрел по стенам, пошарил глазами, истово перекрестился несколько раз в передний угол, низко поклонился сперва Силе Силычу, потом мне, потом опять Силе Силычу, сделал шага два, снова поклонился и сказал:

— Вашему степенству! Все ли в добром благополучии?

— «Вашему степенству!» — передразнил Сила Силыч. — Сколько раз я тебе... Сколько раз я вам говорил... Тфу! С вами и сам из англичан вый-

дешь! Сколько раз я вам говорил, как меня звать следует?

Курицын конфузливо улыбнулся:

— Запомятовал, ваше степ... то бишь, мистер Сила Силыч. В голове не то, мистер Сила Силыч!

— А что же у вас в голове, мистер Курицын?

— Насчет векселечка я, мистер Сила Силыч, — в триста рублей векселечка... Ономедни, мистер Сила Силыч, благодетель, изволили посулить, что триста рублей заимообразно по-родственному дадите, векселечек заплатить. Завтра срок.

— Так-с...

Сила Силыч побарабанил пальцами по ручке кресла.

— Так-с! А в каком же это вы, мистер Курицын, английском доме видели, чтоб англичане по воскресеньям делами занимались?! А?! Разве вам, мистер Курицын, неизвестно, что англичане по воскресным дням решительно всякую деятельность прекращают, и что на то у англичан есть будни? Неизвестно это вам, мистер Курицын?

«Мистер Курицын» метнулся, как человек, которому на шею забрасывают петлю.

— Ваше степ... Мистер Сила Силыч, милостивец! Какие же будни?! Был я у вас вчера и третьего дня, — с утра до позднего вечера толкался, видеть вашей милости не мог. Утром вы биштек кушаете, потом вас тошнит...

— Ну, это вы, мистер Курицын, можете и в сторону!

— Виноват-с, мистер Сила Силыч! Потом вы изволите в манеж верхом забавляться. Потом с гирями упражнение имеете. Потом завтракаете. Потом с лакеем на кулачках деретесь...

— Не на кулачках, а боксом!.. Это я ежедневно с человеком боксирую. Английский спорт! — пояснил Сила Силыч в мою сторону.

— Точно так-с, боксом! Потом вы обедаете и рoстбиф кушаете. А там, — говорят, — вы сморкинг надели...

— Смокинг, мистер Курицын, а не «сморкинг»! Когда вы будете у меня англичанином?!

— Точно так-с, сморкинг. Говорят: вас видеть нельзя, вы курите! Батюшка, мистер Сила Силыч, когда же мне отлучаться? У меня, сами изволите знать, торговлишка: воробей клюнет, и нет ее. От торговлишки отлучаться — последнее, что есть, растащат. Без хозяйского глаза нешто возможно! Какой я ни есть, а все-таки хозяин!

— Эсквайре это верно!

— Какой уж там «эсквайр»! — безнадежно махнул рукой «мистер Курицын». — Прямо надо сказать, гольтепа! А все же я человек. Пить и есть и мне, худародному, надо! Жена, дети — всех накормить, обо всех подумать надоть...

Веки «мистера Курицына» часто-часто замигали. По морщинистым щекам потекли мелкие-мелкие слезы.

— Мистер Курицын, соблюдайте свое человеческое достоинство! Мистер Курицын, не унижайтесь!

— Какое ж унижение? Не перед чужим унижаюсь — перед своим, перед сродственником! Какое униженье? У меня честь есть: мне тоже стыда и срама не хочется, — как завтра вексель-то протестуют, последнего кредита лишишься! Был хоть горе-купец, а все-таки купец, и мне верили. А тут на старости лет гроша тебе никто не даст, по миру пойдешь... Не горько?

Сила Силыч продолжал барабанить по ручке кресла. Курицын робко, но наступал:

— Не горько?

— Это вы, мистер Курицын, правильно! И с английской точки зрения, совершенно так! Верность слову для всякого англичанина прежде всего. Подписали вексель на известное число — и платите. Это по-английски! Но только и я, мистер Курицын, для вас своего английского порядка менять не стану и из англичан не выйду. В воскресенье делами заниматься не стану! Пожалуйте завтра!

— Да ведь завтра опять я вас не застаю. Опять вы бифштекс есть будете, потом вас тошнит...

— Мистер Курицын!

— Виноват-с! Опять на лошадке ездить будете. А времени нет срока. Векселек протестуют, и пойду я ниц, наг и гол как сокол...

— Чрезвычайно неприятно, будучи англичанином, иметь русских родственников! — обратился ко мне Сила Силыч. — Никакого уважения к собственной личности!

— Не все ли вам равно!.. Явите божескую милость! Отпустите мою душу на покаяние!.. Прикажите сейчас мне получить! Не я плачу, беда моя плачет!

Курицын опустил на колени.

— Мистер Курицын, нам не о чем больше говорить!

— Ваше благоутробие!.. Мистер Сила Силыч!.. Да не будьте вы англичанином! Будьте человеком! — возопил Курицын.

— Мистер Курицын, не возвышайте голоса! Не входите в исступление! Уважающий себя англича-

нин не должен никогда терять свойственного ему спокойствия!

Но «мистер Курицын», что называется, «закусил удила».

— А ну тебя с твоими англичанами! Шутов ты из нас корчишь! Шутов!.. — завопил он.

— Вон! — крикнул Сила Силыч.

— Издеваться над бедным родственником? Измываться?.. Так я же...

Но в эту минуту бог его знает как появившийся чисто-начисто выбритый лакей схватил сзади тщедушного «эсквайера» и моментально с ним исчез. Мы услышали только истерический крик из дальней комнаты, и затем все стихло.

Сила Силыч был взбешен. Его «англизированное» лицо покрылось красными пятнами, хотя, как англичанину подобает, он и старался сдерживаться.

— Вот-с! Вот-с! — скорей яростно прошипел, чем проговорил он. — Вот и имей дело с некультурными туземцами! О, как я понимаю англичан, что они не могут видеть людей в каких-нибудь индусах! Да помилуйте, разве хватит у просвещенного англичанина терпенья?! Англичанин — венец творенья, можно сказать, и этакий туземец!..

Я взялся за шляпу.

— Куда же вы? Нет! Нет! Так у англичан не делается! Так не отпущу. Чайку непременно! У нас теперь как раз английский чай!

В эту минуту на дворе забил набатный колокол. Я даже испугался.

— Что случилось?

— Ничего. «Файф-о-клок». Пять часов. Чай с сэндвичами и с печеньем. Так вот колокол и сзывает.

— Да кого ж сзывать-то?

— А меня с женой! В английских замках это везде принято. Прошу, сэр. Вы увидите, каков у меня в доме английский строй!

Сила Силыч, видимо, хотел загладить дурное впечатление сцены с бедным «эсквайром».

В резной дубовой столовой нас встретила дама в богатом, английского покроя, визитном туалете, в длинных перчатках, бледная, действительно, как англичанка, с опухшими красными глазами.

Она церемонно ответила сначала на мой поклон, потом на поклон мужа, не подавая руки, и мы уселись за стол, на котором красовались три крошечных чашечки чая.

— Вы опять, кажется, спали, миледи?! — подозрительно спросил Сила Силыч.

«Миледи», видимо, смешалась и робко ответила:

— Н-нет, я читала английскую Библию, милорд!

— То-то! Что же вы там читали, позвольте спросить, миледи?

— Историю Эсфири, милорд!

— Гм!.. — еще подозрительнее гмыкнул Сила Силыч. — Что-то вы вперед не подвигаетесь, миледи! Кажется, вы уж читали эту историю, миледи?

«Миледи» смешалась еще больше.

— Хорошая история, милорд!

«Настоящий англичанин», чисто-начисто выбритый лакей появился с подносом с печеньем.

Лицо у Силы Силыча вдруг все покраснело. Кровь бросилась ему в голову. Глаза приняли прямо зверское какое-то выражение. Сила Силыч изо всей силы двинул кулаком по столу.

— Вот, они нарочно сговорились, чтоб меня сегодня изо всякого английского терпения вывести. Где у тебя перчатки, дьявол? — гаркнул он на чисто-начисто выбритого лакея. — Сколько раз я тебе, скотине, говорил, что английские слуги без перчаток не служат. Скот ты, мерзавец ты этакий!..

— Сила... Милорд! — испуганно воскликнула «миледи». — Да разве английские лорды за столом такие слова говорят?!

— Ах, матушка! Тут даже про то, что ты англичанин, забудешь! Бить их, мерзавцев, надо, чтоб англичанами сделать! Бить! «Англичане»! Да англичанину «дурака» сказать, он и то понимает! А с этим народом что?! Их возвысить хочешь, англичан из них сделать, а они тебе всяческие пакости! Сам из англичан из-за них выходишь! Тфу!

Он энергично плюнул на паркетный пол.

— Прошу меня извинить, миледи! Оно, действительно, не по-английски вышло! — улыбнулся он и мне. — Прошу извинения. Но нет никакой возможности! С этими людьми сам хамом делаешься! Помилуйте! Возьмите вы английский язык, — в нем ведь ни одного ругательства. А с этими... с этим народом целого нашего ругательного лексикона не хватает!

Я поспешил проглотить чашку чая, откланяться и уйти.

— Милости прошу к нам обедать. Мы на дачу переезжаем к Рождеству. Обед у нас в половине девятого, во фраках! — кричал мне с верхней площадки лестницы Сила Силыч.

— Ладно, ладно! — отвечал я, стараясь спуститься как можно скорее.

V

Купец Ермошкин, герцог Мейнингенский

До моего старого товарища купца Ермошкина я добрался с большим трудом.

На дверях его квартиры красовалась довольно-таки странная дощечка:

«Московский 1-й гильдии купец Варсонофий Никитич Ермошкин, по сцене актер Несчастливцев, герцог Мейнингенский».

Мне отворил дверь внушительного вида бритый господин, — не то актер на роли благородных отцов, не то мажордом.

— Варсонофий Никитич дома?

— Их светлость изволят быть в канцелярии!

Я совсем был сбит с панталыку.

— В какой канцелярии? Какая светлость?

— В канцелярии драматических дел. Они теперь в трагическом департаменте прошение Уриеля Акоеты рассматривают. А светлость они потому, что они герцог Мейнингенский.

Мне казалось, что я начинаю сходить с ума.

— Черт знает, что вы, почтеннейший, болтаете! Какой герцог? Где, кто слышал про герцогов Ермошкиных?

— Не можем знать. А только вот!

Величественный мажордом столь же величественно ввел меня в приемную и указал:

— Вот ихний герб.

На стене, действительно, красовался в венке из дубовых листьев огромный щит, на котором было нарисовано что-то в высшей степени странное.

Для меня — увы! — не оставалось сомнения.

что мой бедный Ермошкин, что называется, спятил!.. На гербе был нарисован... старый турнюр, палка, — и внизу написаны какие-то стихи.

— Что это за турнюр? — с изумлением спросил я.

— Не турнюр-с, — величественно ответил мажордом, — не турнюр, а суфлерская будка.

— А палка при чем же?

— Палка — знак режиссерского достоинства.

— Да тут и стихи внизу есть?

— Так точно-с.

«Тень Кронекса меня усыновила
И герцогом из гроба нарекла»...

— А вот и портрет этого самого г. Кронекса, извольте полюбопытствовать. Собственноручно их светлости Варсонофию Никитичу посланный. Большая редкость, потому что посмертный! — пояснил мажордом.

На стене, рядом с гербом, висела фотография, изображающая покойного знаменитого режиссера мейнингенской труппы в гробу. На фотографии была надпись:

«Моему дорогому последователю и преемнику московскому 1-й гильдии купцу Ермошкину в знак благодарности за оригинальную постановку «Отелло» с армянским акцентом, от любящего его Кронекса».

— Собственноручная надпись-с! Один немец их светлости из-за границы привезли, большие деньги в награду получили! — продолжал пояснять мажордом.

Для меня начало кой-что выясняться.

— Постой! Постой! Да уж не держит ли твой барин, «их светлость», театра?

— Так точно-с, — осклабился мажордом, — держат-с! Их оченно успех г. Станиславского, — изволили слышать? — тоже мейнингенец из 1-й гильдии, — соблазнил. Так они теперь тоже театр открыли. «Пе-ремейнингеню!» — говорят.

— Ага! Вот оно откуда все это «герцогство!» Бутафорское!

— Не можем знать. Пожалуйте в канцелярию, — там вам лучше расскажут.

Он ввел меня в канцелярию, где нас встретил какой-то солидный господин, с вида, впрочем, очень похожий на Ивана Антоновича Расплюева.

— Чиновник особых поручений по комической части! — отрекомендовался солидный господин, похожий на Расплюева. — Впрочем, могу вас принять по какому угодно делу. Я сегодня дежурный по всем отраслям искусства.

— Я бы хотел видеть Варсонофия Никитича...

— Их светлость герцога Мейнингенского?

— Вот, вот! «Их светлость»...

— Так это разница-с! Не рекомендую вам Варсонофия Никитича иначе, как «светлостью» величать! Очень их светлость не любят, ежели их самым настоящим герцогом всех мейнингенцев не признают! Вы по какому, собственно, делу? В актеры наниматься, может быть?

— А если в актеры? — улыбнулся я.

— Тогда вы должны прежде всего знать условие первое нашего контракта. «Обязуюсь относиться к Варсонофию Никитичу с полным уважением и любовью, относиться к нему с почтением, во всем оказывать ему полное повиновение и ни в чем не выходить из его воли».

— Да что меня усыновлять, что ли, ваш бута-

форский герцог собирается, что такие требования?

— Не усыновлять, а такие правила. Знаете, как Ахилл говорит в «Прекрасной Елене»: «глупое правило!» Но правило!

— Ну, а далее что же от актера для поступления требуется? Дебют, что ли?

— Никаких дебютов.

— Да откуда же вы талант мой будете знать?

— А нам наплевать на талант!

— На талант?!

— У нас актерам талант не полагается. Как Варсонофий Никитич скажут, так и стойте. Как они укажут, так и ходите. Как прикажут, так и говорите! Свой талант актерам иметь строго воспрещается. Так и в контрактах сказано: «костюмы и талант от дирекции». А это, ежели всякий со своим талантом играть начнет, — для чего же тогда Варсонофий Никитич и театр держат?

Как раз в эту минуту двери отворились, вошли два человека в костюмах средневековых алебардщиков, стали у притолок, и в дверях появился сам Варсонофий Никитич. Он был в лавровом венке на голове.

Увидев меня, он трижды облобызался, после чего шедшая за ним целая стая людей отвесила мне по поклону, настоящему поклону маркизов Людовика XIV.

— А? Слышал? Театр держу? — спросил меня Варсонофий Никитич.

— Слушаю, слушаю и диву даюсь!

— Станиславский, брат, смутил. «Чем, — думаю, — я хуже его. Тоже из купцов!» Ты у Станиславского-то в театре был?

— Был. Хорошо. Только актеры как-то на манекенов смахивают. Словно не живые люди, а маарионетки по сцене ходят: куда их дернут, туда они и пойдут.

— Это что?! Ты у меня в театре посмотри! Вот это выучка! Немец один, доктор, приезжал, смотрел. Диву дался. «Что это, — говорит, — все они, словно заведенные машины, ходят и разговаривают? Загипнотизированные они, что ли?» Вот это выучка! Во всем режиссерская рука видна. Поднял человек руку, сразу видно, что это он не сам так руку поднял, а режиссер ему так приказал. Даже за кулисы, шельма, с испугом смотрит: «Так ли, мол, я это проделал?» Да вот я бы тебе сейчас, пожалуйста, их спектакль показал...

— Как же так? Сразу людей, ни с того ни с сего, играть заставить?

— У меня это ничего не значит! До тонкости доведено. Ночью, случается, разбужу, прикажу тревогу ударить. «Играть, — скомандую, — «Потонувший колокол!» И играют! Другой еще не проснулся, глаз еще открыть не может, а свою роль лопочет. Вот до чего срепетовка доведена. Так я бы сейчас все это показал. Да не знаю, как актеры, Г-н десятый помощник режиссера, где теперь актеры?

— Актеры на маршировке, ваша светлость.

— А актрисы?

— И актрисы вместе маршируют.

Я только диву давался!

— Как на маршировке?

— У меня, брат, все на военную ногу! — похвастал Варсонофий Никитич. — Дисциплины больше! А на сцене дисциплина первое дело. Вот жаловались по всей Руси все антрепренеры и все дирек-

ции, что актеры — народ не дисциплинированный. Как взяться — не знали! А пришел московской первой гильдии купец Ермошкин, сделался герцогом Мейнингенским и сразу дисциплину ввел. Пущай в газетах пишут, что от такой вымуштрованной игры не искусством, а мертвечиной отдаст, — мне плевать! У меня, брат, для актеров казармы построены!

— Как казармы?

— Так и спят в казармах. «Нанялся — продался». Это чтоб индивидуальность из актеров вышибать! Шибко я этой индивидуальности не люблю!.. Встают по барабану, ложатся по барабану, на репетицию — по барабану, играть — по барабану. Все — по барабану. И целый день в костюмах ходят исторических.

— Это зачем?

— Чтоб в костюмах держаться привыкали. Так между собой и разговаривать даже должны. Ежели человек играет боярина, так к нему все и обращаются: «боярин». Чтоб к кличке привык, и когда его «боярином» на сцене назовут — глаза не тарашил. Грима тоже смывать не смеет. В гриме так и спят!

— Это зачем же?

— Чтобы который бритый, а на сцене с бородой, чтобы он к бороде привык. У меня вон четвертый месяц «Антигона» все откладывается. А актеры все так в греческих костюмах и ходят. Разрешил я им как-то в праздник в гости сходить и сюртуки надеть, — смотреть было смешно: полу сюртука — и вдруг на плечо запахивают. Привыкли к греческим костюмам. А один так даже просился: «Позвольте мне и в гости в греческом кос-

тюме пойти, — отвык я от сюртука-то. Странно как-то!» Позволил.

— Осмелюсь заметить, — робко вставил какой-то маленький человечек, — вероятно, 20-й помощник режиссера, — Карасубазарский очень просит, чтоб разрешили ему грим самозванца стереть. Второй месяц, как он загримирован. Лицо, говорит, — лупится.

— Вздор! — важно заметил Варсонофий Никитич. — Вымазать ему лицо глицерином, а сверху опять грим Гришки Отрепьева положить. Пусть так и ходит. В конце сезона у нас эта пьеса идет, — пусть приучается. А на левой пятке он себе бородавку сделал?

— Так точно. Сделал-с.

— То-то!

— Да зачем же на пятке бородавку делать, — удивился было я, — ведь публика Гришкиной пятки не увидит?

— А как же? — изумился, в свою очередь, Варсонофий Никитич. — Историческая деталь: у самозванца была на левой ноге, на самой пятке, бородавка. Мало ли что публика не увидит. А историческая верность все-таки соблюдена. Уж мейнингенить так мейнингенить! Валяй и бородавку!

— Ну, а как же с режиссерством у тебя? Неужели один справляешься? — полюбопытствовал я.

— Зачем один? У меня по режиссерской части целая канцелярия.

— Ужели даже канцелярия?

— А что же? Почему же и искусству чрез канцелярию не делаться? У нас к этому даже привыкли. Да вот я тебе всю эту миханицию сейчас покажу. К докладу!

Дежурный «чиновник по комической части», с виду похожий на Расплюева, встал и начал докладывать бумаги.

— Входящая в № 15737. О самовольном переходе актера Гаррикова с правой стороны сцены на левую.

— Произведено следствие? — строго спросил Варсонофий Никитич.

— Так точно. Актер Гарриков показал, что сделал это поневоле. Актриса Бернардова так встала, что ему поневоле, чтоб ее поцеловать, на левую сторону перейти пришлось!

— Все одно! Я сказал, что должен на правой стороне сцену вести, — и веди! Воздух целуй, а моего распоряжения изменять не моги. Наказать актера Гаррикова и назначить его три раза не в черед в «Потонувшем колоколе» квакать.

— Есть!

— Шибко этого актеры не любят, — с улыбкой пояснил мне Варсонофий Никитич. — Дальше!

— Прощение за № 17879 актера Кинова о разрешении ему в трагедии Толстого в «сцене на Яузе» распоясаться. Под мышками, говорит, очень режет.

— Ничего не значит! Надо жертвовать для искусства. Я вон, первой гильдии купец, и труд, и время, и капитал жертвую, — а они не могут? Исторической верностью пренебрегать нельзя. В те времена Русь ходила подпоясанная туго!

— Медицинское свидетельство он представил. Чирьяк у него.

— Ладно, пусть на два представления распоясается. Так и быть. Но больше чтоб этого не было. Штрафовать буду!

— Слушаю-с!

— Ну, остальное мы после разберем! Вот, брат, у меня как все устроено. А?

— Образцово!

— Нигде в мире, — во «Французской комедии», — этого нет! На все бумага и все за номером. Все традиции моего театра останутся в папках переплетенными! Захочет кто в 22-м столетии русскую и историческую трагедию ставить. «А как тогда Русь подпоясывалась»? Пожалте! Традиция за № 8725, в синей папке: вот как подпоясывались, туго и под мышками! И будет отныне ходить актерский мир в исторических трагедиях подпоясанным. Ловко устроено?

— Оно, конечно, устроено именно «ловко». Канцелярски-казарменный способ насаждать искусство... Это ново и, разумеется, только первой гильдии мейнингенцу могло прийти в голову!.. Но скажи на милость вот еще что... Тут я мельком слышал, что ты прощением Уриэля Акосты занят. Объясни на милость: что за притча? Как это может Уриэль Акоста московскому первой гильдии купцу прощения писать? И о чем?

У Варсонофия Никитича лицо сделалось восторженным:

— У-у! Это, брат, штука! Такая штука, которая, может, меня не только на всю Русь, на весь мир прославит! Переворот в искусстве затеваю. И совершу сей переворот не с кем иным, как с выгнанным кафешантанным куплетистом и рассказчиком еврейских сцен Запивохиным! Этот Запивохин мне и прошение писал. Хочешь у меня в театре «Уриэля Акосту» при полной мейнингенской обстановке с еврейским акцентом играть! А? Каково?

— Варсонофий Никитич!!!

— Чего «Варсонофий Никитич»?! Ведь играют же «Отелло» с армянским акцентом!

— Где ж это ты видал?

— А у меня в театре. Да почему бы и не играть? Реально, черт побери! Ведь «Отелло» был восточный человек, — ну, и сыпь его с армянским акцентом. А я, прямо тебе скажу, для реализма не только себя, — Шекспира не пожалею!

— Да ни у одного комментатора не найдешь!..

— А мне что комментаторы за указ? Я сам себе комментатор! Это, брат, устарело: «комментаторы». Кто их комментаторами сделал? Сами сделали. Ну и я сам комментатором сделался! Почему Гервинус может быть комментатором, а московский первой гильдии купец Ермошкин — нет?

— Оно конечно...

— То-то, «конечно»! Кто Уриэль Акоста был? Еврей? Ну, а еврей, так и говори с еврейским акцентом. Реализм прежде всего. Ты бы послушал, как это у него оригинально выходит: «сшпадайте груды камней от моей грудэ»! Я так думаю, что эта постановка большой переворот в искусстве вызовет!

В эту минуту вбежал бледный как смерть семнадцатый помощник режиссера:

— Варсонофий Никит... то бишь, ваша светлость, несчастье!

— Что еще там?

— Леший сбежал!

— Как леший?! — не удержался я от восклицания.

— Из гауптмановской пьесы леший-с. Сейчас артисты маршировку кончили и на перекличку выстроились. Ан лешего-то и нет. Сбежал. Мне

бояре сказывали, он давно уж собирался. «Невозмо-
готу, — говорит, — разве я затем на сцену пошел,
чтоб леших изображать? Я мечтал работать, соз-
давать роли. А тут сиди с утра до ночи лешим за-
гримированный, да по-лягушачьи квакай. Нестер-
пимо!» — говорит.

— «Роли создавать!» Экая отсталость. Его ли
это дело, актерское ли: роли создавать. Это режис-
серское дело! Как первой гильдии режиссер хочет!
А его дело: жалованье получай да делай, что при-
кажут. Велят по-лягушачьи квакать, — и квакай!
Прикажут целый акт к публике спиной сидеть, —
и сиди! «Искусство». Всякий актеришка, — туда же,
об «искусстве» помышляет! Тфу! Убежал, — так и
ну его в болото! Мы с нашими деньгами леших-то
сколько угодно найдем!.. В сборе актеры?

— Так точно-с!

— Ты уж меня извини, — обратился ко мне Ер-
мошкин, — но дисциплина в художественной ка-
зарме, сам понимаешь, прежде всего. Должен я
пойти актерам смотр сделать?!

— Пожалуйста! Как я могу мешать искусство
насаждать? Пожалуйста, не стесняйся.

Мы вышли вместе.

На дворе, построившись в четыре шеренги,
стояли бояре, водяные, витязи, лешие, русалки,
домовые.

Даже лошадь моего извозчика стояла, прижав
уши, глядя испуганными глазами и переминаясь с
ноги на ногу.

— Здорово, артисты! — крикнул с крыльца
Варсонофий Никитич.

А гг. артисты стройно, хором, в один голос от-
ветили ему по-лягушачьи:

— Ква!

— Барин! Ваше степенство! — взмолился мой извозчик. — Садитесь скорей! Лошадь молодая, к московским порядкам не привычная. Сейчас разнесет.

Я едва вскочил в сани.

Лошадь «подхватила», шарахнулась от гг. артистов в сторону, — и мы вылетели за ворота.

— Ква! — донеслось до нас со двора.

Лошадь брыкнула задом и «понесла».

— Господи, помилуй нас, грешных! Экое наваждение! — бормотал бедняга извозчик.

Легенды,
сказки,
предания





О происхождении клеветников

I

Когда всесильный Магадэва

из ничего создал прекрасный мир, он спустился на землю, чтобы полюбоваться делом рук своих. В тени густых лиан, на ложе из цветов, он увидел человека, который ласкал свою прекрасную подругу, — спросил его:

— Доволен ты тем, что я создал для твоего счастья? Лазурью неба и блеском моря, бледными лилиями и яркими розами и тихим благоуханным ветерком, который веет ароматом цветов и, как опахало, тихо колышет над тобою стройные пальмы в то время, как ты отдаешься восторгам любви с прекрасной подругой твоей?

Но человек с удивлением посмотрел на него, уже не узнавая Магадэву, и дерзко ответил:

— Кто ты? И почему ты спрашиваешь меня? Какое дело тебе до того, доволен или недоволен я тем, что существует? И почему я должен отвечать тебе?

Сказал Магадэва:

— Я тот, которому ты обязан всем, что существует, и даже тем, что существуешь ты сам. Я тот,

кто создал лазурное небо, блеск моря, кто щедрой рукой рассыпал цветы по полям и лугам, кто зажег звезды в небесах, кто создал прекрасные пальмы — и обвил их лианами. Я тот, кто повелел быть солнцу, создал день и ночь, страстный зной и прохладу, твою прекрасную подругу и тебя. Мне ты обязан благодарностью за все.

С изумлением сказал человек:

— Благодарностью? За то, что ты создал все? Какое же мне дело до этого? И за что я должен благодарить тебя? Я вижу, что все существующее прекрасно. С меня довольно. И какое мне дело еще думать о том, кто, для чего и почему создал все это! Отойди с твоими праздными разговорами и не мешай наслаждаться тем, что существует.

И изумление отразилось на лице Магадэвы.

— Как? В глубине твоего сердца не шевелится желание пасть ниц перед мной, твоим творцом, молиться мне и благодарить меня за все, что я дал тебе?

— Молиться? — воскликнул человек. — Тратить время на какие-то молитвы, когда жизнь так прекрасна? Когда так лазурно небо, блещет море и прекрасна подруга? И ты хочешь, чтоб я отнимал у нее часы восторга и любви и отдавал их каким-то молитвам? Нет. Жизнь прекрасна, и некогда молиться. Надо пользоваться тем, что есть, и не тратить время на благодарность.

Так родился на свет страшнейший из грехов.

Поблекли цветы, пальмы с укором качали своими красивыми вершинами, и ветерок шептал среди лиан имя рожденного греха.

И прозвучало над миром новое слово.

— Неблагодарность.

II

Тогда великий Магадэва, в порыве праведного гнева, поднял руку, чтоб предать проклятию презренный род людской, забывший его. И от движения руки его ураган пронесся над землей, поднял и закрутил в воздухе знойные пустыни.

Тучами полетели мириады раскаленных песчинок, сжигая, погребая все на пути своем.

Блекли цветы, гибли пальмы, пересыхали прозрачные, кристальные реки, и раскаленные песчинки с жгучей болью вонзались в тело людей.

Нахмурил чело Магадана — и тучи поползли по лазурному небу, заслоняя свет солнца.

Слезы ярости сверкнули на очах Магадэвы — и из туч полилась холодная вода.

Под струями ее дрожали своими окоченевшими членами люди, и тщетно старались они укрыться от ледяных потоков под сенью пальм.

Стройные пальмы не хотели давать приюта неблагодарным.

От прикосновения людей они с отвращением вздрагивали и обдавали прижавшихся к их стволам потоками холодной накопившейся влаги.

Слово сказал Магадэва — и громаы загремели в небесах, и молнии посыпались, прорезывая тьму, от разъяренных взоров его.

В смертельном ужасе дрожали окоченевшие люди, и им не было куда укрыться от ледяных потоков, страшных громов, которые трепетом наполняли все их существо, и блещущих зигзагов молнии.

— Вспомнят теперь они обо мне! — сказал Магадэва.

Но люди не вспомнили о Магадэве.

В девственных лесах застучал топор, со стоном падали стройные пальмы, пораженные насмерть, — и люди строили себе жилища.

Все, что существует, своим существованием обязано греху.

Чтоб спастись от казни за неблагодарность, люди построили себе жилища.

И с тех пор им было все равно.

Неслись ли в воздухе раскаленные пески, или лились потоки холодной, ледяной влаги, — они ото всего укрывались в своих жилищах, отдавая часы непогоды восторгам любви.

И страшный раскат грома заставлял лишь крепче прижиматься в испуге прекрасную подругу.

А молнии освещали горевшие восторгом и любовью смеющиеся взоры.

III

Тогда великий Магадэва всю свою ярость и злобу обрушил на мир.

И среди травы и цветов поползли огромные, шипящие змеи. Из лесов вышли страшные полосатые тигры с горящими злобой глазами.

Они подкарауливали людей в засаде, одним прыжком кидались на них и острыми, огромными когтями без жалости разрывали на части самые прекрасные тела.

А змеи бесшумно подкрадывались к людям, обвивали их своими холодными кольцами и душили их, не внимая ни стонам, ни воплям.

Или жалили их, одной каплей яда отравляя весь организм и превращая прекрасное, белое, трепе-

щущее, теплое тело в холодную, распухшую, почерневшую мертвую массу. И уползали, торжествуя, что причинили гибель и смерть.

— Теперь они вспомнят обо мне! — сказал Магадэва.

Но человек тяжелым камнем убил ядовитую змею, вырвал ее ядовитые зубы, наделал из них отравленных стрел и, меткой рукою пуская их, убивал полосатых тигров, притаившихся в чаще лиан.

Ему не были страшны ни змеи, ни тигры.

Из наказания, посланного Магадэвой, он сделал забаву для себя.

Он не только не бежал от тигров — он сам, нарочно, ходил в леса, отыскивал их, убивал и из их полосатых шкур делал ложе для своей прекрасной подруги, убирая стены ее жилища разноцветною кожей змей. И жарче был поцелуй в награду храбрцу.

IV

— Вас не страшат ни сила, ни ярость! — воскликнул Магадэва. — Так я же мерзостью наполню этот прекрасный мир и отравлю ваше существование.

И, отвернувшись, он создал мерзких насекомых.

Москита, который питался человеческой кровью и своими укусами красными пятнами и отвратительными буграми обезображивал лица, руки и плечи прекрасных женщин.

Осу, мерзкое и отвратительное насекомое, которое жалит только из удовольствия причинять неприятность и боль.

Муравьев, которые заползали даже в ложе и не давали покоя ни днем, ни ночью.

Но люди прозрачными сетками заставили окна от москитов, нашли самое простое средство от укуса осы — слюну, поехали в Персию, поторговались с персиянами, купили персидской ромашки — и спокойно спали, а днем, намазанные благовонными маслами, ходили безопасные от укушений москитов.

И только больше благоухали прекрасные женщины.

V

Тогда из глубины океана, в мгlistом, черном тумане, смерчем, как змея, извиваясь спиралью по небесным кругам, поднялся на девятое небо к престолу Магадэвы отец зла — Сатана.

И сказал:

— Всесильный! Я враг твой. Но я помню, что создан тобой же. Лишь люди могут забывать все. Но Сатана помнит, кому он обязан своим существованием. Неблагодарности нет в числе тех пороков, которыми с ног до головы покрыт Сатана. Этот порок принадлежит только людям. Он создан ими. Позволь же мне отблагодарить тебя за то, что ты меня создал. Позволь мне прийти на помощь к тебе в твоей непосильной борьбе.

И Магадэва, с отвращением отвернувшись, сказал:

— Говори.

— Ты хочешь наказать людей, но слишком благ и праведен, чтобы выдумать такую мерзость, какая может прийти в голову только мне, отцу лжи и

порока. Только я могу выдумать нечто достойное этой породы. Позволь же мне наказать людей моим наказаньем, какое мне придет в голову.

И Магадэва, с отвращением отвернувшись, дал рукой знак согласия.

VI

Сатана спустился на землю среди болота и грязи.

Случилось так, что в эту минуту прибежал туда спрятаться; укрыться в камышах изменник. Низкий трус, бежавший с поля сражения в самую решительную минуту, предавший отечество опасности.

Он был мерзок самому себе. Но когда Сатана предстал пред ним в настоящем виде, даже он плюнул в грязь и с отвращением бежал прочь от мерзкого зрелища, презирая опасность попасться в руки врагов.

После изменника туда же пришел парий, чтобы умыться в болотной воде.

Презренный, прокаженный, от которого сторонились люди, он не пугался своего отражения, когда нагибался пить из болота грязную воду.

Но, увидав Сатану, и он плюнул в грязь и бежал прочь.

Затем сюда же пришел раб.

Презренный, наказанный за свои пороки раб, — он пришел сюда, чтоб бросить в болото драгоценный убор, украденный у господина.

Эта вещь была дорога его господину, как память.

В бессильной злобе он украл ее, пришел сюда, чтоб в виде мести сделать своему господину хоть какую-нибудь гадость.

Он был мерзок.

Но и он, увидав Сатану, от омерзения плюнул в ту же грязь, в которую плюнули изменник и парий.

Тогда из грязи, смешанной с тремя плевками изменника, пария и раба, вырос Клеветник.

Трусливый и низкий, как изменник, презренный и прокаженный, как парий, подлый, как раб, обокравший своего господина.

Грязный — как сама грязь.

Случилось так, что в то время, когда он рождался, мимо пробежала собака.

С тех пор Клеветник не может спокойно видеть ничего высокого без того, чтоб сейчас же не сделать какую-нибудь мерзость.

Из болотных камышей на его рождение глядел бегемот.

И оттого кожа Клеветника так толста, что ее ничем не прошибешь.

Увидев его, говорят, сам Сатана, с любовью глядевший на свой мерзкий облик в волнах океана, — и тот не выдержал и плюнул на него.

После плевка Сатаны Клеветнику не страшны уже стали плевки людские.

VII

Самый воздух священной Калькутты был отравлен клеветой.

Как тысячи гадин, она расползлась от Клеветника по всему городу, заползала во все дома, всюду сеяла злобу, ненависть, вражду, подозрения.

Священные брамины, почтенные старцы подозревались в кражах; невинных девушек, чистых, как лилия, подозревали в гнусных грехах; мужья без отвращения не могли смотреть на своих

жен, женам мерзко было смотреть на мужей, отцы враждовали с детьми.

Ничего не щадил Клеветник, и всюду заползала его клевета, отравляя жизнь людям.

Его били, но благодаря коже бегемота он не чувствовал ничего.

Ему плевали в лицо, но он только говорил:

— Вот и отлично. По крайней мере умыться не надо.

Что значили людские плевки для него, на которого плюнул сам Сатана?

Его презирали, а он смеялся:

— Неужели вы думаете, что я так глуп, чтоб ждать за свои клеветы от вас уважения!!!

Его не брало ничего.

Тогда жители Калькутты выдумали для него самое позорное наказание.

Он был вымазан в смоле, его обваляли в пуху и в таком виде, раздетого, заставили ходить по улицам. Но он сказал:

— Вот и отлично: после такого срама мне не страшен уж больше никакой позор.

Так всеобщим презрением в нем убили окончательно человека.

И он клеветал уж тогда, не боясь ничего. Но это было только началом наказания Калькутты. Самое бедствие пришло только тогда, когда в Калькутте было изобретено книгопечатание.

VIII

Этим прекрасным даром неба мы обязаны любви.

Все, что существует, своим происхождением обязано любви.

И если бы на свете не было любви, не было бы и нас самих.

Она была Жемчужиной Индии, и он любил ее, как небо, как воздух, как солнце, как жизнь.

При тихом мерцании звезд, в благовоющую, теплую ночь он говорил ей под легкий плеск священных волн Ганга:

— Пусть звезды, что с завистью смотрят на твою красоту с далекого, темного неба; пусть ночь, что ревниво покрыва тебя темным пологом от взоров людей; пусть ветер, что лобзает тебя; пусть волны священной реки, что с тихим, восторженным шепотом несут морю рассказ о твоей красоте, о богиня, царица моя! пусть все, пусть весь мир свидетелем будет моей любви, моих клятв, дорогая! Дай мне обнять твой стан, гибкий, как сталь, и стройный, как пальма. Отдай мне твою красоту неземную! Сделай меня счастливым и гордым. Пусть зависть засветится в глазах всего мира, и лишь в твоих глазах, дорогая, пусть тихо мне светит любовь. Весь мир пусть будет знать, что моя — прекрасная Жемчужина Индии. Слава твоей красоты переживет века, и деды внукам будут, как волшебную сказку, рассказывать о красоте Жемчужины Индии. И сердце каждого юноши сожмется завистью ко мне, к твоему владыке, к твоему рабу...

Тихо плескалась река, и бледная, при бледном свете луны, словно ужаленная, быстро поднялась с места Жемчужина Индии, уже замиравшая в объятиях прекрасного юноши.

— Не знаю кто, — сказала она, — но нам запретил лгать. Ты сказал неправду. Как все, кто даже меня не видел, будут знать о моей красоте? Как

все, когда меня уже не будет на свете, будут завидовать тебе? Ты солгал — и я никогда не буду принадлежать человеку, который лжет в минуты восторгов любви.

И ее белое покрывало исчезло среди сумрака ночи, еле освещенного трепетным светом луны.

В отчаянии бросился к волнам священного Ганга прекрасный юноша.

Но гений слетел и осенил его мыслью о тиснении книг.

В чудных строках он воспел красоту Жемчужины Индии. И в тысячах оттисков эта песнь красоте разнеслась, как ветер, по свету.

И все, кто никогда не видал ее, знали о красоте Жемчужины Индии.

От дедов к внукам, как волшебная сказка, передавалась эта книга, и, читая ее, у людей сжималось сердце завистью к тому, кого любила, чьей была Жемчужина Индии.

А за свое чудное открытие прекрасный юноша был награжден высшим счастьем на свете — объятиями любимой женщины.

Так было в Индии в давно минувшие времена изобретено книгопечатание.

IX

Но и на это орудие, созданное для того, чтобы воспевать всему миру красоту и любовь, устремил свое нечистое внимание Клеветник.

Орудие любви он сделал своим орудием клеветы.

И с этих пор стал силен, как никогда.

Ему не нужно было уж бегать по дворам, чтобы разносить клевету.

В тысячах оттисков она сама разносилась кругом, как дыхание чумы.

Это не были слова, которые прозвучат и замолкнут, это было нечто, что оставалось, чего нельзя было уничтожить.

Он не рисковал собою, потому что мог клеветать издалека.

Как змеи, ползли его клеветы.

Он не щадил ничего, не останавливался ни перед чем!

Скромных и честных тружеников он называл ворами, грязью забрасывал лавры, которыми венчали гениев, рассказывал небылицы про людей, которых он никогда не видал, клеветал на женщин, на сыновей, говоря, что они обкрадывают своих родителей. И когда ему доказывали, что он лжет, он нагло смеялся и говорил:

— Так что же? Лгу — так лгу. Доказано — так доказано. А клевета все-таки пущена. Я свое дело сделал, я — сила.

И только тогда, когда Клеветник начал плодиться и множиться, люди вспомнили о Магадэве. Они пали ниц и воскликнули:

— Великий Магадэва! Зачем ты создал такую мерзость?!

Легенда о происхождении одесситки

Когда всеильный Магадэва

создал мир вместе с людьми, он дал торжественный обет не создавать больше никогда ничего и поднялся на седьмое небо, чтоб отдохнуть.

Пред его сомкнувшимися веждами уж проносились небесные грезы, Магадэва уж видел божественные сны, когда его одежды тихо коснулся крылом великий Брама.

— Что случилось, — вскричал Магадэва, открывая вещице очи, — и что за шум доносится от туда, с земли? Уж не вырвался ли ураган из лесов Индостана и не несется ли по земле, разрушая все на пути? О, как я счастлив! Не ревет ли то океан, поднявшийся из бездны и пославший могучие отряды волн взять приступом землю. О, как я счастлив!

— Нет, повелитель неба и земли! — отвечивал Брама, — то не ураган ревет над землею, не океан поет победную песнь. То... люди зевают от скуки.

— От скуки?! — насмешливо усмехнулся Магадэва. — Скука происходит от отсутствия дела. Отсутствие дела — свобода. Я слишком много дал

людям свободы. Хорошо же, я превращу их в рабов! Они забудут у меня, что такое свобода. Им некогда будет зевать, потому что у них будет хлопот полон рот. Они не будут больше одиноки.

Магадэва вспомнил грезу, которую он видел во сне, и создал женщину

Индианку

Прекрасную дочь его возлюбленной страны.

Она родилась в час заката, когда солнце золотит последними лучами весь мир, и оттого ее смуглое тело золотистого цвета.

Стройная, как пальма, гибкая, как лиана ее родины, она взглянула на расцветающие цветы лотоса, и оттого ее глаза сделались прекрасными.

Знойная дочь знойного юга, она признает только одного бога — Страсть, и служит ей.

Извивающиеся змеи выучили ее сладострастным танцам; у пестрых птиц, порхающих в чаще лиан, она научилась песням любви.

Рожденная в таинственном сумраке священных лесов, она стыдлива, скромна, боязлива, как газель, а под темным бархатным пологом ночи вся отдается кипучей страсти, предоставляя звездам любоваться каждым изгибом ее прекрасного тела.

Звезды глядят и горят от восторга.

— Вот вам подруга, — сказал Магадэва индусам, — из культа любви вы сделайте поклонение божеству. И пусть женщины, отдавшие всю свою жизнь на служение страсти, считаются священными, и сами брамины пусть возьмут на себя заботу об этих баядерках.

И Магадэва отлетел в другую страну, где солнце жжет сыпучие пески.

Где от палящей жажды гибнут человек и животное.

Где одинокие пальмы не дают пролады и тени от знойных, палящих лучей.

— Здесь моя бедная, маленькая индианка в один день потеряла бы всю свою красоту, — улыбнулся Магадэва, — она загорела бы и от жары превратилась бы в уголь. Надо дать этим беднякам женщину, которая не могла бы загореть.

И он создал негритянку.

Черную, как погашенный уголь, но горячую, как раскаленный.

Солнце льет на нее свои жгучие лучи, и оттого зной живет в ее душе.

Бешеная страсть, от которой сгорает она под знойными лучами солнца, сверкает в ее глазах.

Магадэва дал ей большие чувственные губы, манящие негра для поцелуя, и чтоб хоть несколько скрасить ее безобразную черноту, дал ей сверкающие белые зубы.

Она не могла уж больше загореть, а чтобы оставить ей больше времени на служение сжигающей ее страсти, Магадэва повелел ей ходить безо всякого платья и даже дал ей завитые от природы волосы.

Тогда Магадэва помчался на север, холодный, пасмурный и негостеприимный.

— А, англичане! — воскликнул он, увидев в тумане ненавистных ему людей с рыжими волосами. — Вы, которые поработили мою прекрасную Индию и сделали рабами моих добрых индусов! Поистине вы стоите того, чтобы я наказал вас, создав вам англичанок! Вы любите море, — так

пусть же их объятия напоминают вам холодную воду!

И он создал белокурую англичанку, без страсти в сердце, без яркого румянца желаний на белых щеках.

— Вы любите лошадей, — и пусть она своими большими зубами постоянно напоминает вам о лошади!

И Магадэва улетел с туманного, неприветливого севера отдохнуть своей божественной душой на благодатный юг.

Он пронесся над Италией, страной мраморных старых дворцов и нищих, развалин и бедности.

— У этих бедняг, — сказал Магадэва, — нечем прокормить своих жен. Им и самим нечего есть. Я должен создать им таких женщин, которые бы сами себе могли найти пропитание.

И он наградил итальянок прекрасными голосами и умением танцевать.

— Пусть эти люди разбредутся по свету в поисках за куском насущного хлеба, а чтобы их не томила вдали тоска по родимой земле, пусть в глазах их женщин отразится прекрасное небо Италии и всегда напоминает им о родном небе далекой отчизны.

— Что за люди живут здесь? — спросил Магадэва, взмахнув крыльями и в один миг переносясь в дальний край.

— Этот город — Москва, — ответил Брама, — он населен купцами, которым всего кажется мало. Их отличительная черта — жадность...

— Хорошо, — засмеялся Магадэва, — они жадны, так мы пошлем им самую толстую женщину на свете!

И Магадэва создал московскую купчиху, — такую, что даже московский купец, увидев ее, не пожелал ничего большего и сказал:

— Вот это в самый раз!

Магадэва взмахнул крыльями и умчался из города жадных мужей и толстых жен в далекий, шумный край.

— Под твоими ногами великая Франция, могучий повелитель неба и земли, — сказал Брама, — шумная, вечно ничем недовольная Франция. Вечно стремящаяся куда-то вдаль, вперед! Перед тобой ее сердце — Париж!

— Хорошо, — сказал Магадэва, — решив пошутить над людьми, создав им женщину, я подшучу и над французами, создав им парижанку. Пусть она будет республикански свободна в правах, но деспот в душе. Пусть она требует себе беспрекословного повиновения, неограниченной преданности. Пусть она создает революцию за революцией в семейной жизни. Пусть будет прекрасной, как Франция, изменчивой, как ее история, блестящей и легкомысленной, как Париж. Пусть она так же часто меняет друзей дома, как палата министерства. И отягощает бюджет своего мужа, как военные издержки страну. А мода, которой она будет непрестанно поклоняться и служить, пусть будет изменчива так же, как системы вооружений. Каждый день пусть приносит что-нибудь новое и разорительное. Но пусть, при всем этом, она наполнит весельем свой дом, как Франция наполняет весельем весь мир.

— Пусть будет по-твоему! — сказал Брама.

И среди пены кружев и шелка появилась на свет парижанка.

— О, этой стране не нужны женщины, — сказал Магадэва, переносясь в соседнюю страну, — это земля, где люди все свое время проводят за кружками пива в пивной. И я, право, затрудняюсь, что им лучше создать: женщину или новый сорт пива.

— Создай им женщину, великий Магадэва, — сказал Брама, — если у них не будет женщин, они пойдут их завоевывать к соседям, внося всюду разгром и разрушение.

— Хорошо, — сказал Магадэва, — я готов подшутить и над этим философом-народом. Чтобы сидеть целые дни дома одной, мы создадим ее неповоротливой и неуклюжей. Бедною, как пильзенское пиво, но с румянцем в щеках, как будто в него прибавили немножко мюнхенского. Чтобы ей не было скучно одной, дадим ей способность плакать и штопать мужу чулки. Пусть она будет только сентиментальной, потому что, возвратившись из пивной, ее муж должен прямо заваливаться спать.

— Но она заплывет жиром, могучий повелитель неба и земли! — заметил Брама.

— Для моциона создадим ей вальс, медлительный, меланхолический танец, который можно танцевать, готовясь подарить миру нового германца и думая о муже, сидящем в пивной.

— Я думаю, они останутся довольны такою женщиной!

— Да, но так как жены будут оставаться постоянно одни, их нужно для безопасности одарить добродетелью.

И он с чисто божественной щедростью одарил немок добродетелью.

И усталый Магадэва спустился в Венгрию утолить жажду токайским вином.

Напитком богов.

Божественным нектаром, который сочится в подставленные чаши из переспевших гроздьев ароматных виноградных лоз.

— Напиток, достойный, чтобы его вкусил Магадэва! — воскликнул он, осушая старинную чашу. — Он родит желанья. Создадим же им женщин с пламенными глазами, горящими страстью. Пусть их смуглые лица примут золотистый отблеск этого вина, которым индийский бог утолил палящую жажду. Мы дадим им кипучую искрометную кровь, — и пусть поцелуй их опьяняет, как вино. Как лоза пусть будет гибок их стан, и как спелые гроздья пусть будут прекрасны они!

И, вдохновенный токайским вином, Магадэва создал дочерей Венгрии.

— Я помню еще один народ, — задумавшись, сказал Магадэва, — с грустными лицами и задумчивыми глазами. Отпечаток вековой тайны лежит на бледном лице их. Где они?

— Они рассеяны по всему свету, потерявши отчизну, — ответил Брама, — оттого-то и грустны их лица и задумчиво-печальны глаза. О далекой стране, где среди цветущих лугов струится серебристый Иордан, полны они думой. О городе, куда народы свозили мрамор, порфир, яшму и ароматы Востока, вспоминают они о золотом храме. Туда, в глубь истории, когда они были царями Востока, устремлены их грустные, задумчивые взоры, — и вот тайна, которая написана на их лице. О родине далекой думают вечные странники.

— Так пусть знойная страсть их жен напоми-

нает им о знойной родине! — воскликнул Магадэва. — Воистину, мне жаль этого народа! Пусть верность, страстная преданность жен утешит их в несчастье, заставит позабыть изгнание. Пусть будут их женщины стройны, как кедры родимого Ливана, — и достойны быть воспеты в песне, которую все народы назовут царицей всех песен, «песнью песней». Пусть звездами путеводными сверкают их глаза, и любовь, и ласка, и тихая грусть пусть светится в них.

И он создал израильтянок, стройных, как юный кедр Ливана, с глазами, в которых сверкают звезды полуночного неба, знойных, как их далекая, покинутая родина, с черными косами, которые тяжело падают назад, как змеи, готовые обвить любимого.

— Веселая страна танцев и шутки! — улыбнулся Магадэва, пролетая по северу. — Здесь владеют шпагой и танцуют и весело шутят, осушая стопы дедовского, старинного меда. Создадим им подругу! Веселую, как они. Пусть, как мед, она кружит им голову. С крошечной ножкой, которая не знает усталости в танцах. Пусть немного вина входит в ее башмачок, из которого они будут пить ее здоровье. Они и так будут достаточно опьянены ее грацией, изяществом, кокетством. Крошечную ручку дадим ей, достойную того, чтоб ласково погладить эти выхоленные, красивые усы. Вечной веселой улыбкой озарим ее лицо и дадим ей зубы, как жемчуг, чтоб она могла всегда улыбаться! Смех пусть дрожит в ее глазах, а гибкий стан ей дадим для того, чтоб ускользать от своего лихого кавалера в огненном танце. Пусть она любит свою родину, где ее чтут как идола!

И Магадэва создал изящную, грациозную, чарующую польку. Над могучей страной земледельцев пролетал Магадэва и сказал:

— Я дал им женщину, могучую, как они. Тихую и покорную, как они, спокойную и ласковую, чтоб давать им отдых в час утомленья. Пусть ее могучий стан не боится работы, безмятежный мир сияет в глазах, поступь будет тверда и решительна, а косой пусть обовьет она милого в час, когда обовьет его руками и он прильнет к ней на грудь.

И Магадэва создал русскую женщину и спустился на веселые берега голубого Дуная.

— Здесь народ дешевизны! Они любят, чтоб за гульден всего было много. Создадим им женщину, которою они остались бы довольны. Пусть она будет весела, как берега голубого Дуная, но полна, как кружка пива.

И Магадэва создал венку, у которой всего было много, и венский стул, крепкий, из гнutoго букового дерева, чтоб он мог выдержать ее тяжесть.

Потом он понесся в Испанию.

— Страна, где любят петь так же, как и драться. Мы дадим им женщину, которая своей пляской будет зажигать их кровь. Пусть в честь ее звенят серенады, — и это будет для них достаточным поводом кончать друг с другом добрым ударом навахи! Кроме этого, им ничего не нужно, разве только хорошую сигару! Наградим же их женщин умением курить сигаретки!

Магадэва промчался и над сонной Турцией.

— Дома с маленькими окнами и таинственной тишиной внутри. Пусть в дыме кальяна пред их обитателями, словно греза после гашиша, предстанет одалиска, полуобнаженная, с дразнящим

танцем, истомой и ленью в движениях. Пусть будут их женщины ленивы и страстны. Пусть они не делают шага из дома и в тиши гарема пусть разжигаются их мечты.

Все страны облетел Магадэва, везде шутя над людьми свою божественную шутку: создавая женщину.

— Все! — сказал он, утомившись.

— Ты забыл еще один город, — напомнил Брами. — Одесса, — она лежит на прекрасном берегу Черного моря.

— Кто населяет этот город?

— Люди разных племен.

— Так пусть же женщины этого города совмещают в себе качества женщин различных стран. Я устал творить. Возьмем по достоинству от каждой женщины и создадим одесситку.

И он создал ее, изящную, как полька, стройную, как еврейка, немного полную, как венка, чуть-чуть сентиментальную, как немка, с глазами, многообещающими, как венгерка, легкомысленную и изменчивую, как парижанка.

Так была создана женщина — эта шутка богов.

Совість

(из ста китайских сказок)

Случилось это в давнишние,

давнишние, незапамятные времена, когда и летописей-то еще не писалось! Случалось и тогда людям делать глупости, но никто их глупостей не записывал. Оттого, может быть, мы и считаем наших предков мудрыми.

В те незапамятные времена и родилась на свет Совість.

Родилась она тихою ночью, когда все думает.

Думает речка, блестя на лунном свете, думает тростник, замерши, думает трава, думает небо.

Оттого так и тихо.

Днем-то все шумит и живет, а ночью все молчит и думает.

Каждая куколка думает, с какими бы пестрыми разводами ей выпустить бабочку.

Растения ночью выдумывают цветы, соловей — песни, а звезды — будущее.

В такую ночь, когда все думало, и родилась Совість.

С глазами большими, как у ночных птиц. Лунный свет окрасил ее лицо бледным цветом. А звезды зажгли огонь в глубине ее очей.

И пошла Совесть по земле.

Жилось ей наполовину хорошо, наполовину плохо.

Жила, как сова.

Днем никто с ней не хотел разговаривать.

Днем не до того.

Там стройка, там канаву роют.

Подойдет к кому — тот от нее и руками, и ногами:

— Не видишь, что кругом делается? Тут камни тащат, тут бревна волокут, тут лошади ездят. Тут надо смотреть, как бы самого не раздавили. Время ли с тобой разговаривать!

Зато ночью она шла спокойно.

Она заходила и в богатые фарфоровые дома, и в шалаши из тростника.

Тихонько дотрагивалась до спящего. Тот просыпался, видел ее в темноте горящие глаза и спрашивал:

— Что тебе?

— А ты что сегодня делал? — тихонько спрашивала Совесть.

— Что я делал! Ничего, кажется, я такого не делал!

— А ты подумай.

— Разве вот что...

Совесть уходила к другому, а проснувшийся человек так уж и не мог заснуть до утра и все думал о том, что он делал днем.

И многое, чего ему не слышалось в шуме дня, слышалось в тишине задумавшейся ночи. И мало кто спал. Напала на всех бессонница.

Даже богатым ни доктора, ни опиум помочь не могли. Сам мудрый Ли-Хан-Дзу не знал средства от бессонницы.

У Ли-Хан-Дзу было больше всех денег, больше всех земли, больше всех домов. Потому люди и думали:

— Раз у него всего больше всех, — значит, у него больше всех и ума!

И звали Ли-Хан-Дзу премудрым.

Но и сам премудрый Ли-Хан-Дзу еще больше других страдал от той же болезни и не знал, что поделаться.

Кругом все были ему должны и все всю жизнь только и делали, что ему долг отработывали. Так мудро Ли-Хан-Дзу устроил.

Как мудрый человек, он всегда знал, что надо делать.

Когда кто-нибудь из должников крал у него что и попадался, Ли-Хан-Дзу колотил его, — и колотил, по своей мудрости, так примерно, чтоб и другим неповадно было.

И днем это выходило очень мудро, потому что другие действительно боялись.

А по ночам Ли-Хан-Дзу приходили в голову иные мысли:

— А почему он ворует? Потому что есть нечего. А почему есть нечего? Потому что заработать некогда: он весь день только и делает, что мне долг отработывает.

Так что мудрый Ли-Хан-Дзу даже смеялся.

— Вот хорошо! Выходит, меня же обворовали, я же и не прав!

Смеялся — а заснуть все-таки не мог.

И до того его бессонные ночи довели, что Ли-Хан-Дзу, несмотря на всю свою мудрость, однажды взял да и объявил:

— Верну я им все их деньги, все их земли, все их дома!

Тут уж родные мудрого Ли-Хан-Дзу вой подняли:

— Это с ним от бессонницы. От бессонных ночей на мудрого человека безумье напало!

И доктора сказали то же. Пошел шум:

— Все «она» виновата! Если уж на мудрейшего из людей безумье напало, что же с нами будет?

И испугались все: и богатые, и бедные. Все жалуются:

— И меня «она» бессонницами мучает!

— И меня!

— И меня!

Бедные испугались еще больше, чем богатые:

— У нас всего меньше всех, значит, и ума меньше. Что же с нашими умишками будет?

А богатые сказали:

— Видите, как «она» бедных людей пугает, надо нам хоть за бедных вступиться!

И все стали думать, как бы от Совести отделаться. Но с кем ни советовались, ничего выдумать не могли. Жил тогда в Нанкине А-Пу-О, такой мудрый и такой ученый, что равного ему по мудрости и учености не было во всем Китае. Решили люди:

— Надо у него совета спросить. Кроме него, никто помочь не может!

Снарядили посольство, принесли дары и до земли много раз поклонились.

— Помоги от бессонницы!

Выслушал А-Пу-О про народное горе, подумал, улыбнулся и сказал:

— Можно помочь! Можно и так сделать, что «она» даже и приходиться не будет иметь права!

Все так и насторожились. А-Пу-О опять улыбнулся и сказал:

— Давайте сочинять законы. Где ж темному человеку знать, что он должен делать, чего не должен? Вот и давайте — напишем на свитках, что человек должен делать и чего нет. Мандарины будут учить законы наизусть, а прочие пусть к ним приходят спрашивать: можно или нельзя. Пусть тогда «она» придет: «Что ты сегодня делал?» — «А то делал, что полагается, что в свитках написано». И будут все спать спокойно. Конечно, прочие будут мандаринам платить: не даром же мандарины будут себе мозги законами набивать!

Обрадовались тут все.

Мандарины — потому что все-таки легче в книжных значках ковыряться, чем, например, в земле.

А прочие — что лучше уж мандарину заплатить да днем с ним минутку поговорить, чем по ночам с «ней» разговаривать. И принялись писать все, что человек должен делать и чего он не должен. И написали.

А мудрого А-Пу-О сделали верховнейшим из мандаринов.

И зажили люди отлично.

Даже с лица поправляться стали.

Нужно человеку что сделать, он сейчас к мандарину, выкладывает перед ним приношение:

— Здравствуй, премудрый! Разворачивай-ка свитки — что в таком случае делать надлежит?

Зайдет спор, оба к мандарину идут, оба приношения выкладывают:

— Разворачивай свитки. Кто по ним выходит прав?

Только уж самые последние бедняки, у которых даже мандарину за совет заплатить было нечем, бессонницей страдали.

А прочие, как только к ним приходила ночью Совесть, говорили:

— Что ты к нам лезешь! Я по законам поступал! Как в свитках написано! Я не сам!

Переворачивались на другой бок и засыпали.

Даже мудрец Ли-Хан-Дзу, который больше всех от бессонницы страдал, теперь только посмеивался, если к нему ночью Совесть приходила:

— Здравствуй, красавица! Что скажешь?

— Что ж, ты имущество возвращать хотел? — спрашивала Совесть, глядя на него глазами, в которых мерцали звезды.

— А имею я право? — похохатывал Ли-Хан-Дзу. — А что в свитках сказано? «Имущество каждого принадлежит ему и его потомству». Как же я буду чужое имущество расточать, если мое потомство на раздачу не согласно? Выходит: или я вор, у них краду, или сумасшедший, потому что у себя ворую. А в законе сказано: «Вора и сумасшедшего сажать на цепь». А потому и меня оставь спать спокойно, да и тебе советую лучше спать, а не шататься!

Поворачивался к ней, спокойно и сладко засыпал. И всюду, куда ни приходила Совесть, она слышала одно и то же:

— Почему мы знаем! Как мандарины говорят, так мы и делаем. У них поди и спрашивай! Мы — по закону.

Пошла Совесть по мандаринам:

— Почему меня никто слушать не хочет?

Мандарины смеются:

— А законы на что? Разве можно, чтобы люди тебя слушались и так поступали! А не поймет кто тебя, а перепутает, а перевернет? А тут для всех тушью на желтой бумаге написано! Великая штука! Недаром А-Пу-О за то, что это выдумал, верховнейшим мандарином числится.

Пошла тогда Совесть к самому премудрому А-Пу-О. Дотронулась до него слегка и стала. Проснулся А-Пу-О, вскочил:

— Как ты смеешь ночью без спроса в чужой дом являться? Что в законе написано? «Кто явится ночью тайком в чужой дом, того считать за вора и сажать его в тюрьму».

— Да я не воровать у тебя пришла! — отвечала Совесть. — Я Совесть!

— А по закону ты развратная женщина. Ясно сказано: «Если женщина ночью является к постороннему мужчине, — считать ее развратной женщиной и сажать ее в тюрьму!» Ты развратница значит, если не воровка!

— Какая я развратница! — воскликнула Совесть. — Что ты?

— Ах, ты, значит, не развратница и не воровка, а просто не хочешь исполнять законов? В таком случае и на это закон есть: «Кто не хочет исполнять законов, считать того беззаконником и сажать в тюрьму». Гей, люди! Заколотить-ка эту женщину в колодки да посадить за решетку на веки вечные, как развратницу, подозреваемую в воровстве и уличенную в явном неповиновении законам.

Наколотили Совести на руки колодки и заперли.

С тех пор она уж, конечно, ни к кому больше не является и никого не беспокоит.

Так что даже совсем про нее забыли.

Разве иногда какой грубиян, недовольный мандаринами, крикнет:

— Совести у вас нету!

Так ему сейчас бумагу покажут, что Совесть под замком сидит.

— Значит, есть, если мы ее под замком держим!

И грубиян смолкнет: видит, что действительно правы. И живут люди с тех пор спокойно, спокойно.

Добрый богдыхан

(из ста «золотых китайских сказок»)

Богдыхан Фан-Джин-Даян,

прозванный историками Мун-Су, — что значит «отец народа», — был добрым богдыханом и заботливым о народе.

Когда до него доходили слухи, что где-нибудь вице-король обижает подданных, он сейчас же призывал вице-короля и приказывал палачам:

— А ну-ка, снимите с этого молодца голову. Надеюсь, что его узнают на том свете и без головы, по одним его пакостям.

И сейчас же назначал, вместо казненного, другого вице-короля, самого лучшего, какого ему советовали советники и министры.

Он сам всегда читал все донесения вице-королей.

В донесениях писалось, что Китай благоденствует, как еще не запомнит история, — солнце светит удивительно исправно, дожди идут в свое время, и жители не знают, что им делать с рисом.

Богдыхан читал все это и думал:

— А не врут ли?

И вот пришла ему в голову мысль.

В назначенный день приказал он собраться во

дворец всем своим министрам, советникам и царедворцам, сел на трон и объявил:

— Вице-короли пишут, что Китай наш благоденствует и что китайцы даже не знают, что им делать с рисом. Заботясь о нашем народе, решили мы об этом подумать, помолиться богам и допросить предков: что делать с несъеденным рисом, — так, чтоб это пошло на пользу народу. Посему мы отныне удаляемся во внутренние покои нашего дворца и займемся молитвами, размышлениями и духовными беседами с предками. А так как предков наших, благодарение богам, было немало, то и полагаем мы, что пройдет не менее трех лун, пока мы с ними со всеми перебеседуем, не обижая никого. И вот, в течение трех лун воспрещаем мы нас беспокоить и являться во дворец кому бы то ни было. Три луны мы останемся невидимы ни для кого, кроме небес!

Министры, советники и придворные восславили мудрость богдыхана и разошлись из дворца радуясь.

А богдыхан меж тем позвал преданных своих слуг, переделся нищим и их передел, незаметно вышел из дворца и отправился странствовать по Китаю, чтоб узнать, правду ли пишут вице-короли в своих донесениях и действительно ли народ так благоденствует и так ли народ китайский в восторге от правителей.

Первою провинцией на пути богдыхана лежала провинция Пе-Чи-Ли.

Придя туда, богдыхан со своими спутниками подошел к одному дому и попросил:

— Во имя памяти ваших предков, добродетелями своими украшавших землю, а ныне украшаю-

щих небо, дайте горсть риса несчастным, умирающим с голода!

Ему ответили:

— Судя по тому, что ты нищий, ты из нашей провинции и подданный нашего вице-короля. Но судя по тому, что ты просишь, чтоб мы тебе подали, ты, должно быть, откуда-нибудь издалека. А потому уходи от нас, неизвестный человек.

Богдыхан со спутниками подошел к другому дому. Там ему ответили на просьбу о горсточке риса:

— Нехорошо смеяться над чужим несчастьем!
И прогнали прочь.

В третьем доме на просьбу о рисе хозяева только заплакали.

А в четвертом при слове «рис» хозяин поднял голову спросил:

— А кто он? Мандарин или зверь?

Улыбнулся богдыхан и сказал:

— Вице-король Пе-Чи-Ли писал правду. Действительно, если б здешним жителям дать рису, они не знали бы, что с ним делать: они, кажется, никогда риса и не видели!

И стал он ходить по утрам по храмам, подслушивать, что говорит и о чем молится народ.

Желудки у китайцев были пусты, но храмы полны.

Во всех храмах были толпы молящихся. И все повторяли только одну молитву:

— Святые наши предки, умолите небо, чтоб оно внушило нашему мудрому, нашему доброму, нашему заботливому богдыхану Фан-Джин-Дзяну превосходную мысль: отрубить голову нашему вице-королю Тун-Фа-О. Такого мошенника, такого грабителя еще никогда и на свете не было.

Так молились все люди во всех храмах, — как вдруг однажды, придя рано утром в храм, богдыхан увидел особенно горячо молившегося старика.

Все горячо молились, но старик горячее всех.

Богдыхан приблизился, чтоб подслушать молитву старика, и услышал.

— Святые наши предки, — молился старик, — внушите нашему доброму, но беспокойному богдыхану Фан-Джин-Дзяну, чтоб он оставил Тун-Фа-О нашим вице-королем на долгие и долгие годы. И да пошлет небо Тун-Фа-О жить до глубокой старости, а там начать жизнь сызнова.

Диву дался богдыхан и, когда старик кончил молиться, спросил:

— Скажи, почтенный старец, вероятно, вице-король Тун-Фа-О сделал тебе что-нибудь особенно доброе, что ты за него молишься?

Старик только усмехнулся:

— Не родилась еще мать матери того человека, которому Тун-Фа-О сделает что-нибудь доброе. Сразу видно, что ты не здешний, иначе бы ты не задавал таких глупых вопросов.

— Ну, может быть, Тун-Фа-О тебе так нравится, — спросил богдыхан, — осанкой, наружностью? Ты его видал?

Старик сотворил молитву предкам.

— Благодарение богам: ни я ему, ни он мне никогда не попадались на глаза!

Богдыхан совсем стал в тупик.

— Почему же в таком случае ты молишься за него, когда все в этой провинции только и молятся, чтоб богдыхан поскорей отрубил Тун-Фа-О голову?

— А это потому, — отвечал старик, — что они

еще молоды и глупы, света не знают. А я при третьем вице-короле живу. Был у нас вице-король Цу-Ли-Ку, жадный был человек, жестокий был человек, стоном стонала вся наша провинция. Мы и молились небу с утра до ночи: «Пусть богдыхан отрубит Цу-Ли-Ку голову!» Вняло небо нашим молитвам, шепнуло богдыхану эту мысль. Богдыхан позвал Цу-Ли-Ку в Пекин и приказал отрубить ему голову, а нам прислал вице-королем мандарина Ксанг-Хи-Ту. Еще жаднее оказался Ксанг-Хи-Ту, еще жесточе. Еще сильнее завопила провинция Пе-Чи-Ли, и принялись мы молить богов, чтоб нашептали они богдыхану мысль отрубить Ксанг-Хи-Ту голову. Опять услышало небо наши молитвы — позвал богдыхан к себе Ксанг-Хи-Ту и ему отрубил голову, а нам прислал теперешнего Тун-Фа-О, да продлит небо его жизнь на долгие и долгие годы. Пройди всю провинцию вдоль и поперек, ни одного довольного лица не увидишь, ни одного сытого человека не встретишь. Мы сеем слезы вместо риса, и вырастает горе. Вот народ по глупости своей и молит небеса, чтоб они внушили богдыхану мысль отрубить Тун-Фа-О голову. А я человек старый, я боюсь, чтоб небо и впрямь не послушало их советов. Отрубит богдыхан Тун-Фа-О голову и пришлет к нам другого. А как другой-то еще хуже окажется? Хотя я думаю, что хуже Тун-Фа-О и ничего нет, — ну, да ведь поручиться нельзя. Почем знать? Нет, уж пусть этот остается, да продлит небо его жизнь на долгие и долгие годы.

Огорчился богдыхан, выслушав эту повесть, не пошел даже странствовать по другим провинциям и прямо вернулся в Пекин и прошел во дворец.

Созвал он своих министров, советников и царедворцев и сказал:

— Совещание наше с предками продлилось менее, чем мы полагали, потому что предки наши оказались в советах кратки и подали нам все в один голос один благоразумный совет: впредь, что бы ни говорили нам про наших вице-королей, какие бы слухи о них до нас ни доходили, — никогда их не менять. Пусть так и будет!

И все восславили мудрость богдыхана. А вице-короли в особенности.

А мудрый старик из провинции Пе-Чи-Ли больше всех.

Был в Китае богдыхан Цзан-Ли-О, —

да сохранится его имя в памяти людей до тех пор, пока существует наше отечество. Он очень интересовался науками, хотя сам едва умел читать и поручал всегда подписывать свое имя другому, чем очень пользовались ближайшие мандарины.

Но так как, несмотря на это, он очень интересовался науками, то однажды Цзан-Ли-О и задал себе вопрос:

— Для какого дьявола они существуют на свете?

И он приказал в определенный день созвать всех ученых для всенародного допроса.

Желание сына неба — закон для земли.

У ворот всех университетов забили огромные барабаны, и глашатаи закричали:

— Эй, вы! Ученый народ! Бросайте-ка книги, идите в Пекин отвечать радости вселенной, нашему милостивому богдыхану, какую такую пользу приносят ваши науки.

В назначенный день на большой площади перед дворцом собрались все ученые люди Китая. Были тут такие старики, что их несли на носилках, но были и молодые ученые, которые казались старше самых старых стариков. Были ученые, так

высоко задиравшие голову, что у них спинной хребет выгнулся назад, и они не могли бы с почтением поклониться при встрече даже самому богу. Были тут и люди, у которых спинной хребет сломался в угол от сидения за книгами. Были люди, очень награжденные за свою ученость. Были ученые с тремя, четырьмя, попадались и с пятью шариками на шапке. Были такие, которые носили трехглазое павлинье перо. Были ученые и в зеленых куртках, и было даже несколько желтых кофт!

И все были, конечно, в очках, потому что очки, как известно, первый признак учености. Ученые всегда близоруки.

Когда солнце вышло из-за облаков и засверкало на этих очках, богдыхан даже зажмурился.

«Как горят у них глаза! — подумал он. — Словно ждут прибавки жалованья».

И богдыхан, оглядев толпу и увидав, что все в порядке, сказал:

— В никогда не прекращающихся заботах о благе наших детей-китайцев решили мы выяснить вопрос: зачем это на свете существуют науки? Давно уже они существуют, и вот хотим мы узнать, для чего? А потому отвечайте нам прямо и откровенно, без утайки и безо всякой хитрости: зачем науки и какой от них толк? Начнем хоть с тебя! — указал он на знаменитейшего астронома. — Сам сын неба, с неба я желаю и начать. Так будет мне приличнее. Твоя наука самая высокая, ты первый и говори!

Знаменитый астроном вышел вперед, отдал сколько полагалось по этикету поклонов и ласково сказал:

— Когда невежде приходится вечером выйти за

чем-нибудь из дома, он, как свинья, смотрит только себе под ноги, а если и случится ему взглянуть на небо, он увидит только, что небо, словно оспой, покрыто звездами. Другое дело, ученый астроном! Для него рисунки из звезд — это слова, и он читает небо, как книгу: надо ли ждать наводнений, велики ли будут приливы и отливы вод, как будет светить солнце, сильно или не очень. Вообще, мы узнаем будущее.

— Будущее! Это любопытно! — сказал богдыхан. — А ответь мне: что делается теперь, в эту самую минуту, в Нанкине?

— Откуда же я могу знать это, светило вселенной! — униженно кланяясь, ответил астроном.

— Недурно! — воскликнул богдыхан. — Будущее-то вы знаете, а вот настоящего-то — нет! Лучше бы вы настоящее знали, чем будущее! Полезнее бы! А то будущее! Будущее! Самая, по-моему, твоя бесполезная и глупая наука! Следующий!

За астрономом стоял знаменитый историк. Такой, говорят, историк, что знал по именам всех китайцев, которые когда-либо жили на свете!

Он распростерся перед богдыханом и сказал:

— Образец добродетелей, великий правитель, равного которому даже я не знаю во всей истории Китая! Моя наука не возбудит, конечно, твоего мудрого гнева, как наука моего предшественника. Мы занимаемся прошлым. Изучаем его, отмечаем все промахи, ошибки, даже глупости.

— Наука, очень удобная для дураков! — воскликнул богдыхан. — Всякий дурак может сколько угодно безнаказанно делать глупости. Стоит ему сослаться на вашу науку. Ведь глупости и ошибки, скажет он, делались всегда. Дурацкая наука! Уби-

райся!.. Ты чем занимаешься и какой толк от твоей науки?

Дрожащий ученый, к которому был обращен этот вопрос, поборол кое-как свое волнение и сказал:

— Мы изучаем вопросы государственного устройства. Как должно управляться государство, какие должны быть законы, какие права должны иметь мандарины, какие простой народ.

— Должны! Должны! — крикнул богдыхан. — Как будто на свете все делается, как должно. На свете никогда не делается все, как должно. Поневоле, благодаря вашей науке, всякий будет сравнивать то, что есть, с тем, как должно быть, и всегда останется недоволен. Самая вредная наука! Прочь с глаз моих! Вон!.. Ты что нам расскажешь?

На этот раз вопрос был обращен к доктору.

— Нашу науку, — отвечал он с поклонами, — все признают полезной. Мы изучаем свойства трав и что из какой можно сделать — из какой вытяжку, из какой порошок, из какой бальзам. Мы собираем корни женьшеня и учим, что из них надо отбирать — которые больше всего похожи на человеческую фигуру. Мы сушим молодые, еще мягкие рога оленя, толчем их и делаем из них навар, густой, как клей, и целебный, как воздух весны: он как рукой снимает все недуги. Конечно, когда человек здоров, ему не нужна наша наука, но если он не уберется и заболит, мы ему помогаем.

— Не уберется! Пускай бережется! — мягче, чем перед этим, но все же с гневом, сказал богдыхан. — Только поощряете людей к легкомыслию. Решительно не понимаю, какой толк от всех ваших наук!

И, обратившись к знаменитейшему и величайшему поэту Му-Си, который жил как раз в это самое время, богдыхан приказал:

— Ты отвечай о пользе науки!

Му-Си вышел, поклонился, улыбнулся и сказал:

— Был у одного из твоих предков, сын неба, такой чудный сад, в котором росли такие чудные, душистые цветы, что не только пчелы слетались со всей округи, но даже люди за милую и более останавливались, нюхали воздух и говорили: «Вероятно, сегодня дверь рая оставлена открытой». И забралась однажды в этот сад корова. Увидав, что из земли много кой-чего растет диковинного, она начала есть цветы. Пожевала розу, но бросила, потому что наколола язык. Пожевала лилий, пощипала резеды, левкоев, взяла в рот жасмину и выплюнула. «Совсем никакого вкуса! — сказала корова. — Решительно не понимаю, зачем это люди разводят цветы!» По-моему, сын неба, корове лучше бы и не задавать себе этого вопроса.

Богдыхан рассердился и сказал:

— А отрубите-ка ему голову!

Палачи сейчас же здесь же отрубили Му-Си голову. И, глядя на обезглавленное тело Му-Си, богдыхан задумался.

Довольно долго думал, наконец, вздохнул и сказал:

— Один был умный человек во всем Китае, да и тот теперь помер!

Вдова из Эфеса

Сказка Петрония

В городе Эфесе жила женщина

такой красоты, что женщины говорили при встрече с ней:

— Да будет благословенна твоя мать, которая родила тебя такой прекрасной!

А мужчины богохульствовали:

— Что дремлешь ты там, Юпитер, около своей Юноны! Вот когда, вот когда тебе следовало бы превратиться в быка и украсить лоб грозными рогами, или принять вид белоснежного лебедя, или, — что, может быть, действительно все в мире! — осыпать золотым дождем эту новую Данаю.

Поднимем наш кубок в память Париса! Счастье, что не было на склоне горы Иды этой женщины из Эфеса, — тогда бы Парис имел против себя не двух, а трех богинь!

Она была замужем за знатным человеком, который скоро умер и оставил ее молодой вдовой.

Она слышать не хотела об утешении.

Распустила по мраморным плечам свои светлые, — не крашенные, друзья, а настоящие светлые! — волосы и, раскрыв свою божественную грудь, царапала ее, словно грудь соперницы, борясь со своей красотой, как со врагом.

Это было достойно слез.

И Эфес плакал.

Прекрасная вдова объявила:

— Заприте меня в той пещере, где вы похороните моего мужа, — и пусть я там умру от голода и горя.

И так как воля ее была непреклонна, то ее допустили в пещеру, где положили набальзамированное тело ее мужа, оставили ей только светильник и запас масла, чтобы она могла, оплакивая, видеть черты дорогого покойника, и завалили вход в пещеру большим камнем.

Никогда еще Афродите, матери любви, не приносилось столь огромной жертвы.

Это были двойные похороны, друзья.

В то время, как трубы раздирали своим ревом воздух, возвещая смерть старика, флейты нежно оплакивали молодую жизнь.

И все ушли.

Вдова осталась вдвоем с трупом.

Случилось, что через несколько дней невдалеке от той пещеры, где был похоронен столь счастливый муж столь несчастной вдовы, распяли на крестах пять рабов.

И, по обычаю, поставили легионера стеречь, чтобы ночью родственники не пришли, не сняли с крестов распятых и не оказали погребением почестей тем, кто обречен на бесчестную смерть.

Ночью, стоя на страже, легионер увидел полоску света между камнями.

Что бы это могло быть?

Он отвалил камень, вошел в пещеру и увидел вдову, распростертую на трупе мужа, при свете погребального светильника.

Пораженный легионер воскликнул:

— Два трупа!

Вдова, подняв свое заплаканное лицо, ответила:

— Нет, воин. Пока один. Но скоро ты увидишь два.

Легионер сказал:

— Тогда я подожду, чтобы воздать тебе погребальные почести.

Он вернулся к крестам, где оставил свой запас пищи, принес его в пещеру и стал разогревать котелок с похлебкой из рыбы с маслом и вином.

Кушанье, как говорят, впервые изготовленное Афродитой в Галлии.

Красота умирающей так же поразила легионера, как ее бледность, и он сказал:

— Ешь, госпожа!

Вдова твердо ответила:

— Нет!

Но запах рыбы и вина был убедительнее простых слов простого легионера.

Нет ничего нестерпимее, чем, умирая от голода, видеть, как ест другой.

На этом основана ненависть бедных к богатым.

Увидав, как легионер жадно ест похлебку, вдова с отвращением, но сказала:

— Дай и мне.

И, раз начавши есть, оторваться не могла.

И поела досыта.

Сердце человеческое не живет без желаний. Так цветок всегда привлекает к себе пчел.

И когда, насыщенное, умирает одно желанье, на смену ему рождается другое.

На полный желудок сильнее бьется сердце.

И легионер, который был красив хотя бы и не

для простого легионера, сказал, как только мог нежнее:

— Госпожа! Твоя печаль имеет своим источником, конечно, благочестие?

— И покорность воле богов, отнявших у меня с супругом и самую жизнь! — ответила вдова.

— Тем страннее мне видеть благочестие, соединенное с нечестием!

Вдова испуганно воскликнула:

— В чем же ты видишь нечестие, воин?

И легионер продолжал:

— Ответь мне на один вопрос. Не есть ли красота такой же дар богов, как свет солнца? Разве солнце не светит так же всем, ходящим по земле, как красотой любят все, кто ее видит?

— Ты прав, что это такой же дар богов. Мысль твоя благочестива! — подумав, согласилась вдова.

— Итак, красота есть солнечный свет, ходящий по земле. Прекрасно, госпожа. Что же, ты считаешь себя мудрее богов или хочешь быть могущественнее их? Как? Ты даешь труп то, в чем отказали ему сами бессмертные боги? Если солнечный свет не проникает в могилы, зачем же здесь красота? И нуждается ли в ней труп? Думаешь ли ты этим оживить его? Или соединиться с мертвым по смерти? Разве в одних и тех же рощах в одних и тех же долинах Элизия бродят тени тех, кто умер просто от болезни, и тех, кто умер от любви? Если ты хочешь соединиться с супругом по смерти, подожди, когда ты умрешь, как и он, от болезни. И не умирай от любви! Чтобы не быть разлученной с ним навеки. А пока ты живешь, повинуйся богам: свети живым, а не мертвым!

Быть может, тут случилось то же, что и с похлебкой из рыбы и вина.

Мужественная красота легионера, быть может, оказалась еще сильнее его хитрых слов.

Вдова, как плакучая ива склоняется к бегущему и волнующемуся ручью, склонилась на грудь легионера, волнуемую страстью, и прошептала:

— Боги говорят твоими устами.

Так провели они ночь, и факелом Гимеңа был погребальный светильник, и мертвец был слеп, как Купидон.

Наутро, выйдя из пещеры, легионер закричал от ужаса.

Ночью, как шакалы подкрадываются к падали, к кресту одного из распятых рабов подкрались его родственники и украли труп, чтобы предать погребению.

В ужасе вернулся легионер к своей возлюбленной.

Вынул меч и сказал:

— Воздай и мне погребальные почести, хотя бы такие же кратковременные, как ему! Ты будешь оплакивать здесь двоих!

И, смерть предпочитая бесчестью, он острием меча нащупал, где сердце, чтобы умереть от своей руки, а не быть распятым на кресте украденного раба!

Но женщина схватила его за руку.

— Остановись, несчастный! Конец наших дней принадлежит богам так же, как начало! Зачем? Мы повесим на кресте его. Ему не все ли равно?

И они распяли на кресте тело покойного знатного человека. И все обошлось благополучно. Так на могилах вырастают цветы.

Мудрец

Эллинская сказка

Беотиец Акселос, эллин родом

и варвар душой, был по делам в Афинах. Осмотрел Акрополь.

— Акрополь как Акрополь! Стоит высоко.

Был в театре Диониса.

— Театр хороший. Отделан белым мрамором.

Слушал лучших ораторов.

— Говорят много.

И захотел побеседовать с Сократом.

— Быть в Афинах и не поговорить с Сократом!

На что же тогда человеку дан язык?

Прохожий афинянин указал ему под портиком Академии задумчиво гулявшего небольшого человека с невзрачным лицом:

— Это Сократ.

«Такой великий муж мог бы быть повыше ростом и повиднее. Впрочем, мудрецы об этом не заботятся!» — подумал беотиец.

Он пошел навстречу Сократу и глубоко ему поклонился.

Сократ учтиво ответил на поклон и прошел мимо.

Беотиец опять забежал вперед и поклонился.

Сократ улыбнулся, поклонился и продолжал прогулку.

Тогда беотиец снова забежал вперед и сказал:
— Привет тебе, мудрейший из смертных!
Сократ остановился, засмеялся глазами и сказал:

— Видел ли ты всех людей на свете?

— Н-нет!

— Раз ты их не видел, ты не мог и говорить со всеми людьми на свете. Не так ли?

— Совершенно верно.

— Почему же, в таком случае, ты знаешь, что я умнее всех людей на свете? Не осторожней ли было бы, с твоей стороны, сказать: «Мне кажется, что ты мудрейший из людей»?

— Да, пожалуй, так было бы благоразумнее.

— Но раз ты не знаешь, насколько умны другие люди на свете, такое мнение твое ни на чем не основано. Не так ли?

— Выходит, что так.

— Уверяют в чем-нибудь, не имея на то никаких оснований, или плуты, или глупцы. Не правда ли?

— Д-да!

— Хотел ли ты обмануть меня, говоря, что я мудрейший из людей?

— Нет.

— Значит, ты не плут? Кто же ты в таком случае? Реши сам!

«Однако!» — подумал беотиец и сказал:

— Что ж мне было делать, когда ты ничего не говоришь! На что роза, если она не пахнет, и мудрец, если он не говорит?

Сократ улыбнулся.

— Прекрасно. Скажи: свойственно ли коню ржать?

— Я думаю!

- А быку мычать?
— И еще как!
— Барану бляеть?
— Ну, еще бы!
— Что же, конь непрерывно ржет?
— Зачем же!
— И бык не мычит непрерывно?
— Конечно, нет!
— Но, может быть, непрерывно блеет хоть баран?
— Тоже нет!
— Видал ли ты, чтоб конь заржал при виде коровы?
— Не бывает.
— Или бык замычал при виде овцы, или баран заблеял при виде лошади?
— Нет, нет и нет! — весело отвечал беотиец.
— Не ржет ли конь при виде лошади?
— Разумеется.
— А бык при виде коровы?
— Это всякому известно.
— А баран не начинает ли бляеть тогда, когда увидит овцу?
— Верно.
— Одним словом, мы можем сказать, что конь ржет, бык мычит и баран блеет только тогда, когда видит себе подобных?
— Почему ж не сказать? Можно сказать!
— И из того, что правилу этому одинаково подчиняются и конь, и бык, и баран, не должны ли мы заключить, что это закон природы?
— По-моему, должны.
— Скажи, мудрец станет ли идти против законов природы?

— Не думаю!

— И отлично делаешь. Теперь ответь мне на один вопрос.

— Хоть на тысячу тысяч!

— Не думаешь ли ты, что мудрецу так же свойственно говорить мудрые вещи, как коню ржать, быку мычать и барану блять?

— Я так и думаю.

— Прекрасно! Если конь ржет, бык мычит, а баран блеет только при встрече с себе подобными, то, значит, и мудрец должен говорить только с подобными себе. Какое же основание, друг, я имел заговорить с тобою?

И, посмотрев на него с любовью, Сократ пошел дальше.

— Пусть меня разорвет Цербер! — воскликнул Акселос. — Чтобы человека два раза подряд заставили самого себя назвать дураком! Это может случиться только с беотийцем, да и то в Афинах!

Через мгновение он, однако, подумал:

«А мудрость, оказывается, вовсе не такая трудная вещь!»

И чтоб развлечься после неприятного разговора, пошел к гетерам.

Гетера Хризис лежала на окне своего дома, с накрашенным лицом, — чего требовало ее занятие, — и одетая в роскошные одежды, чего ее занятие не требовало вовсе.

— Иди смелее, красавец! — крикнула она Акселосу, когда тот остановился у ее порога.

Беотиец хитро улыбнулся.

— За что тебе платят деньги? — спросил он. Гетера из окна оглядела его с удивлением с ног до головы.

- За то, что я женщина!
- Но не всем же женщинам платят деньги. Ты должна отвечать: за то, что я красива.
- Ну, за то, что я красива!
- Итак, в любви платят за красоту?
- Платят и за красоту...
- Стой, стой! Не отвлекайся! Иначе ничего не выйдет. Ты согласна: за красоту?
- Пусть будет по-твоему.
- Ты зовешь меня для любви?
- За чем же другим будет звать к себе гетера?
- Отвечай: да или нет?
- Да, да, — да!
- И так как ты сама назвала меня красавцем, а в любви платят за красоту, то, значит, ты зовешь меня затем, чтобы платить мне деньги!
- Гетера расхохоталась так, что чуть не упала из окна. Беотиец глядел на нее, счастливо улыбаясь.
- Ну, вот, видишь теперь сама, что ты или мошенница, или дура!
- Что?
- Гетера вскочила.
- В Афинах оскорбляют женщину? И какую женщину?! Которая никому не доставила ничего, кроме удовольствия?! Слуги! Возьмите этого чужестранца, этого варвара, и киньте его куда-нибудь подальше от моего дома.
- Два раба, нубийцы, с мускулами, которые, как толстые змеи, перевились у них на руках, схватили беотийца, отнесли на ближайший перекресток и кинули, как юноши кидают копье.
- Однако философия до добра не доводит! — подумал Акселос, поднимаясь и потирая локти, колени и лицо.

И грустный пошел домой.

На следующий день он услышал на площади, что Сократ арестован, ночью его судили и присудили к смерти.

— Все за его философию!

— Однако я еще дешево отделался! — подумал беотиец, вспоминая о вчерашнем происшествии с гетерой.

И поспешил уехать в Фивы из города, где делаются такие странные вещи.

Друзья-фивяне собрались к нему в дом послушать чудес про Афины.

Он рассказывал им про величие Акрополя, мудрость ораторов и любезность афинских гетер.

— Но успел ли ты увидеть Сократа?

Акселос сделал печальное лицо.

— Друзья мои! Сократ беседовал со мною с последним перед тем, как его взяли, и прежде, чем умереть, пожелал научить меня своей мудрости!

Все глядели на него с благоговением.

— Ученик Сократа!

— Не знаю, как для кого, но должен вам сказать, что мне это было совсем нетрудно. Я сразу понял все.

— Сократ знал, кого избрать!

— Акселос! — стали его просить со всех сторон с горящими глазами. — Передай и нам мудрость Сократа! Поговори, как Сократ!

Акселос поднял палец:

— Тс! Друзья мои! Вы знаете, что случилось с Сократом? Вы хотели бы и для меня того же?

И все в ужасе переглянулись:

— Он, воистину, мудр!

С тех пор Акселос говорил только самые обык-

новенные вещи, но все смотрели на него с благоговением.

— Если бы он захотел заговорить, как Сократ!
Но Эллада не для Сократов!

Слава о молчащем мудреце скоро распространилась по Фивам, по всей Беотии и по всей Греции.

Отовсюду приезжали люди взглянуть на великого молчащего фиванского мудреца.

Он молчал, глядя с улыбкой на посетителей, и самым настойчивым, молившим его о слове, хоть об одном только слове мудрости, говорил только:

— Вспомните участь Сократа!

Создалось обыкновение.

Всякий, кто где-нибудь слышал что-нибудь умное, думал:

«Это сказал, наверное, Акселос».

И вскоре Греция была полна изречениями молчащего мудреца.

Их собирали и переписывали и задорого продавали:

— Изречения фиванского мудреца.

Фивы им гордились.

И когда, спокойно достигнув глубокой старости, он умер, на его мавзолее написали:

Акселос, великий мудрец, ученик Сократа.

По этой эпитафии он попал в Элизий.

Сам Минос, почтительно поднявшись, указал дорогу туда его тени.

Там, в аллее из мирт, освещенной бледным, словно лунным, светом, тень беотийца Акселоса увидела среди бродивших по две, по три тени одинокую тень маленького, невзрачного человека.

— Привет тому, кто был Сократом! — сказал Акселос.

— Привет и тебе, судя по месту, где ты находишься, тень мудреца! — ответил Сократ. — Голос твой напоминает мне землю, и мне кажется, что я встречался с тобою в Афинах.

— Ну, как же! Ты встретился со мной под портиком Академии. В тот самый день, когда тебя взяли по приказанию архонтов. Помнишь?

Тень Сократа слабо улыбалась, как улыбаются тени.

— Я помню и то, и другое. Но как же попала ты сюда, заблудившаяся тень?

— По надгробной эпитафии мудреца.

— Как называется тот счастливый город, который считал тебя мудрецом?

— Фивы.

— Но что ж ты говорил, что тебя считали мудрецом?

— Я молчал.

— Всю жизнь?

— Всю жизнь.

— Тогда понятно все! — сказала тень Сократа. — И дурак мудр, когда он молчит. Ты мудрый дурак!

И тень Акселоса гуляла по миртовым полям Элизия с полным правом.

Суд над сановником

Нравоучительная персидская сказка

В старые годы, давным-давно,

в славном городе Тегеране случилось такое происшествие. Во дворец великого визиря в час, назначенный для приема жалоб, явился крестьянин Абдурахман.

Так как он пришел с подарком, то стража пропустила Абдурахмана, а начальник караула даже похвалил его:

— За догадливость и за усердие. Вдвое.

Абдурахман подошел к слуге, которому было поручено принимать жалобы и доказательства.

Поклонился ему до земли, как Аллаху, и сказал:

— Великий шах, — да прольется благодатный дождь над его садом, и только дорожка, по которой он изволит гулять, пусть останется сухой! — великий шах наш поставил своего великого визиря, чтобы его рукой рассыпались милости, награды и подарки на головы достойных, отличившихся, преданных и мудрых сановников. Вот все, что я имею, — уздечка для осла. Я хотел бы подарить ее хану Магомету-Бэн-Ахмету, но так как награды должны сыпаться на головы сановников рукою великого визиря, то я принес ему эту уздечку. Пусть

он своими руками передаст этот подарок хану Магомету-Бэн-Ахмету!

Сказал и ушел.

Великий визирь никогда не упускал случая отличить достойного сановника.

Узнав о приношении Абдурахмана, великий визирь чрезвычайно заинтересовался:

— Чем это хан Магомет-Бэн-Ахмет так сумел заслужить расположение и благодарность народа, что простой крестьянин приносит ему в подарок последнее, что имеет?

С другой стороны, он обеспокоился:

— Слова этого мужика кажутся мне загадочными: почему это он хочет украсить голову хана Магомета-Бэн-Ахмета ослиной уздечкой? Что это значит? И нет ли тут унижения для власти?

Великий визирь приказал немедленно разыскать Абдурахмана.

Абдурахмана схватили и привели.

— Почему, — грозно спросил великий визирь, — ты принес в подарок хану Магомету-Бэн-Ахмету ослиную уздечку? Говори так, как будто бы ты говоришь перед самим Аллахом и в последний час твоей жизни!

— С самым младшим из твоих слуг я говорю так, как будто я говорю с самим Аллахом! — стоя на коленях, ответил Абдурахман. — Как же я осмелюсь иначе говорить перед тобой самим? А что касается до последнего часа, — с тех пор, как я умираю от голода, я каждый час своей жизни считаю последним. Я действительно принес ослиную уздечку в подарок хану Магомету-Бэн-Ахмету. На что мне уздечка, если хан Магомет-Бэн-Ахмет ук-

рал у меня осла? У него осел, у него пусть будет и уздечка!

Великий визирь вскричал:

— Может ли это быть, чтобы хан у мужика украл осла?!

— Последнего! — кланяясь в ноги, с покорностью подтвердил Абдурахман. — И так я был нищ, а теперь хан Магомет и вконец меня обобрал. Единственный способ, чтобы я не умер от голодной смерти, это — посадить меня на кол.

— Может ли это быть? — хватаясь за чалму, воскликнул великий визирь. — Неужели это правда?!

— Правда! — отвечал, кланяясь в ноги, Абдурахман. — И если бы мои ребра могли говорить, они подтвердили бы, что я говорю правду. И глаза тоже. Я сам, вот этими глазами, видел хана Магомета-Бэн-Ахмета на моем осле. Осел даже закричал от радости, увидав меня. Люди врут, ослы, ты сам знаешь, — никогда. И если бы ослы могли говорить, а люди замолчали, в мире слышалось бы столько же правды, сколько теперь лжи. И я, и осел сказали, что хан едет на краденом животном. Но хан Магомет дал ослу один удар палкой, а мне — столько, что каждое ребро мое может подтвердить правоту моих слов.

— Иди, — сказал великий визирь, грозный, как туча, — и живи спокойно: дело будет разобрано, и виновный получит то, что заслужил.

И приказал позвать к себе хана Магомета-Бэн-Ахмета.

— Тебя следовало бы посадить на кол, — закричал великий визирь, едва хан Магомет переступил порог его покоя, — если бы ты не заслуживал, что-

бы тебя повесили вот на этой уздечке! Как?! Хан украл у нищего мужика последнего осла?!

Хан Магомет, видя, что великий визирь все знает, стал на колени и сказал:

— Мой отец Саид-Али-Бэн-Омар был великий воин и своими победами прославил и расширил границы Персии. Я женат на дочери Ассумана-Бэн-Ралида, богатейшего среди торговцев Тегерана. Прошу тебя не за себя, а за этих знаменитых и славных людей. Подумай, какое горе и бесчестье причинишь ты им, подвергнув меня позору!

— Славному Саиду-Али-Бэн-Омару лучше было бы быть убитым в первом же бою, когда он еще был холостым, чем иметь потом такого сына, как ты, — гневно ответил великий визирь, — а почтенному Ассуману-Бэн-Ралиду лучше бы вечно видеть дочь девушкой, чем тебя — своим зятем! Ты посадил их честь на краденого осла. Когда ты будешь болтаться на этой уздечке, с них будет снято грязное пятно: в их роду не будет вора!

Великий визирь призвал к себе судью Азирбина-Бэн-Асмана и приказал:

— Да воссияет хоть на этот раз справедливость! Преступление слишком кричит о себе, чтобы правосудие молчало. Исследуй вину этого человека и доложи ее совету сановников. Пусть совет сам увидит, в чем этот человек повинен, и отдаст его верховному суду! Ступайте все и ищите справедливости.

В тот же вечер собрался совет сановников, и судья Азирбин-Бэн-Асман встал, поклонился всем и сказал:

— Аллах — как воздух. Аллах невидим, но Аллах везде. И без Аллаха мы не могли бы дышать. И, го-

воря в вашем почтенном собрании, я говорю в присутствии Аллаха. Не подозревайте же меня в кознях, злобе или низких замыслах. Свидетель Аллах, с радостью я посадил бы на кол Абдурахмана за ложный донос, за клевету на хана: «Тебе приходили в голову гнусные мысли, когда ты лежал у себя на постели, — может быть, придут хорошие, когда ты будешь сидеть на колу!» Но сказанное им — увы! — совершенная правда. Лучшие из свидетелей видели осла Абдурахмана в стаде хана Магомета: мои глаза. И если бы было наоборот, — если бы Абдурахман украл осла у хана Магомета, — я не задумался бы вынести приговор: «Абдурахман — вор». Отрубил бы ему правую руку, посадил бы его на кол, а на друзей его и родственников наложил бы штраф: «Вы сами должны быть плохими людьми, если среди вас водятся воры. Тухлая та вода, в которой лежит тухлая рыба». Но сказать это хану Магомету-Бэн-Ахмету! Сказать это вам, почтенные сановники, его друзьям, близким и знакомым! Не значило ли бы это оскорбить вас? А если даже судья, поставленный охранять уважение к власти, оскорбляет вас, что же будет делать простой народ?

Весь совет, потупившись, задумчиво гладил бороды.

— Великий визирь возмущен, — продолжал судья Азирбин-Бэн-Асман, — чем? Тем, что в Персии украли осла? Но воруют даже слонов! Тем, что вор пойман? Но этому надо только радоваться! Великий визирь возмущен до глубины своей праведной души тем, что вором оказался сановник. Сановник возмущен, — чего же ждать от простого народа? Если негодует свой, чего же ждать от чужих?

Не скажут ли нам: «Вы — тухлая вода, если в вас лежала тухлая рыба?» Не уроним ли достоинства власти, назвав деяние хана Магомета-Бэн-Ахмета «кражей»? Да свершится правосудие! Я — судья, и первый говорю это. Но да не будет произнесено слово «кража», — я стою на страже достоинства власти, и первый этого требую. Мы не можем сказать: «Хан Магомет-Бэн-Ахмет украл осла у нищего крестьянина Абдурахмана».

Тяжелое молчанье воцарилось после этих слов судьи в совете.

Кто не хан?

После этого хоть не выезжай на улицу, если мы — сами ханов так честим!

Тамбэн-Бэн-Абдалла первый прервал молчание и, погладив свою седую бороду, сказал:

— Судья Азирбин-Бэн-Асман совершенно прав. Следует сказать так: «Хан Магомет-Бэн-Ахмет виновен в том, что взял без спроса осла у крестьянина Абдурахмана». Так будет лучше!

— Позволь, почтенный Тамбэн-Бэн-Абдалла! — с живостью воскликнул сановник Абдрохаман-Бэн-Бамба. — Отпуская яд, надо взвешивать каждую крупинку. Слово — яд. И мы должны взвешивать каждое слово. Почему же непременно: «у крестьянина Абдурахмана». Хан Магомет мог и не знать, что осел принадлежит именно Абдурахману. Он взял просто чужого осла. Так и скажем: «Виновен в том, что взял без спроса неизвестно кому принадлежащего, чужого осла»!

Все согласились было, но хан Али-Бэн-Ивесси воскликнул:

— Стойте, почтенное собрание! «Неизвестно кому принадлежащего». Это уж меняет дело! Неиз-

вестно кому принадлежащая вещь. Это находка! И хан Магомет-Бэн-Ахмет виновен в «утайке находки, неизвестно кому принадлежащего, чужого осла»!

— Верно! Верно! — слышалось было среди сановников, но их остановил Абаха-Бэн-Мохаддин:

— Сановники! Это уже несправедливо! Хан Магомет взял не чужого осла. Раз осел был находкой, половина принадлежала нашедшему. Значит, хан Магомет взял не чужого осла, а только не совсем своего. Это разница! Он принял не совсем своего осла за своего. Это большая ошибка! Хан Магомет-Бэн-Ахмет должен лучше знать своих ослов! И не ошибаться!

Судья Азирбин-Бэн-Асман вскочил даже с места:

— Вот, вот! Скажи, что ты ешь, почтенный Абаха-Бэн-Мохаддин, что ты такой умный? Скажи, чтобы и я поел этого блюда! Кражи, следовательно, совсем не было! Хан Магомет виновен только в том, что он сам не знает своих ослов.

И совет сановников единогласно постановил:

— Разобрав все подробности дела, признать хана Магомета-Бэн-Ахмета виновным в том, что он не знает своих ослов. Ввиду же того, что это незнание повело к тяжелым последствиям для крестьянина Абдурахмана, предать хана Магомета верховному суду.

Верховный суд собрался, грозный, как всегда. Перед судом стояла плаха. Около нее стоял палач с остро наточенной секирой. Его помощники держали наготове заостренные и обитые железом колья.

Но хан Магомет-Бэн-Ахмет вошел в это грозное

судилище с гордо поднятой головой, со смелым взглядом, как человек, у которого в карманах нет ничего чужого.

Старейший из судей сказал:

— Хан Магомет-Бэн-Ахмет, сын хана Саида-Али-Бэн-Омара, ты обвиняешься в том, что не знаешь своих ослов. Это причинило тяжелое несчастье крестьянину Абдурахману, который, благодаря твоему незнанию, должен умирать с голода. Так обвиняют тебя люди. Обвиняет ли тебя твоя совесть?

Хан Магомет с достоинством поклонился судьям и ответил:

— Нет! В том, что крестьянин Абдурахман, когда у него взяли осла, помирает с голода, я не виноват: не моя вина, что у него, кроме осла, ничего не было. В том же, что я не знаю своих ослов, я виноват не больше, чем вы. Сделаем опыт. Прикажете смешать вместе все стада ваших ослов. И пусть каждый из вас отберет своих. Всякий, который чужого осла примет за своего, платит большой штраф. А все ослы, которые не будут опознаны их хозяином, идут в пользу шаха. Желаете?

В верховном суде все переглянулись. Хан Магомет улыбнулся:

— Почему же, в таком случае, вы судите меня, а не я — вас?

Старший из судей спросил его:

— А сколько у тебя ослов?

Хан Магомет ответил:

— Пятьсот.

Верховный суд вынес приговор:

— Принимая во внимание, что невозможно

знать в лицо 500 ослов, признать хана Магомета-Бэн-Ахмета оправданным.

Хан Магомет отправился к великому визирю, поклонился ему и сказал:

— Правосудие изрекло свое слово. И все ли должно пред ним преклониться?

— Все! — твердо отвечал великий везирь.

— Даже клевета?

— Как низкая гадина, она должна ползти по земле, пока ее не раздавят пяткой.

— Почему же я не вижу ползущего у моих ног Абдурахмана? — воскликнул хан Магомет. — И почему же твоя пятка не раздавит его? Он обвинил невинного, — это доказал суд, оправдавши меня. Ты справедлив. Ты не отказал в правосудии крестьянину Абдурахману. Надеюсь, ты не откажешь в справедливости хану Магомету.

Великий визирь воскликнул:

— Ты прав! Я требовал правосудия, но и сумею заставить его уважать, когда оно пришло.

Он приказал немедленно привести Абдурахмана. Но Абдурахман, оказалось, скрылся.

— Он бежал в тот же самый день, как ты приказал отдать под суд хана Магомета! — донес посланный.

— И о нем нет ни слуха ни духа? — спросил великий визирь.

— Убегая, он оставил письмо домашним. «Дорогие мои, — писал Абдурахман своим близким, — завтра, с рассветом, увидев, что меня нет, вы спросите с горем и недоумением: почему же Абдурахман бросил свой бедный, милый дом, близких, которых он любил, деревню, в которой родился, страну, населенную его народом? И когда же? В тот

день, когда его злодей, когда хан Магомет отдан под суд? На это я вам отвечу старой сказкой. Лисица встретила на опушке леса зайца. Заяц летел сломя голову из родного леса. «Что случилось?» — спросила лисица. «И не говори! — ответил заяц. — Большое горе: пришли люди, убили волка!» — «Тебе-то что? Разве ты так любил волка?» — «Любил! Тоже скажешь! Первый лиходея! Деда, прадеда, пра-пра-пра-прадеда разорвал. Всех моих близких!» — «Чего ж тебе так волноваться?» — «Не понимаешь! Раз уж волка — и того убили, чего же, значит, зайцу-то ожидать?» Вот почему я бегу из моей страны, мои близкие. Раз самого хана Магомета отдали под суд, чего же Абдурахману ждать?»

Великий визирь выслушал письмо.

Долго гладил бороду.

И сказал:

— Да!.. Сановников не надо отдавать под суд. Это пугает простой народ.

Человек и его подобие

Индусская легенда

Посвящается
Максиму Горькому и 2-ну Скитальцу

Когда Магадэва создал человека,

человека приветствовала вся природа. По пути его на земле выростала трава, чтоб человеку не жестко было ступать. Когда человек проходил мимо, зеленые лужайки улыбались ему цветами.

Солнце грело человека, а пальмы расправляли свои листья, когда человек садился отдохнуть в их тени.

Птицы хором гремели самые лучшие песни при его приближении.

А маленькие воробьи и трясогузки скакали впереди и кричали:

— Человек идет! Человек идет!

Бананы протягивали ему свои плоды:

— Не хочешь ли ты есть?

И, завидев человека, на кокосовой пальме спешил созреть плод и упасть к ногам человека.

Робкие серны выглядывали из-за лиан, чтобы посмотреть на человека.

Человек был скромн и застенчив.

Он думал, — так как Магадэва дал ему беспокойную, пытлиую мысль, — он думал:

— За что мне все это?

Он старался не ступать по траве, которая выростала на пути, потому что, касаясь этой травы, краснели его ноги.

Его уши краснели, когда раздавались гимны птиц.

Краснели руки, когда он дотрагивался до бананов и кокосовых орехов, падавших на его пути.

Он потуплял глаза, чтоб не видеть воробьев и трясогузок, скакавших впереди него и кричавших:

— Человек идет! Человек идет!

Потупив голову, боясь дышать, он проходил мимо лужаек, на которых в честь него расцветали душистые цветы.

И боялся глядеть по сторонам, чтоб не увидеть любопытных и восхищенных взглядов спрятавшихся в лианах пугливых серн.

Он стыдливо и с замешательством думал:

— Чем я заслужил все это?

А цветы продолжали расцветать при его появлении, пальмы расправлять свои листья, когда он садился под ними, маленькие воробьи и трясогузки озабоченно скакать впереди и всех предупреждать:

— Человек идет! Человек идет!

Пугливые серны не переставали любоваться им своими прекрасными глазами.

Тогда человек подумал:

— Они видят меня и воздают почести. А я не понимаю, за что. Быть может, это потому, что я не вижу себя?

И человек стал думать:

— Как бы мне увидеть себя? Что во мне достойного таких восторгов?

Заснувший пруд отражал в своей блестящей глади деревья и цветы, росшие на берегу, синее небо и белые, плывшие по небу облака.

Человек сказал себе:

— Вот!

И с вопросом наклонился над спящею блестящею гладию воды.

И вода ответила ему:

— Ты прекрасен!

В воде отразилось лицо, полное пытливой мысли, и глубокие глаза, горевшие огнем. Человек отшатнулся и сказал:

— Теперь я начинаю понимать! Это не глупый воробей, не трясогузка. Воде можно поверить. Вода не станет лгать. Ведь не лжет же она, отражая небо, облака, деревья и цветы.

Он снова наклонился над водой и долго смотрел на лицо, ему новое, до сих пор незнакомое.

— А действительно, — сказал человек, — я удался Магадэве. И Магадэва имеет право гордиться, что меня сотворил! Он выбрал для этого удачный миг. Миг, когда был полон, видно, вдохновения! Должно быть, каждое движение мое так же полно красоты, если все восхищается, глядя на меня?

И, повернувшись спиною к солнцу, человек стал спрашивать землю:

— Красив ли я?

Он делал телодвижение, шел, поднимал руки к небу, протягивал их, словно срывал цветы и плоды. И глядел на свою тень на земле. И земля отвечала человеку:

— Ты красив! Красиво каждое твое движенье!

Тогда, налюбовавшись своею тенью, человек радостно сказал:

— Теперь я понял все!

И крикнул воробьям и трясогузкам:

— Вперед! Кричите громче. Я иду!

Человек стал горд.

Ложась отдохнуть под пальмами, он с неудовольствием глядел вверх:

— Какие глупые пальмы! Почему они недостаточно широко раскрыли свои листья? Знают ли они еще, кто под ними лежит?

Проходя мимо лужаек, расцветавших цветами, он останавливался и считал цветы.

— Сегодня не особенно много. Можно было бы расцвести и посильнее! Почему на этом стебельке нет цветка?

И когда воробьи и трясогузки робко чирикали ему в ответ:

— На этой травке никогда не бывает цветов!

Человек сердился:

— Могла бы расцвести, когда я приближаюсь! Зачем иначе и расти такой глупой траве? Просто вы виноваты... Недостаточно громко кричали о моем приближении! Вы созданы Магадэвой для того, чтобы скакать вперед и возвещать, что я иду! А вы! Как выполняете вы заповедь Магадэвы?

Он отбрасывал ногой падавшие на его пути кокосовые орехи:

— Эти недостаточно крупны для меня!

И от гордости частенько голодал, потому что не хотел протянуть руки к бананам, которые огромными кистями тянулись к нему:

— Могли бы быть для меня и пожелтее!

На лице его теперь часто было написано недовольство. Он оглядывался кругом:

— Почему мало серн выглядывает из лиан на меня?

Воробьи и трясогузки с трепетом отвечали ему:

— Они пугливы, человек!

— В таком случае, прикажите замолчать птицам. Это они своим шумом и гамом пугают робких серн и мешают им любоваться мною. Да и надоели мне песни этих глупых птиц! Они поют недостаточно стройно и красиво в честь меня. Пусть лучше молчат, чем петь гимны, недостойные меня по красоте!

Если человек просыпался до восхода солнца, он сердился:

— Чего медлит это солнце? Чего оно теряет даром время, вместо того чтобы прийти любоваться мною? Вот я уже не сплю, а оно еще не взошло.

Когда спускался вечер и в небе загорались звезды, человек смеялся и приветливо махал им рукой.

— Ничего, ничего! Высыпайте толпой на небо! Вам захотелось полюбоваться мною? Выходите толпами и смотрите!

Так гордился человек своей красотой. Магадэва на небе много смеялся над гордостью человека, но, наконец, Магадэве это надоело.

— Этому надо положить предел! — сказал Магадэва. — Это становится глупым!

И Магадэва создал обезьяну.

Проворно она спустилась с дерева и пошла рядом с человеком.

— Это что за чучело? — удивился человек, и

что-то знакомое показалось ему в фигуре, шагавшей рядом с ним.

Все кругом с удивлением смотрело на человека и обезьяну, шедших рядом.

Человек нюхал цветы, расцветавшие по пути, и обезьяна нюхала их.

У человека на лице было написано удовольствие, и у обезьяны на лице было написано удовольствие.

Пугливые серны, выглядывавшие из-за лиан, спрашивали с недоумением друг у друга:

— Кто же из них человек?

И даже воробьи и трясогузки скакали теперь задом наперед и с удивлением смотрели то на того, то на другого, крича:

— Вот идут люди! Люди идут! Люди!

Человек вспомнил свое изображение в воде, поглядел на обезьяну и с досадой сказал самому себе:

— А ведь похожи!

Но он не понимал:

— Как же так? Я красив, это безобразно. А все-таки мы похожи друг на друга?

Он сел и погрузился в глубокую думу.

Обезьяна села рядом и тоже сделала вид, что погрузилась в глубокую думу.

Человек пошевелился.

Обезьяна пошевелилась.

Человек встал и с досадой быстро пошел прочь.

Но и обезьяна вскочила и также быстро пошла с ним рядом.

Человек расхохотался, глядя на ее раздосадованный и озабоченный вид.

Лицо у обезьяны все сморщилось, и она схватилась за бока.

Человек перестал смеяться.

— Неужели это действительно так безобразно?
И обезьяна нахмурилась.

Человек отбрасывал попадавшие на его пути кокосовые орехи.

Обезьяна делала то же.

Человек снова не мог удержаться от хохота:

— Неужели же так смешно то, что я делаю?
И перестал делать это.

Обезьяна шла рядом и повторяла каждое его движение.

И человек с ужасом видел:

— Точь-в-точь как я!

Настал вечер.

И когда человек, увидев звезды, по обыкновению приветливо и снисходительно замахал им руками, обезьяна тоже подняла передние руки вверх и тоже замахала, — так что человек расхохотался и стал кататься по траве:

— Великий Магадэва! Как это смешно, и глупо, и некрасиво!

Так обезьяна повторяла каждое движение человека. И человек боялся уже сделать лишнее движение, чтоб его не повторила обезьяна и чтоб оно не вышло глупым и смешным.

Человек стал скромно ходить по земле, боясь, чтоб обезьяна, ходившая рядом, не сделала сейчас же смешного движения.

Он боялся взглянуть по сторонам, потому что ему стыдно было пугливых серн, видевших его и обезьяну, идущими рядом.

Когда загремел хор птиц, человек покраснел:

— Что ж во мне красивого, раз обезьяна похожа на меня?

И он стыдливо старался не топтать травы, росшей на его пути. Скромными улыбками отвечал на цветы, которыми улыбалась ему земля.

И, вспоминая каждое свое движение, как его передразнивала обезьяна, думал про себя:

— За что, за что мне все эти почести?

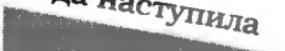
Человек стал вновь скромен и стыдлив.

* * *

Так, индусы, все создано Магадэвой со смыслом и на пользу. Все.

Человеческая память

Сказка Шахеразады

...и  когда наступила

сто двадцать седьмая ночь, Шахеразада сказала:

— Вот что случилось, султан, — один Аллах султан! — когда-то в городе Дамаске.

В Дамаске жил купец, по имени Гассан. Он был и богат, и умен, и честен, — что случается не часто.

И Гассана знал весь город.

Он был молод, но уже вдовец. Его супруга умерла, не оставив ему воспоминаний — детей. И он легко согласился на уговор своих родственников — жениться во второй раз.

Его сестры выбрали ему молодую девушку, — прекрасную, как прекрасна бывает луна на свой четырнадцатый день.

Был устроен свадебный пир, роскошный, потому что Гассан был несметно богат, — и когда настал час брачных утех, родственницы жениха отвели невесту в опочивальню, раздели и со смехом и шутками положили на постель, задернув ложе тончайшей шелковой занавеской, какие умеют делать только в Китае.

С весельем вернулись женщины на пир и объа-



вили, что, при добром желании, для удовольствия нет больше никаких препятствий.

И новобрачный пошел в опочивальню.

Его сопровождали родные и друзья, как это бывает всегда на свадьбах и похоронах. Сопровождали женщины, которые любят брачные ночи, потому что это пробуждает в них прекрасные воспоминания, и девушки, в которых это рождает восхитительные надежды.

Впереди шли веселые музыканты.

Гассан шел медленно, соблюдая свое достоинство, — чтобы кто-нибудь не подумал, что он, забыв уважение к приличиям, бежит навстречу удовольствиям.

Как не торопится человек, который приобрел сад, сорвать в нем все цветы.

Мужчины и женщины, стоявшие направо и налево от Гассана, осыпали его шутливыми пожеланиями, молодежь состязалась в остроумии, старики и старухи — в вольности шуток.

Но вот смолкло тихое пение флейт музыкантов, игравших за дверями.

Настал миг всем удалиться.

Гассан поднялся с шитых золотом подушек, чтобы поблагодарить гостей.

И в это время, султан...

В это время с него упали шаровары.

И, в распахнутом халате, Гассан явился пред гостями в том виде, в каком вы, мужчины, с некоторым конфузозом предстаете перед банщиками, ничего не видящими для себя оскорбительного в голых мужчинах, потому что они не видят иных.

Женщины начали громко и оживленно говорить между собой, чтобы сделать вид, будто они ничего не заметили.

Мужчины в смущении стали задавать друг другу самые неподходящие вопросы:

- Почему теперь шерсть?
- Какая цена на фисташки?
- Безопасна ли дорога в Багдад?

Молодая, которой сквозь прозрачную занавеску было видно все, что происходит в освещенной комнате, и которой не было видно никому, не могла удержаться от взрыва смеха и начала звенеть браслетами, чтобы заглушить свой хохот.

У Гассана покраснели даже ноги.

Он поднял шаровары и, поддерживая их руками, выбежал из спальни и из дома.

Его охватил такой стыд, что он, не рассуждая, вскочил на первого, стоявшего во дворе, коня, принадлежавшего кому-то из гостей, ударил его пятками под бока и, колотя кулаками по шее, вылетел на улицу.

Не привыкший к ударам конь летел, как птица, как вихрь.

Так семь дней и столько же ночей скакал Гассан, едва останавливаясь на несколько часов, чтобы дать передохнуть измученному коню.

Стыд хлестал Гассана, Гассан хлестал коня.

И через семь дней Гассан приехал в чужую, незнакомую страну, в большой город.

У Гассана не было денег, — потому что, — ты понимаешь, султан, — никто не берет с собой денег, идя в опочивальню своей жены.

Гассан продал роскошный халат, который был

на нем, и проклятые шаровары — причину его несчастья, — купил себе скромное платье, но с более крепкими завязками. Продал измученного коня, богатое седло и уздечку.

И на вырученные деньги купил фисташек в сахаре, шербета, орехов в меду и пошел по улицам незнакомого города, крича:

— Женские утехи! Женские утехи!

Гассан был молод и очень красив, — и во все гаремы звали молодого и красивого торговца, находя, что у Гассана особенно вкусны орехи и особенно ароматен шербет.

Быстро и по хорошим ценам распродал свой товар, Гассан открыл на базаре маленькую лавочку серебряных вещиц, — и, с прибылью распродал серебряные вещи, открыл большую лавку золотых.

Через год Гассан торговал уже драгоценными камнями.

А через два он был самым богатым купцом в городе.

Люди уважали его за богатство и любили за честность и ум.

Девушки жалели, что он не хочет жениться, а женщины этому радовались.

Слух о достоинствах Гассана дошел до местного эмира.

Эмир захотел увидеть Гассана и, придя в восторг от его ума, сделал Гассана своим другом.

Когда вскоре умер престарелый великий vizирь, эмир возвел своего друга Гассана в звание великого vizира.

И умный, честный Гассан издал много мудрых

законов, осчастливив страну, жители призывали на голову визиря благословения Аллаха. — Аллаху слава и молитвы! — и слава Гассана распространилась по земле, как масло растекается по воде, и дошла до самых отдаленных стран.

Эмир не однажды говорил Гассану:

— Среди моих невольниц есть столь же прекрасные, сколь искусные в музыке, пении и танцах, — способные развеселить жизнь человека. И спальни которых были для меня так же священны, как спальни моих дочерей. Выбери себе одну из них, — и будь мне сыном.

Но Гассан каждый раз целовал землю у ног эмира и отвечал:

— Говори мне об этом, повелитель, только тогда, когда ты хочешь услышать из уст моих: нет.

Эмир отвечал:

— Аллах один повелитель!

И не спрашивал дальше, умея уважать молчание так же, как мудрые слова.

Так прошло десять лет.

И не было в течение этих счастливых десяти лет ни одного дня, чтобы Гассан не вспоминал о своем Дамаске.

И когда исполнилось десять лет, тоска по городу, где он родился, так охватила душу Гассана, что однажды ночью, не говоря никому ни слова, Гассан покинул дворец своего покровителя. Не желая, чтобы его сочли корыстным или неблагодарным, взял с собой золота, только чтоб хватило на дорогу, и пешком ушел в Дамаск.

Долго шел он, слабело тело, и выше уносилась душа.

Когда, утром, с вершины холма Гассан увидел в лучах солнца родной город, — Гассан не мог удержаться и залился слезами.

Словно приближаясь к Каабе, ступал он по священной земле родины.

Словно по Мекке, шел по улицам Дамаска.

И слышал разговор.

Сидя у дверей своего дома, женщина, — да не оскорбится твой слух, султан, — искала насекомых в голове своей дочери, которой на вид было лет десять.

Девочка сказала:

— Я давно хотела спросить у тебя: когда я родилась, и сколько мне лет?

Мать отвечала:

— Тебе — десять лет. Ты родилась в тот самый год, когда с Гассана свалились шаровары.

Услышав это, Гассан в ужасе схватился за голову.

— Как?! Они с этого ведут свое летосчисление?!

Гассану показалось, что минареты покачнулись и дома поплыли у него перед глазами.

— Вы можете достигнуть вершин могущества и славы. Все потеряв, снова стать первым богачом! Сделаться великим визирем огромнейшего государства! Осчастливить миллионы людей. Быть мудрым! И при вашем имени будут вспоминать только то, что у вас когда-то свалились шаровары! И всякая дрянь будет рассказывать об этом своей покрытой коростой девчонке!

Гассан повернулся и ушел из Дамаска, чтоб больше никогда не возвращаться.

Вот та частица истины о людях, которая известна мне, султан. А все знает один Аллах!

И Шахеразада смолкла, потому что небо становилось розовым и наступал день.

Зеленая птица

Персидская сказка

Великий визирь Мугабедзин

созвал своих визирей и сказал:

— Чем больше я смотрю на наше управление, — тем больше вижу нашу глупость.

Все остолбенели. Но никто не посмел возражать.

— Чем мы занимаемся? — продолжал великий визирь. — Мы караем злодеяния. Что может быть глупее этого?

Все изумились, но возражать никто не посмел.

— Когда выпалывают огород, дурные травы выпалывают вместе с корнем. Мы же только подстригаем дурную траву, когда ее видим, — от этого дурная трава только разрастается еще гуще. Мы имеем дело с деяниями. А где корень деяний? В мыслях. И мы должны знать мысли, чтобы предупредить дурные деяния. Только зная мысли, мы и будем знать, кто хороший человек, кто дурной. От кого чего можно знать. Только тогда и будет наказан порок и награждена добродетель. А пока мы только подстригаем траву, а корни остаются целы, отчего трава только разрастается гуще.

Визирь с отчаянием переглянулись.

— Но мысль спрятана в голове! — сказал один из них, похрабрее, — а голова, — это такая костяная коробка, что, когда разобьешь ее, улетает и мысль.

— Но мысль такая непоседа, что сам Аллах создал для нее выход — рот! — возразил великий визирь. — Не может быть, чтобы человек, имея мысль, кому-нибудь ее не высказал. Мы должны знать самые сокровенные мысли людей, — такие, которые они высказывают только самым близким, когда не опасаются быть подслушанными.

Визири в один голос радостно воскликнули:

— Надо увеличить число соглядатаев!

Великий визирь только усмехнулся:

— Один человек имеет состояние, другой работает. Но вот человек: и капитала у него нет, и ничего не делает, — а ест, как пошли Аллах всякому! Всякий сразу догадается: это — соглядатай. И начнет остерегаться. Соглядатаев у нас и так много, да толку нет. Увеличивать их число, — значит, разорять казначейство — и только!

Визири стали в тупик.

— Даю вам неделю времени! — сказал им Мугабедзин, — или через неделю вы придете и скажете мне, как читать чужие мысли, или можете убираться! Помните, что дело идет о ваших местах! Идите!

Прошло шесть дней.

Визири при встрече друг с другом только разводили руками.

— Выдумал?

— Лучше соглядатаев ничего не мог выдумать! А ты?

— Лучше соглядатаев ничего на свете быть не может!..

Жил при дворе великого визиря некто Абл-Эддин, молодой человек, шутник и пересмешник.

Делать он ничего не делал.

То есть ничего путного.

Выдумывал разные шутки над почтенными людьми.

Но так как шутки его нравились высшим, а шутил он над низшими, то все Абл-Эддину сходило с рук.

К нему и обратились визири.

— Вместо того, чтобы выдумывать глупости, выдумай что-нибудь умное!

Абл-Эддин сказал:

— Это будет потруднее.

И назначил такую цену, что визири сразу сказали:

— Да, это человек неглупый!

Сложились, отсчитали ему деньги, и Абл-Эддин сказал им:

— Вы будете спасены. А как, — не все ли вам равно? Не все ли равно утопающему, как его вытаскивают: за волосы или за ногу.

Абл-Эддин пошел к великому визирю и сказал:

— Разрешить заданную тобой задачу могу я.

Мугабедзин спросил его:

— Как?

— Когда ты требуешь от садовника персиков, — ты ведь не спрашиваешь его: как он их вырастит? Он положит под дерево навоза, а от этого будут сладкие персики. Так и государственное дело. Зачем тебе вперед знать, как я это сделаю. Мне работа — тебе плоды.

Мугабедзин спросил:

— А что тебе для этого нужно?

Абл-Эддин ответил:

— Одно. Какую бы я глупость ни выдумал, ты должен на нее согласиться. Хотя бы тебя брал страх, что нас с тобой обоих за это посадят к сумасшедшим.

Мугабедзин возразил:

— Я-то, положим, останусь на своем месте, а вот тебя посадят на кол!

Абл-Эддин согласился:

— Будь по твоему. Еще одно условие. Ячмень сеют с осени, а собирают летом. Ты дашь мне срок от полнолуния. В это полнолуние я посею, в то полнолуние — жни.

Мугабедзин сказал:

— Хорошо. Но помни, что дело идет о твоей голове.

Абл-Эддин только засмеялся:

— Человека сажают на кол, а говорят, что речь идет о голове.

И подал великому визирю к подписи готовую бумагу. Великий визирь только за голову схватился, прочитав ее:

— Тебе, вижу, страшно хочется сесть на кол!

Но, верный данному обещанию, бумагу подписал. Только визирю, управляющему правосудием, дал приказ:

— Заострить для этого молодца кол понадежнее.

На следующий день глашатаи по всем улицам и площадям Тегерана возглашали, при звуках труб и барабанном бое:

«Жители Тегерана!

Веселитесь!

Наш премудрый повелитель, властитель властителей, обладающий мужеством льва и свет-

лый, как солнце, отдал, как вам известно, управление всеми вами заботливому Мугабедзину, да продлит Аллах его дни без конца.

Мугабедзин сим объявляет. Дабы жизнь каждого перса текла в приятности и удовольствии, — да заведет себе каждый в доме попугая. Эта птица, одинаково занятная как для взрослых, так и для детей, служит истинным украшением дома. Богатейшие индийские раджи имеют сих птиц для утешения в своих дворцах. Пусть дом каждого перса украсится так же, как дом богатейшего индийскою раджи. Мало того! Каждый перс должен помнить, что знаменитый «павлиний трон» властителя властителей, отнятый его предками в победоносной войне у Великого Могола, украшен сделанным из одного, цельного, неслыханной величины изумруда — попугаем. Так что при виде сей изумрудного цвета птицы каждый будет невольно вспоминать о павлинном троне и восседающем на нем властелине властелинов. Заботу о снабжении попугаями всех добрых персов заботливый Мугабедзин передал Абл-Эддину, у которого персы и могут приобретать попугаев по установленной цене. Приказ этот исполнить до наступления ближайшего новолуния.

Жители Тегерана!
Веселитесь!»

Жители Тегерана дались диву.

Визири втихомолку спорили между собой:

— Кто больше сошел с ума?

— Абл-Эддин, написав такую бумагу?

— Или Мугабедзин, который ее подписал?

Абл-Эддин выписал из Индии огромный транс-

порт попугаев и, так как он продавал их вдвое дороже, чем покупал, то нажил хорошие деньги.

Попугаи сидели на жердочках во всех домах.

Визирь, управляющий правосудием, заострил кол и заботливо обил его жестью.

Абл-Эддин ходил веселый.

Но вот прошел срок от полнолуния до полнолуния.

Над Тегераном взошла полная, сверкающая луна.

Великий визирь позвал к себе Абл-Эддина и сказал:

— Ну, мой друг, пора садиться на кол!

— Смотри, не посади меня куда-нибудь попочетнее! — ответил Абл-Эддин. — Жатва готова, иди и жни! Отправляйся и читай мысли!

И с величайшей пышностью, верхом на белом арабском коне, при свете факелов, в сопровождении Абл-Эддина и всех визирей, Мугабедзин отправился в Тегеран.

— Куда тебе угодно заехать?

— Хоть вот в этот дом! — указал великий визирь.

Хозяин ошеломился, увидев таких великолепных гостей. Великий визирь ласково кивнул ему головой.

А Абл-Эддин сказал:

— Веселись, добрый человек! Наш заботливый великий визирь захотел узнать, как ты поживаешь, весело ли, доставляет ли тебе удовольствие зеленая птица?

Хозяин поклонился в ноги и ответил:

— С тех пор, как премудрый господин приказал нам завести зеленую птицу, — веселье не покидает нашего дома. Я, моя жена, мои дети, все знако-

мы не нарядуются на птицу! Хвала великому визирю, внесшему радость в наш дом!

— Прекрасно! Прекрасно! — сказал Абл-Эддин. — Принеси и покажи нам твою птицу.

Хозяин принес клетку с попугаем и поставил перед великим визирем.

Абл-Эддин достал из кармана фисташек и начал пересыпать их с руки на руку.

Завидев фисташки, попугай потянулся, нагнулся боком, посмотрел одним глазом.

И вдруг крикнул:

— Дурак великий визирь! Вот дурак великий визирь! Вот дурак! Вот дурак!

Великий визирь вскочил, как ужаленный:

— Ах, подлая птица!

И вне себя от ярости, обратился к Абл-Эддину:

— Кол! На кол этого негодяя! Выдумал так меня осрамить?!

Но Абл-Эддин спокойно поклонился и сказал:

— Птица не от себя это выдумала! Значит, она часто это слышит в этом доме! Вот что говорит хозяин, когда уверен, что его никто чужой не подслушивает! В лицо он тебя хвалит мудрым, а за глаза...

А птица, глядя на фисташки, продолжала орать:

— Великий визирь дурак! Абл-Эддин — вор! Вор Абл-Эддин!

— Ты слышишь, — сказал Абл-Эддин, — сокровенные мысли хозяина!

Великий визирь обратился к хозяину:

— Правда?

Тот стоял бледный, словно уж умер.

А попугай продолжал кричать:

— Великий визирь дурак!

— Да уймите же проклятую птицу! — крикнул Мугабедзин.

Абл-Эддин свернул попугаю шею.

— А хозяина на кол!

И великий визирь обратился к Абл-Эддину:

— Садись на моего коня! Садись, тебе говорят! А я поведу его под уздцы. Чтобы знали все, как я умею казнить за дурные мысли и ценить за мудрые!

С этих пор, по словам Мугабедзина, он читал в чужих головах лучше, чем в своей собственной. Лишь только его подозрение падало на какого-нибудь перса, он требовал:

— Его попугая.

Перед попугаем клали фисташки, и попугай, глядя на них одним глазом, рассказывал все, что было на душе у хозяина.

Что чаще всего слышалось в задушевных беседах.

Ругал великого визиря, ругательски ругал Абл-Эддина.

Визирь, управляющий правосудием, не успевал обтесывать колы.

Мугабедзин так полол огород, что скоро в нем не осталось бы и капусты.

Тогда знатнейшие и богатейшие люди Тегерана явились к Абл-Эддину, поклонились ему и сказали:

— Ты выдумал птицу. Ты выдумывай на нее и кошку. Что нам делать?

Абл-Эддин усмехнулся и сказал:

— Дуракам помогать трудно. Но если вы наутро выдумаете что-нибудь умное, и я для вас что-нибудь придумаю.

Когда наутро Абл-Эддин вышел в свою приемную, весь пол ее был выстлан червонцами, а купцы стояли в приемной и кланялись.

— Это неглупо! — сказал Абл-Эддин. — Удивляюсь, как вам не пришла в голову такая простая мысль: передуйте своих попугаев и купите у меня новых. Да и выучите их говорить: «Да здравствует великий визирь! Абл-Эддин благодетель персидского народа!» Только и всего.

Персы, вздохнувши, посмотрели на свои червонцы и ушли. Между тем зависть и злоба делали свое дело. Соглядатаи, — а их в Тегеране было множество, — были распущены Мутабедзином.

— Зачем мне кормить соглядатаев, когда тегеранцы сами кормят соглядатаев, состоящих при них! — смеялся великий визирь.

Соглядатаи остались без куска хлеба и распустили про Абл-Эддина дурные слухи.

Слухи эти достигали Мутабедзина.

— Весь Тегеран проклинает Абл-Эддина, а за него и великого визиря. «Нам и самим есть нечего, — говорят тегеранцы, — а тут еще птиц корми!»

Слухи эти упали на хорошую почву.

Государственный человек — кушанью подобен.

Пока мы голодны, кушанье пахнет хорошо. Когда поедим, и смотреть противно.

То же и государственный человек.

Государственный человек, который уж сделал свое дело, всегда в тягость.

Мутабедзин стал уже тяготиться Абл-Эддином:

— Не слишком ли я уж осыпал почестями этого выскочку? Не слишком ли уж он возгордился? Такую простую вещь я придумал бы и сам. Дело нехитрое!

Службы о ропоте в народе пришли вовремя. Мугабедзин призвал к себе Абл-Эддина и сказал:

— Ты оказал мне дурную услугу. Я думал, ты сделаешь что-нибудь полезное. Ты принес только вред. Ты меня обманул! Благодаря тебе в народе идет только ропот и растет недовольство! И все из-за тебя! Ты изменник!

Абл-Эддин спокойно поклонился и сказал:

— Ты можешь меня казнить, но в правосудии ты мне отказать не захочешь. Ты можешь посадить меня на кол, — но сначала спросим у самого народа: ропщет ли он, и недоволен ли? У тебя есть средство знать сокровенные мысли персов. Я дал тебе это средство. Обрати его теперь против меня.

На следующий же день Мугабедзин в сопровождении Абл-Эддина, в сопровождении всех своих визирей, поехал по улицам Тегерана:

— Чтоб прислушаться к голосу народа.

День был жаркий и солнечный.

Все попугаи сидели на окнах.

При виде блестящей процессии зеленые птицы тарасили глаза и кричали:

— Да здравствует великий визирь!

— Абл-Эддин, благодетель персидского народа!

Так они проехали весь город.

— Вот сокровенные мысли персов! Вот что они говорят между собой у себя дома, когда уверены, что их никто не подслушивает! — сказал Абл-Эддин, — ты слышал своими ушами!

Мугабедзин был тронут до слез.

Он сошел со своего коня, обнял Абл-Эддина и скачал:

— Я виноват перед тобой и перед собой. Я послушался клеветников! Они сядут на кол, а ты са-

дись на моего коня, и я снова поведу его под уздцы. Садись, тебе говорят!

С тех пор Абл-Эддин не выходил больше из милости у великого визиря.

Ему при жизни была оказана величайшая почесть.

В честь него был устроен великолепный мраморный фонтан с надписью: «Абл-Эддину, благодетелю персидского народа».

Великий визирь Мугабедзин жил и умер в глубокой уверенности, что он уничтожил недовольство в персидском народе и внушил ему самые лучшие помыслы.

А Абл-Эддин, до конца дней своих торговавший попугаями и наживший на этом большие деньги, записал в своей летописи, откуда взят весь этот рассказ:

— Так иногда голоса попугаев принимают за голос народа.

Воспоминания современников





THE FROG

BY J. H. B. B.

Александр Амфитеатров

Дорошевич

«Слава в прихотях вольна»¹, и странны, капризны, часто глумливы и оскорбительны бывают ее прихоти. Вот стою я в раздумье перед близкою мне темою и только головою качаю:

— Сколько было славы и как она прахом пошла! Как он забыт!

Бедный Влас Дорошевич! Два года тому назад исполнилось десять лет с его кончины. Никто и не вспомнил и добрым словом не откликнулся. И я промолчал. Потому что откуда же было знать, когда он приходится — день кончины Власа Дорошевича?

Однажды, летом 1921 года, этот знаменитый и богатый человек очутился нищим и больным в советском доме отдыха на петербургских Островах. Там его навещали и видели Василий Иванович Немирович-Данченко, я, еще два-три старика. В конце августа я бежал из Петербурга в Финляндию. Дорошевича большевики вскоре переместили с

¹ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

Островов в лучший дом отдыха, кажется, в Осиную рощу, где обычно поправляли свои нервы советские сановники. Там он и умер когда-то в 1922 году¹.

Вас. И. Немирович-Данченко, выехавший из Петербурга в 1923 году, привез в Берлин известие о смерти Власа как о давнем уже факте. Едва ли не он последним из литературного мира видел Дорошевича живым. Но уже в таком оступелом состоянии, что, по-видимому, совсем утратил представление о времени и обстоятельствах, которые он переживает. Спросил Василия Ивановича:

— Отчего Амфитеатров меня забыл — давно не был?

— Хватились! Его давно нет в Петербурге. Он в Финляндии.

— Так что ж? Взял бы автомобиль да и приехал.

Когда человек, полжизни занимавшийся политикой, забывает о границах между враждующими государствами, — дело плохо.

Уже на меня в летние посещения Влас Михайлович производил тяжелое впечатление конченого человека. Трудно соображал, затруднялся в речи². К зиме он совсем развалился, так что потерял даже телесную опрятность и сдержанность, чего — при мне — еще не было. Меня он однажды даже довольно далеко проводил по парку дома отдыха, хотя и очень тихим шагом.

¹ В. Дорошевич умер 22 апреля 1922 года.

² По свидетельству И. Х. Озерова, Дорошевич был болен сифилисом (см. Мемуары профессора И.Х. Озерова // Вопросы истории, 1997. № 1. С. 95)

Впрочем, ходок он всегда — и в здоровые годы — был плохой. В начале 90-х годов ему случилось однажды, в некоторую шалую ночь, сильно промерзнуть, и с той поры после тяжелой болезни он «пал на ноги», охромел.

Хромота эта сделалась в литературных кружках как бы паспортною приметой Власа.

Курьез. Впоследствии, когда Влас Михайлович сделался властным и славным, почти что хозяином «Русского слова», среди московской газетной молодежи взялась мода подражать его хромоте и ходить с палочкой. Сперва Влас смеялся этому дурачеству; потом, когда число хромых «под Дорошевича» стало непомерно возрастать, начал хмуриться; наконец однажды, когда провинившийся и вызванный им для разноса юный репортер приблизился к нему вприхромку и опираясь на тросточку, Влас не выдержал — взревел буй-туром Всеволодом:

— Это что такое?! Чтобы я больше не видел в редакции подобных глупостей! Не хромать! убрать палку прочь! выздороветь! в одну минуту!

Выздоровел. Именно этот репортер вывел Дорошевича из терпения и попал под грозу потому, что был похож на Власа лицом и фигурой, так что с хромотой и палочкой получалась довольно схожая карикатура.

Это был С.Н. Ракшанин, усыновленный воспитанник очень известного в свое время московского фельетониста и «бульварного» (но «с психологией») романиста Николая Осиповича Ракшанина и, как твердо держалась молва, натуральный сын Доро-

шевича¹. Я, несмотря на сходство их и твердость молвы, не вполне ей верю.

Потому что мне хорошо известно страстное желание Власа Михайловича в зрелые его годы иметь сына — наследника и продолжателя рода, который Влас, хотя сам был в нем приемышем, очень любил.

Едва ли я ошибусь, что обманутые надежды иметь сына играли немалую роль в частых расхождениях Власа с женщинами, с которыми он пробовал устраиваться семейно. Но на выбор подруг он был несчастен — попадал либо на неродих, либо на производительниц «девчонок». Когда одна из них осчастливила было его мальчиком, судьба злобно посмеялась: ребенок задавился пуповиной. Влас с горя чуть с ума не сошел. Отчаянное письмо его у меня цело. Вот почему я не совсем доверяю [слухам] о Ракшанине. Зачем бы Дорошевичу было так много волноваться чаянием сына, если бы имелся налицо готовый, которого стоило лишь признать?

В годы нашей тесной дружбы и полной взаимной доверенности мы с Власом никогда не говорили об этом мальчике, которого я хорошо помню весьма избалованным Сережей у приемных его родителей Ракшаниных.

¹ Этот слух распространял сам С. Н. Ракшанин. Как вспоминал Дон-Аминадо, «С. Н. Ракшанин не только подражал Дорошевичу, на которого, впрочем, отдаленно был похож, но при всяком удобном и неудобном случае с таинственным видом сообщал, что он его, Власа Михайловича, незаконный сын, и что если бы не эта... тут следовало звонкое сущестительное, актриса Миткевич, на которой знаменитый папаша на старости лет сдуру женился, то он, Ракшанин, мог бы быть помощником редактора, а не хроникером на затычку...» (Дон-Аминадо [А. Шполянский]. Поезд на третьем пути. М., 1991. С. 87).

В бесчисленном полчище репортеров «Русского слова» молодой человек не проявил дарования, которое свидетельствовало бы о наследственности от предполагаемого отца, ниже от бабки Соколихи: этой сударыне при всей ее злокачественности никак нельзя было отказать в литературном таланте. Короткую, но беспутную жизнь свою Сережка кончил скверно. После большевицкого переворота и гибели «Русского слова» снюхался с победителями, напечатал в «Известиях» письмо с отречением от «проклятой буржуазии», получил ответственную командировку в Ростов на пост не то инспектора, не то цензора местной печати. Но там же вскоре пал «жертвою борьбы роковой» — не в поле битвы с белогвардейцами, а в пьяной трактирной драке.

Жизнь Власа Дорошевича очень четко и определенно делится на пять периодов: московский подготовительный (мелкое репортерство и работа в юмористических журналах), московский фельетонно-хроникерский («За день» в «Новостях дня» и «Московском листке»), одесский («Одесский листок» и путешествие на Сахалин), петербургский (моя «Россия») и — самый важный и длительный — третий московский (создание «Русского слова»). За исключением последнего периода, когда судьба развела нас по разным дорогам (не нарушив, однако, нашей старой дружбы), мы с Дорошевичем были так тесно близки, что мне трудно писать о нем одном иначе, как анекдотически: иначе пойдет автобиография. Анекдотов же о нем достаточно включил я и в «Десятилетников», и в «Закат старого века», и в «Дрогнувшую ночь», и в «Лиляшу», и в «Вчерашних предков», где Влас проходит

иногда под собственным именем портрета, иногда в составе сборного типа журналиста Сагайдачного.

Я очень любил Власа¹. Полагаю, что и он меня не меньше — по крайней мере, в годы совместной работы, как в «России», или хотя бы параллельной, как в его московских периодах. В создании им «Русского слова» я не принимал участия. Но вовсе не потому, будто, как не раз меня пытались уверить, он не хотел впустить меня в газету, опасаясь моего «непомерного» (как любил он выражаться) темперамента и своевольства, которыми я, дескать, «погубил» так блистательно преуспевавшую «Россию». Нет, помогать ему в строительстве «Русского слова» я не мог просто потому, что был в это время сперва ссыльным в Сибири и Вологде, а затем эмигрантом в Париже. А что сношения наши и в этом сроке не прекращались и продолжали быть наисердечнейшими — лучшее доказательство, что все мои «Сибирские этюды» были напечатаны в «Русском слове» Дорошевича и в «С.-Петербургских ведомостях» кн. Эспера Ухтомского: единственных двух редакторов, не убоившихся помещать статьи литератора, которому «запрещено писать».

Мне только пришлось расстаться со старым привычным моим псевдонимом Old Gentleman. Сперва я подписывался «Борус» (гора в Саянах, видная снежною вершиною из Минусинска, за 270 верст), потом (это уже с 1903 года в «Руси» А.А. Суворина) «Абадонна». А как скоро вырвался

¹ Ср. высказывание Амфитеатрова о Дорошевиче в письме Вас. И. Немировичу-Данченко от 16 декабря 1911 г.: «Талант и ум <...> несомненно яркие, вместо души — пар. и в этом все его несчастье» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 156).

за рубеж, в эмиграцию, дал себе слово, что впредь никогда не напечатаю ни единой псевдонимной строки. И, слава богу, слово свое тридцать лет держал, отвечая за все, что писал, именем и фамилией.

Дорошевич терпеть не мог писать письма. Однако в Минусинске я то и дело получал от него писульки — крупным энергическим его почерком с сильными черными нажимами, — увещающие все к одному и тому же: «Пишите, пишите, пишите! Не стесняйтесь размерами! пишите!» — это дословная выписка из одной его цидулки. А в своем «Сахалине»¹, присланном мне в Минусинск, он написал такое «объяснение в любви», что я эту книгу прятал от знакомых, опасаясь, что кто-нибудь, прочитав, скажет с укоризною:

— Ну, знаете, Александр Валентинович, это уж Дорошевич хватил через край! Это вам, голубчик, не по чину!

Теперь эта книга вместе со всею проданною библиотекою у чехов в Праге. Уповаю, что цела.

А когда перевели меня из минусинской ссылки в вологодскую, как Дорошевич встретил меня на перепутье, в Москве на вокзале! «Суровый славянин, он слез не проливал»², а тут всего меня исследил! И я уверен, ни одна из возлюбленных дам его сердца никогда не была так исцелована, как я, мохнатый и бородатый, в сибирской дохе. Что тем замечательнее, что ни он, ни я никогда не были охотниками до изъявления чувств и «телячьих нежностей», а к поцелуйным обрядам между друзьями я чувствую решительное отвращение.

¹ Эта книга Дорошевича вышла в 1903 г. в Москве.

² Измененная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К Овидию» (1821).

Рано поутру мне надо было следовать дальше в Вологду, и всю-то ночь просидели мы вдвоем в кабинете «Славянского базара», не заметив, как в беседе, полной воспоминаний прошлого и предположений о будущем, пролетели часы. Ну, и что греха таить! Шампанского тоже приняли внутрь предостаточно!

Полтора года спустя, вскоре после убийства Плеве Егором Сазоновым, моя жена при помощи А.А. Столыпина выхлопотала мне у Лопухина замену ссылки «отпуском» за границу. Я приостановился в Москве, чтобы проститься с отцом, родными и Дорошевичем. А он повез меня на Воробьевы горы — прощально поклониться Москве. Об этой поездке я года два тому назад рассказал в «Сегодня» в этюде «Вербовщица Сатаны»: встретили мы тогда некоторую такую личность на пути к Воробьевке...¹ А там сидели втроем: Влас, Виктор Александрович Гольцев и я, — смотрели через реку на Новодевичий монастырь и говорили о человеке, которого там только что похоронили.

В это время Влас, во главе «Русского слова», был уже очень крупною — «всероссийского значения» — силою, зарабатывал огромные деньги и жил богато. Однако еще далеко не с тою нелепою и неуютною роскошью, в какую впоследствии втянула его «погубительница» Ольга Николаевна Миткевич, с которою он, безумно влюбясь, вступил в законный брак (второй).

Предшествовавшая гражданская его супруга, тоже фарсовая артистка, тоже красавица, была хорошая русская баба-домоводка — умела окру-

¹ См.: Амфитеатров А. Вербовщица Сатаны.

жить Власа комфортом, создать подобие семейного уюта¹. Однажды, проездом из Вологды в Питер, я, не желая предъявлять «проходное свидетельство» в гостинице, ночевал у них и дивился: попал — среди Москвы — в благоустроенный провинциальный помещичий дом, где в хозяйстве — полная чаша, а шикарства — ни малейшего. Не знаю, из-за чего распался этот союз, но, узнав о том, помнится, пожалел. Потому что тогда видел Власа в первый раз устроенным по-человечески — так, что обстановка его не напоминала ни номера в отеле, ни уборной кафешантанной певички, ни театрального фойе, ни «гнездышка» модной львицы. В первый и в последний.

В эпоху «Русской воли»², когда пошатнулись отношения Власа с «Русским словом» и он чуть-чуть было не сошелся с С.М. Проппером для «Биржевых ведомостей», мы виделись довольно часто, но неинтересно. Влас в это время сильно втянулся в общество крупных бюрократов и биржевиков. Даже давал какие-то вечера с присутствием посланников, правда экзотических, но — все же! Скучал он в этом обществе люто. Да и вообще скучал — жизнью уже скучал. Оживлялся только тогда, как, бывало, заведешь речь о Французской революции. Он хотел писать ее историю и собрал великолепную библиотеку по предмету, которая погибла в большевицкую революцию. Не от большевиков, а от нераспорядительности или, наоборот, чересчур уж прыткой распорядительности супруги, исполь-

¹ Речь идет о К. В. Кручининной.

² То есть в конце 1916 г. — начале 1917 г.

зовавшей отъезд Власа Михайловича на юг, чтобы спустить его книжные сокровища за бесценок.

В Февральскую революцию Дорошевич был окрылен, но большевицкий октябрь его раздавил. Особенно после ареста, который длился, правда, всего несколько часов, но разбил его больше, чем много год каторги. Много видел я в то время панически испуганных людей, но никого в такой мятущейся, самоубийственной тоске, как терзался Дорошевич. Помню, застал я однажды его, совсем больного, в постели, по которой он катался из стороны в сторону, как зверь, в отчаянии, не находящий места, где дать хоть минутный покой больному сердцу... Насилу-то, насилу его выпроводили на юг.

Возвращение Власа Михайловича с юга в Петербург — такой «зеленый ужас», такое надругательство над большим, доверчивым человеком, что не хочется рассказывать. Тэффи в «Воспоминаниях» немножко намекнула, недосказав до конца¹. Да вряд ли и все знала: ведь ее в это время уже не было в Петербурге. И я воздержусь. Скажу только, что, возвратясь внезапно, в ночное время, Влас долго не мог быть впущен в свою квартиру и больше часу сидел — больной, в полуобмороке — на лестнице, пока что-то там внутри приводилось в пристойный для глаз хозяина порядок. А назав-

¹ Тэффи писала в «Воспоминаниях», что в Киеве встречалась с Дорошевичем, тосковавшим по оставшейся в Петербурге жене — «хорошенькой легкомысленной актрисе», которая вышла замуж за «большевицкого комиссара». Вернувшись в Петроград, Дорошевич «умер в больнице, одинокий <...>» (Тэффи. Ностальгия. Л., 1989. С. 340).

тра он был препровожден в дом отдыха — без единого рубля в кармане.

Там и застал я его в том жалком состоянии, как было сказано в начале... При помощи некоего г. Фельтена мне удалось хорошо продать тогдашнему эстонскому дипломатическому представителю Альберту Георгиевичу Оргу несколько лекций Власа Михайловича о Французской революции для таллинского издательства «Библиофил». Любезные миллионы, или, как тогда говорилось, «лимоны», Орга позволили Дорошевичу обойтись на первое время. А от дальнейшего времени его освободила смерть. И — по тем обстоятельствам, в каких она его застала, — слава богу!

Надежда Тэффи

Он оглянулся на меня

Видела несколько раз Дорошевича.

Жил Дорошевич в какой-то огромной квартире, хворал, очень осунулся, постарел и, видимо, нестерпимо тосковал по своей жене, оставшейся в Петербурге, — хорошенькой легкомысленной актрисе.

Дорошевич ходил большими шагами вдоль и поперек своего огромного кабинета и говорил делано равнодушным голосом:

— Да, да, Леля должна приехать дней через десять...

Всегда эти «десять дней». Они тянулись до самой его смерти. Он, кажется, так и не узнал, что его Леля давно вышла замуж за обшитого телячьей кожей «роскошного мужчину» — большевистского комиссара.

Он, вероятно, сам поехал бы за ней в Петербург, если бы не боялся большевиков до ужаса, до судорог.

Он умер в больнице, одинокий, во власти большевиков.

А в эти киевские дни он, худой, длинный, ослабевший от болезни, все шагал по своему кабинету,

шагал, словно из последних сил шел навстречу горькой своей смерти.

Работая в «Русском слове», я мало встречалась с Дорошевичем. Я жила в Петербурге, редакция была в Москве. Но два раза в моей жизни он «оглянулся на меня».

В первый раз — в самом начале моей газетной работы. Редакция очень хотела засадить меня на злободневный фельетон. Тогда была мода на такие «злободневные фельетоны», бичующие «отцов города» за антисанитарное состояние извозчичьих дворов и проливающие слезу над «тяжелым положением современной прачки». Злободневный фельетон мог касаться и политики, но только в самых легких и безобидных тонах, чтобы редактору не влетело от цензора.

И вот тогда Дорошевич заступился за меня:

— Оставьте ее в покое. Пусть пишет о чем хочет и как хочет.

И прибавил милые слова:

— Нельзя на арабском коне воду возить.

Второй раз оглянулся он на меня в очень тяжелый и сложный момент моей жизни.

В такие тяжелые и сложные моменты человек всегда остается один. Самые близкие друзья считают, что «неделикатно лезть, когда, конечно, не до них».

В результате от этих деликатностей получается впечатление полнейшего равнодушия.

«Почему все отвернулись от меня? Разве меня считают виноватым?»

Потом оказывается, что все были сердцем с вами, все болели душой и все не смели подойти.

Но вот Дорошевич решил иначе. Приехал из Москвы. Совершенно неожиданно.

— Жена мне написала, что вы, по-видимому, очень удручены. Я решил непременно повидать вас. Сегодня вечером уеду, так что давайте говорить. Скверно, что вы так изводитесь.

Он говорил долго, сердечно, ласково, предлагал даже драться на дуэли, если я найду это для себя полезным.

— Только этого не хватало для пущего трезвона!

Взял с меня слово, что, если нужна будет помощь, совет, дружба, чтобы я немедленно телеграфировала ему в Москву, и он сейчас же приедет.

Я знала, что не позову, и даже не вполне верила, что он приедет, но ласковые слова очень утешили и поддержали меня — пробили щелочку в черной стене.

Этот неожиданный рыцарский жест так не вязался с его репутацией самовлюбленного, самоудовлетворенного и далеко не сентиментального человека, что очень удивил и растрогал меня. И так больно было видеть, как он еще хорохорился перед судьбой, шагал, говорил:

— Через несколько дней должна приехать Леля. Во всяком случае, падение большевиков — это вопрос нескольких недель, если не нескольких дней. Может быть, ей даже не стоит выезжать. Сейчас ехать небезопасно. Какие-то банды...

«Банды» был Петлюра.

Библиографическая справка

За свою недолгую жизнь Влас Михайлович Дорошевич написал невероятно много фельетонов, очерков, театральных обзоров, рецензий, рассказов и всевозможных стилизованных легенд и сказок. Его творчество не изучено, не собрано. Единственное собрание сочинений, вышедшее в 1905—1907 гг. в 9 томах, едва ли охватывает десятую часть созданного им.

После смерти писателя неоднократно выходили сборники его произведений, однако они ни в коей мере не претендовали на полноту.

В настоящий сборник вошли не только произведения, уже печатавшиеся в посмертных изданиях, но и те его сатирические и юмористические повести, фельетоны, рассказы, которые не появлялись в книгах с дореволюционных времен («Джентльмены», «Нашествие иноплеменников», «Мужья», «Женихи», «Ограбление» и многие другие). Так что настоящее издание значительно расширит представление современных читателей о замечательном писателе, изрядно подзабытом за последние десятилетия.

Вошедшие в том произведения печатаются по изданиям: *Дорошевич В.М. Собр. соч.* М., 1905—1907. Т. 1, 6; *Новые рассказы.* М., 1903; *На смех.*

Юмористич. рассказы. СПб., 1912; Избранные рассказы и очерки / Сост., послесл., примеч. С.В. Иванова. — М., 1966; Избр. страницы / Сост., примеч. С.И. Чуприна. — М., 1986; Рассказы и очерки / Вступ. ст. А.П. Карелина. — М., 1986.

Воспоминания о В.М. Дорошевиче писателей Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862—1938), Надежды Александровны Тэффи (1872—1952) печатаются по следующим изданиям: *Амфитеатров А.В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих.* Т. I. М. 2004. С. 148—178; *Тэффи. Моя летопись.* М., 2004. С. 77—78.

Литературно-художественное издание

Влас Дорошевич

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Том сорок восьмой

Ответственный редактор *М. Яновская*
Художественный редактор *А. Мусин*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *И. Гончарова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.

Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.
Информация по канцтоварам: www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» - по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Подписано в печать 27.07.2006.

Формат 84x108¹/32. Гарнитура «Букмэн».

Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 26,88 + вкл.

Тираж 5000 экз. Заказ 8444.

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15

Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru





Сборники афоризмов и цитат от Константина Душенко –

незаменимые книги
в вашей домашней библиотеке

Константин Васильевич Душенко – историк, культуролог, переводчик. Сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Над каждой книгой К. В. Душенко работает очень тщательно. Вот почему его сборники получают самые высокие оценки журналистов, историков, культурологов, литературоведов и считаются лучшими в своем жанре.

За последние годы продано свыше 1,5 млн. экз. его книг.



Самая лучшая коллекция афоризмов – остроумных, деликатных и изысканных

Незаменимое справочное пособие журналистов, политиков, писателей и других профессионалов слова



Книги современны, так как содержат высказывания и афоризмы не только деятелей прошлого, но и наших современников – Владимира Путина, Михаила Жванецкого, Алисы Фрейндлих, Барбары Стрейзанд, Иоанны Хмелевской, Елены Яковлевой, Татьяны Догилевой, Ирины Хакамады и др.









Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Влас Дорошевич

Антология Сатиры и Юмора России XX века

«...титул королей в российской словесности
начала двадцатого столетия получили три
недоучившихся школьника: королем смеха
был признан Аркадий Аверченко...
королем поэтов был избран Игорь Северянин...
королем фельетона провозгласили Власа
Дорошевича. Кто знает — совпадение это
или закономерность? Понятно одно: когда
личные свойства пересекаются в линии
судьбы с удачей, рождается король».

Ст. Никоменко

«В Февральскую революцию Дорошевич был
окрылен, но большевистский Октябрь его
раздавил».

А. Аифитеатров

Антология Сатиры и Юмора России XX века

ISBN 5-699-16765-X



9 785699 167654

Антология Сатиры и Юмора России XX века